

**А. АМФІТЕАТРОВЪ.**

**КОНТУРЫ!**

**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
1906.**



## СОДЕРЖАНІЕ.

---

	СТР.
1. Памяти Герцена . . . . .	1
2. Администрація или судъ? . . . . .	22
3. Марія Николаевна Ермолова . . . . .	35
4. О Горькомъ . . . . .	
а) Человѣкъ . . . . .	44
б) „Мѣщане“ въ Палермо . . . . .	54
в) „На Днѣ“ въ Римѣ. . . . .	63
5. Французская барышня . . . . .	70
6. На днѣ Сициліи . . . . .	88
7. Homo Sapiens . . . . .	113
8. Эрнестъ Поссартъ . . . . .	120
9. Парижскія преданія . . . . .	141
10. Патронъ революціи . . . . .	144
11. Римскій университетъ . . . . .	160
12. Артистъ Грассо . . . . .	176
13. Октавъ Мирбо . . . . .	192
14. Страна любви . . . . .	206
15. Модестъ Ивановичъ Писарева . . . . .	216
16. Васнедовскіе богатыри . . . . .	224
17. Н. А. Лейкинъ . . . . .	236
18. Поѣздка на Валаамъ . . . . .	241
а) Коневецъ . . . . .	256
б) Валаамъ . . . . .	271

---



## Герценъ.

---

Читаю въ русскихъ газетахъ объявленія о выходѣ въ свѣтъ полного собранія сочиненій Александра Ивановича Герцена <sup>1)</sup>. Ну, въ полноту собранія не очень-то вѣрится, а все-таки, — «какой, съ Божіей помощью, оборотъ изумительный!», и какую быструю эволюцію переживаетъ Россія, завоеывая новые прогрессивные пути и воскрешая старыя прогрессивныя преданія! Всего пять лѣтъ тому назадъ, въ тридцатилѣтнюю годовщину кончины А. И. Герцена, лишь одна петербургская газета (покойная «Россія») осмѣлилась наполнить очередной номеръ статьями, посвященными памяти великаго публициста, за что и подверглась жестокому выговору въ цензурномъ вѣдомствѣ. Впрочемъ, не могу — съ другой стороны — умолчать о странномъ разговорѣ ex officio, который я имѣлъ, за годъ передъ тѣмъ (въ 1899 г.), въ томъ же цензурномъ вѣдомствѣ, съ тогдашнимъ начальникомъ главнаго управленія по дѣламъ печати, М. П. Соловьевымъ. Это былъ человекъ странный, суровый и страшный для періодической печати; онъ гналъ ее систематически, съ твердымъ убѣжденіемъ и съ полною откровенностью. Болѣзненно настроенный, но острый и какъ бы чѣмъ-то издавна озлобленный умъ, мистическій образъ мыслей и соотвѣтственное, крайне своеобразное, схоластическое образованіе дѣлали его лютымъ врагомъ демократи-

---

<sup>1)</sup> Сочиненія А. И. Герцена, въ 7 томахъ. Изд. Павленкова. 1905 г. Ц. 12 руб.

ческой современности, опаснѣйшее орудіе которой онъ усматривалъ въ ежедневной прессѣ. Наоборотъ, къ книгѣ М. П. Соловьевъ питалъ уваженіе и не имѣлъ ни политическаго страха, ни политической ненависти. Всякій разъ, что я—человѣкъ газетнаго дѣла—долженъ былъ видѣться и объясняться съ М. П. Соловьевымъ, я чувствовалъ себя предъ врагомъ принципиальнымъ, беспощаднымъ, неотступнымъ, почти механическимъ. Упрямо и мрачно твердилъ онъ свою излюбленную инквизиторскую идею:

— Моя цѣль—выжить изъ періодической печати духъ своеволія и сократить число существующихъ газетъ до minimum'a. Газета—ядъ. Газета—орудіе демократическаго невѣжества. Она взбалтываетъ и развращаетъ мозги. Она отучаетъ читать, мыслить, образовываться. Она создаетъ грамотную толпу. Она отняла у общества книгу. Пишите книги. Я ничего не имѣю противъ книгъ. Тѣ самыя идеи, за которыя я закрою газету, я спокойно пропущу въ книгѣ. Потому что книга идетъ въ настоящую, мыслящую публику, а не въ толпу. Книга—монументъ мысли. Собственно говоря, вредныхъ книгъ нѣтъ. Я стою за самый снисходительный пропускъ въ публику серьезной, талантливо написанной книги. Если бы это дѣло всецѣло зависѣло отъ одного меня, я разрѣшилъ бы къ обращенію рѣшительно всякую толстую книгу и, тѣмъ болѣе, многотомныя работы...

— Такъ вотъ, ваше превосходительство,—замѣтилъ я, злой, измученный безсиліемъ спорить съ этою обидною и властною проповѣдью непоколебимо убѣжденной тенденціи:—такъ вотъ, вы бы намъ Герцена разрѣшили, наконецъ,—а? Мы такъ давно его дождаемся...

Соловьевъ язвительно устремилъ на меня свой одинокій, здоровый глазъ и возразилъ невозмутимо:

— Герцена? Я не имѣю ничего и противъ Герцена. Павленковъ обращался ко мнѣ, — я отвѣчалъ, что согласенъ. Дѣло споткнулось и затормозилось въ министерствѣ, на

верху... Тамъ къ нему—мистическій ужасъ... стихійное предубѣжденіе...

И онъ неопредѣленно махнулъ рукою.

Итакъ, мистическій ужасъ разсѣялся, стихійное предубѣжденіе пало. Полувѣковой изгой, Герценъ обратно перешелъ русскій рубежъ и, хотя въ дырахъ, прорѣхахъ и заплатахъ, но—однимъ литературнымъ классикомъ первой величины стало больше въ нашемъ отечествѣ, слишкомъ небогатомъ сильными публицистическими талантами и громкими публицистическими именами.

Несмотря на дыры, прорѣхи и заплаты, несмотря на слишкомъ запоздалое свое явленіе большой русской публикѣ, Герценъ, конечно, будетъ принятъ въ Россіи съ распростертыми объятіями, съ энтузіазмомъ уже на вѣру и,—что лучше всего,—на вѣру не тщетную: она получить вознагражденіе щедрое и прекрасное. Будемъ искренни и откажемся отъ идолопоклонства! Нѣтъ публицистики, которая бы не старѣла, нѣтъ трибуновъ, которые бы не лияли въ потомствѣ своими яркими перьями, ослѣплявшими современниковъ до гипноза непогрѣшимости. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, кажется, все при томъ же Соловьевѣ, Павленковъ получилъ право переиздать сочиненія Д. И. Писарева: имя—запретное, какъ Герценъ, и, въ своемъ родѣ, не менѣе громкое. Первое изданіе Писарева Павленковымъ было расхвачено публикою чуть ли не въ одинъ день, но второго не понадобилось: вѣкъ уже слишкомъ опередилъ публициста, пролежавшаго подъ спудомъ двадцать пять лѣтъ, — Писаревъ въ русской мысли остался позади—человѣкомъ прошлаго: блестящимъ памятникомъ личнаго таланта и интересной культурной эпохи, но уже не учителемъ, не пророкомъ. А время нуждалось въ пророкахъ и учителяхъ. Ни у Добролюбова, ни у Чернышевскаго, ни у Михайловскаго, ни у Шелгунова нѣтъ недостатка въ страницахъ, клонящихся читателя въ 1905 году на сонъ и зѣвоту по причинамъ—неизбѣжнымъ,

но отъ авторовъ не зависящимъ: ихъ интересъ, соль, задній и междустрочный смыслъ съѣло время. «Что дѣлать» для насъ полно архаическими наивностями, вызывающими улыбку, и откровенія старика Бѣлинскаго слишкомъ часто— лепетъ въ дѣтской: тотъ голосъ первопробужденнаго и первобытнаго общественнаго сознанія, который, по пословицѣ, глаголетъ истину устами младенцевъ.

Вотъ эта-то публицистическая угроза—устарѣлости— и не страшна Герцену, несмотря на то, что онъ предстанетъ Россіи почти столѣтнимъ старикомъ по возрасту человѣческому и добрыхъ семидесяти лѣтъ по возрасту литературному. Она опасна только для юныхъ произведеній Искандера, появлявшихся еще въ Россіи, до эмиграціи автора, и, въ особенности, для его беллетристики. Здѣсь устарѣло все: языкъ, типы, ситуаціи, литературные приемы. «Кто виноватъ» жестоко разочаруетъ читателя, подготовленнаго къ восторгамъ громкимъ именемъ романа, десятки лѣтъ окутаннаго тайною, и даже интересъ доктора Крупова окажется ниже его славы. Все это—беллетристика до Тургенева, что для насъ почти равносильно—до потопа. Герценъ не имѣлъ беллетристическаго таланта, и въ повѣстяхъ его хороши и значительны только тѣ страницы, гдѣ онъ, отбрасывая въ сторону условныя требованія старинной художественности и традицій «хорошаго литературнаго вкуса», даетъ полную свободу могучей силѣ своего публицистическаго ума и покоряетъ читателя неотразимой логикѣ своихъ блестящихъ силлогизмовъ. Съ этой точки зрѣнія, для любителя мастерской діалектики и изящныхъ построеній будутъ интересны даже такіе, въ общемъ, отжившіе свой вѣкъ почтенные ветераны общественной мысли, какъ, напр., «Диллетантизмъ въ наукѣ» и т. п. Возвращаясь къ беллетристикѣ Герцена, надо резюмировать такую формулу: умная, разсудочная, убѣжденно тенденціозная, она прекрасна всюду, гдѣ Герценъ—соціальный учитель, и слаба всюду, гдѣ онъ пробуеътъ

быть художникомъ. Герцень—одинъ изъ самыхъ блестящихъ стилистовъ русской литературы, но только не въ беллетристикѣ. Здѣсь его слогъ лишень оригинальности, скованъ рабскою подражательностью то Пушкину, то Гоголю. По языку, «Кто виноватъ»—въ лучшемъ случаѣ—современникъ, но довольно неудачный, «Пиковой дамы» и на много лѣтъ отсталъ отъ изящной свободы, силы, мѣткости и глубокаго паоса «Героя нашего времени».

Говорилъ онъ лучше, чѣмъ писалъ:  
Оно и хорошо,—писать не время было!—

характеризовалъ Некрасовъ Грановскаго, одного изъ значительнѣйшихъ культурныхъ сотрудниковъ Герцена, кончившаго жизнь, впрочемъ, въ остромъ идейномъ разрывѣ съ послѣднимъ: Грановскій, хотя и западникъ, шелъ впередъ, покуда не уперся въ рубежъ идеалистическаго міросозерцанія и—остановился стоять на немъ, какъ человѣкъ, не смѣющій переступить порога, а Герцень съ Огаревымъ порогъ нетерпѣливо перешагнули и пошли къ новымъ материалистическимъ свѣтамъ—впередъ и впередъ, слѣдуя за неудержимымъ ростомъ западной позитивной науки. Эта сцена—идейной ссоры и нравственнаго разрыва съ Грановскимъ—одна изъ самыхъ сильныхъ и глубокихъ въ «Быломъ и Думахъ»: она потрясаетъ вдумчиваго читателя трагизмомъ страстной отвлеченности, которая была такъ свойственна нашимъ дѣламъ, и которой такъ мало у внуковъ. Это—столкновение не житейскихъ людей, но цѣлыхъ мировоззрѣній, поглотившихъ въ себя живыя индивидуальности; это—катастрофа въ платоновомъ мѣрѣ идей.

Характеристика «говорилъ онъ лучше, чѣмъ писалъ» относится и къ Герцену въ томъ подготовительномъ періодѣ дѣятельности, который онъ скитальчески отбывалъ въ Вяткѣ, Владимірѣ, Новгородѣ, Петербургѣ и подмосковномъ Соколовѣ то ссыльнымъ, то поднадзорнымъ литераторомъ-западникомъ съ завязаннымъ ртомъ. Прямо поразительны колос-

сальный ростъ и быстрое даже не развитіе, а бурное стремленіе впередъ Герценова таланта, какъ скоро онъ очутился въ Европѣ, въ условіяхъ свободнаго слова и свободной прессы. Между Герценомъ въ русскомъ періодѣ творчества и Герценомъ заграничнымъ, Герценомъ «Съ того берега», «Былого и Думъ», «Полярной Звѣзды» и «Колокола»—такая широкая пропасть, что, не зная біографіи Александра Ивановича, можно бы подумать, будто она создавалась десятками лѣтъ. Твердая опредѣленность его общественно-политической программы,—вспыхнувшей шиллеровскимъ огнемъ еще въ пятнадцатилѣтнемъ мальчикѣ, который на Воробьевыхъ горахъ въ Москвѣ, рука-въ-руку съ такимъ же шиллеровскимъ отрокомъ Огаревымъ, дальъ подъ открытымъ небомъ «Аннибалову клятву» посвятить жизнь освобожденію русскаго народа отъ произволовъ обветшалого, военно-полицейскаго, крѣпостного государства,—облеклась теперь въ красоту несравненной ясности и силы слова, въ ослѣпительный блескъ сатирическаго огня, въ глубокую и трогательную музыку тяжело выстраданнаго паэоса. Герценъ—отецъ и основатель русскаго художественной публицистики. И—какъ Пушкинъ въ стихѣ и Глинка въ мелодіи—онъ остается до сихъ поръ не только не превзойденнымъ, но и ни разу не достигнутымъ образцомъ вдохновеннаго риторства перомъ по бумагѣ, «чернымъ по бѣлому», къ которому вотъ уже пятьдесятъ лѣтъ стремятся и русская передовая статья и русскій фельетонъ. Кто изучалъ исторію искусства, знаетъ, что школа Микель Анджело отличается отъ твореній самого Микель Анджело преувеличеніями мускулатуры, такъ что иногда фигура кажется вздутою опухольми и шишками, притомъ въ самомъ странномъ и неожиданномъ размѣщеніи. Причина разницы въ томъ условіи, что Микель Анджело зналъ и неутомимо изучалъ анатомію и, сурово подражая ея законамъ, переносилъ въ искусство наблюденія живой природы; послѣдователи же его, въ благоговѣйномъ

восторгъ къ гениальному maestro, анатомію забросили и, вмѣсто живого тѣла, изучали могучія мраморныя тѣла, сотворенныя вдохновеніями отца школы. Нѣчто аналогическое наблюдается и въ русскихъ подражателяхъ Герцена: всѣмъ имъ безъ исключенія не доставало глубокаго и страдальческаго знанія анатоміи русской жизни, которое унесъ съ собою за рубежъ великій изгнанникъ. И—хотя за тридцать-пять лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ смерти Александра Ивановича, «подъ Герцена» рядились многіе,—Герценъ не повторился.

Жизнь Герцена слагалась такъ бурно, страстно, мучительно-безпокойно, что, вникая въ страницы «Былого и Думъ», читатель бываетъ сперва изумленъ, а потомъ, неизбежно, глубоко умилевъ и тронуть неисчерпаемою бездною добродушія, какою пропитаны всѣ личныя воспоминанія этой грандіозной книги—«царицы автобіографій». Все свое негодованіе, всю муку горькихъ словъ, все пламя слезъ и проклятій Герценъ, какъ великодушный богачъ, — безъ остатка для себя, — тратитъ на общественно-политической аренѣ. Въ домашнемъ обиходѣ онъ обращается къ этимъ оружіямъ лишь тогда, если его личная бѣда или горе являются роковымъ результатомъ политическаго строя, который онъ расшатываетъ. Таковъ, на примѣръ, потрясающій эпизодъ болѣзни Натальи Александровны въ Петербургѣ,—она недавно родила и кормила, когда Александръ Ивановичъ, внезапно и совершенно безпричинно, получилъ вызовъ къ грозному Дубельту; вызовъ былъ сдѣланъ въ самой грубой и шумной формѣ,—молодая женщина перепугалась до полусмерти, и результатомъ были тяжелый недугъ ея самой и кончина ребенка. Черный призракъ этихъ страшныхъ дней преслѣдовалъ и угнеталъ Герцена всю жизнь до гробовой доски. Но, вообще-то, трудно вообразить характеръ болѣе счастливаго устройства, болѣе бодрой, выносливой и жизнерадостной философіи, чѣмъ природа по-

слала Герцену. Онъ въ литературѣ нашей—самый типическій представитель того личнаго оптимизма, что лежитъ, какъ благодѣтельная закваска, въ глубинѣ нашей великорусской природы, помогая русскимъ людямъ улыбаться и шутить даже на дыбѣ, какъ Кикину, и въ мукѣ смертной, какъ Стенькѣ Разину. Герценъ вошелъ въ жизнь съ шиллеровскою одою «Къ радости» на устахъ и пронесъ этотъ восторженный гимнъ о достоинствѣ человѣка и прелести человѣческаго существованія до могилы, сквозь десятки лѣтъ испытаній и разочарованій, семейныхъ драмъ и бѣдъ, разрывовъ, потерь. «Онъ въ этотъ мѣръ пришелъ, чтобъ видѣть солнце» и разгонять тучи, которыя мѣшаютъ солнцу свѣтить для человѣчества. Тучи, сгущавшіяся вокругъ него самого, онъ принималъ съ веселымъ и гибкимъ стоицизмомъ «испанскаго дворянина», оправляясь отъ личныхъ несчастій,—извините за вульгарное сравненіе!—съ быстротою и устойчивостью хорошо уравновѣшеннаго Ваньки-встаньки.

— Я, ваше высокоблагородіе, человѣкъ легкой, а то бы мнѣ и не жить!—говоритъ Гришка-портной въ очеркѣ Щедрина. Природа милосердна: исторія создала русскому человѣку столь несносныя условія существованія, что понадобился психологическій коррективъ—и выработалась столѣтіями та упругая русская «легкость», что одинаково помогаетъ жить и гениальному, блестящему Герцену, и захудалому Гришкѣ-портному. И, когда изъ характера русскаго человѣка безпощадная жизнь успѣваетъ вытянуть насосомъ своимъ эту спасительную «легкость», Гришка-портной прыгаетъ съ колокольни, Александръ Пушкинъ идетъ умирать отъ пули Дантеса, Глинка спивается, Гоголь заключается въ мрачный, самоужасающій мистицизмъ, замѣняя, какъ суррогатомъ, смерть физическую нравственною смертью заживо...

Герцена спасло отъ трагедіи русскаго таланта, съ истощенною «легкостью», огромное поле политической

борьбы, наполнившей завидною цѣлесообразностью всѣ дни его пестрой жизни. Наблюдая Герцена, какъ частнаго человѣка, и Герцена въ дѣятельности, вы убѣждаетесь, что онъ, въ своемъ родѣ, Янусъ двуликій. Всю свою мягкую «безхарактерность» онъ оставлялъ дома, а на общественную арену выносилъ характеръ—боевой, несокрушимый, упругій, какъ толедскій клинокъ. Быть можетъ, тутъ имѣла значеніе примѣсь германской крови, унаслѣдованной Герценомъ отъ матери. Въ частномъ быту Герцена проскальзывали атавистическія черточки стараго барскаго рода Яковлевыхъ, которыхъ послѣднее вельможное поколѣніе—своего отца, дядю-«Сенатора» и дядю-«Химика»—Александръ Ивановичъ увѣковѣчилъ въ первыхъ частяхъ «Былого и Думъ». Въ политикѣ—онъ тотъ живой, практическій, свѣтлоголовый и, какъ по рельсамъ, прямо и смѣло катящійся Штольцъ, котораго Гончаровъ ставилъ въ урокъ и укоръ русскимъ Обломовымъ, но Штольцъ, исправленный гуманизмомъ самой высокой, тонкой, теплой и изящной красоты, Штольцъ, весь сотканный изъ любви къ свободѣ, правдѣ и благу человѣчества.

Выше я говорилъ, что Герценъ не былъ художникомъ-беллетристомъ. Его острый и трезвый умъ былъ лишенъ элемента выдумки,—онъ не любилъ, не умѣлъ, скучалъ возводить въ перлъ творенія отвлеченные художественные замыслы. Въ одномъ своемъ предисловіи онъ самъ говоритъ: «Этой повѣсти суждено остаться неконченною, потому что я утратилъ простодушіе, необходимое, чтобы ее написать». Но никто въ русской литературѣ не умѣлъ, ярче Герцена, описать, рассказать и заставить почувствовать дѣйствительность, никто не далъ столько художественныхъ историческихъ картинъ, полныхъ одновременно психологической правды Веласкеза и романтической красоты Делакруа. Никогда не прекрасенъ такъ Герценъ, какъ—преклоняясь предъ героемъ свободы и создавая

ему пламенный апофеозъ. Его Гарибальди, Мадзини, Ворцель, Орсини, семья Фохтовъ, Прудонъ—бронзы, отличая для вѣчности, и принадлежать не одной русской, но всемирной литературѣ. Изъ всего, что мнѣ случалось читать о Гарибальди, Герценово описаніе его лондонскихъ дней несомнѣнно остается на первомъ мѣстѣ—по огню, искренности, благородству, смѣю выразиться: по святости энтузіазма. Таковы же и русскіе портреты Герценовой кисти: Бѣлинскій, Вадимъ Пассекъ, Станкевичъ, Кирѣевскіе, Константинъ Аксаковъ, Грановскій. Герценъ—одинъ изъ немногихъ мемуаристовъ, умѣвшихъ рассказать свою жизнь не въ личной, себялюбивой исповѣди, но въ живыхъ лицахъ. «Былое и Думы»—непрерывное дѣйствіе, съ кинематографическою смѣною новыхъ и новыхъ актеровъ, изъ которыхъ каждый—цѣльно и мастерски воплощенный типъ. Отъ Бенкендорфа до сторожа на прусской таможнѣ, отъ Бакунина до трактирщика въ вольномъ Фрибургѣ—всѣ вылѣплены съ одинаковымъ искусствомъ, съ силою правдоподобія и экспрессіи, поразительныхъ въ такомъ быстромъ и размахистомъ творчествѣ.

Когда общественная жизнь вызываетъ Герцена къ протестамъ негодованія, ненависти, презрѣнія, онъ страшенъ: онъ, если не убиваетъ на смерть, то клеймитъ до гроба и за гробомъ—на вѣка вѣчные, покуда жива исторія, и человѣчество слышитъ ея голосъ. Гоголь, въ крикахъ и хохотѣ отчаянія, написалъ ужасный общій фонъ—пустыню «Мертвыхъ душъ» и «Ревизора», гдѣ, какъ Агарь, задыхалась дореформенная Россія. Герценъ закончилъ картину Гоголя, написавъ на его фонѣ историческія фигуры эпохи. Когда Герценъ говоритъ о царствованіи императора Николая I, вы чувствуете въ немъ фантастическій ужасъ вдохновеннаго Гоѣа, — онъ окруженъ воспоминаніями, какъ отвратительнымъ хороводомъ вампировъ, вѣдьмъ, кривляющихся привидѣній, и—чтобы разогнать ночное дикое сонмище—гнѣвно и страстно

бьетъ въ «Колоколъ»,—да сгинетъ шабашъ мрака и да возсіяетъ свѣтлый день! *Vivos voco, mortuos plango*,—этотъ девизъ средневѣкового колокола примѣнялъ Герценъ къ своему знаменитому журналу. Опъ могъ бы договорить девизъ до конца: «*fulgura frango*»—«зову живыхъ, оплакиваю мертвыхъ и сокрушаю молніи». Потому что—кто же сокрушилъ больше молній и разсѣялъ больше черныхъ грозовыхъ тучъ надъ головою русскаго общества, чѣмъ Герценъ въ «Полярной Звѣздѣ» и «Колоколѣ»? И одною изъ этихъ разсѣянныхъ тучъ была великая, всѣ четыре стороны русскаго міра омрачавшая, туча крѣпостного права. Немало добрыхъ топоровъ рубило по стволу этого заклятаго, многовѣкового дуба, но топоръ Герцена былъ самый острый и рубилъ всѣхъ глубже въ корень. Конечно, Герценъ—одинъ изъ главнѣйшихъ виновниковъ освобожденія крестьянъ съ землею. «Колоколъ» былъ настольнымъ у Я. И. Ростовцова, въ немъ искалъ справокъ по крестьянскому вопросу императоръ Александръ Николаевичъ—государь, къ которому въ 1858 году социалистъ Герценъ обратился—нѣсколько преждевременно!—съ знаменитымъ воплемъ: «Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!» Отношенія Герцена къ личности императора Александра II, рѣзко колебавшіяся въ соотвѣтствіи барометрическимъ скачкамъ неустойчиваго «царствованія полуреформъ», болѣе чѣмъ любопытны и достойны самага тщательнаго изученія, и время изученія теперь—съ освобожденіемъ Герцена изъ-подъ цензурнаго спуда—наконецъ, наступаетъ.

Изъ-за рубежа, опальный, воспрещенный даже къ упоминанію имени, изгой умѣлъ стать и быть государственною силою. Со звономъ «Колокола» почтительно считались рѣшительно всѣ русскія правительственныя и общественныя учрежденія и пружины пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ. Извѣстно, какъ императоръ Александръ Николаевичъ опредѣлилъ разницу между Герценомъ и Долгорукимъ, издателемъ другой, заграничной га-

зеты «Будущность»: «Долгорукій только ругается, а Герценъ часто даетъ намъ дѣльныя мысли». Все свое вліяніе на русскую публику Герценъ проигралъ покровительствомъ польскому возстанію 1863 года. Дозрѣвъ самъ до отрицанія всѣхъ исторически вырощенныхъ, искусственныхъ граней человѣчества, во имя всемірнаго гражданскаго союза расъ, племенъ и народовъ, онъ не разсчиталъ, что Россія еще не доразвилась до той же точки зрѣнія космополитическихъ свободы, равенства, братства,—и нашелъ камень преткновенія въ націонализмъ, искусно пробужденномъ въ тогдашнемъ обществѣ усиліями и талантомъ другого знаменитаго русскаго публициста—М. Н. Каткова. Послѣдній, въ то время, только что свернулъ съ пути прогрессивно-обличительнаго на путь реакціи и усердствовалъ въ ней со всѣмъ рвѣніемъ фанатическаго неофита.

Съ другой стороны, не угодивъ на массы націоналистически настроеннаго средняго читателя польскимъ вопросомъ, Герценъ,—по долгому отсутствію своему изъ Россіи, къ тому же рѣзко измѣненной переломомъ Александровскихъ реформъ,—неожиданно для себя, оказался и на лѣвомъ флангѣ въ арьергардѣ общественнаго движенія. Диктатура передовой мысли ушла отъ него къ редакціямъ «Современника» съ Добролюбовымъ и Чернышевскимъ и «Русскаго Слова» съ Писаревымъ и Зайцевымъ. Русскіе революціонеры и въ отечествѣ и за рубежомъ были недовольны лондонскимъ изгнанникомъ, съ обычнымъ ему трезвымъ здравомысліемъ отвергавшимъ крайніе планы, для которыхъ русское общество въ то время, дѣйствительно, далеко еще не было готово, даже въ наиболѣе интеллигентныхъ слояхъ своихъ, въ пользу реформъ, возможныхъ и на зрѣвшихъ по времени. Герценъ очутился въ немилости даже у молодежи. На него сыпятся обвиненія въ старости, въ непониманіи новой русской жизни, въ постепенщинѣ, въ барствѣ и—наконецъ—двумя-тремя со-

мнительными личностями пускаются скверныя сплетни о его якобы денежной недобросовѣстности. Конечно, клеветы послѣдняго пункта обвиненій разбивались вдребезги не только о репутацію Герцена, но и объ его фактическую отчетность, тѣмъ болѣе, что онъ былъ человѣкъ очень богатый: онъ много потерялъ чрезъ конфискацію имущества; но старанія русскаго правительства при Николаѣ I совершенно лишить Александра Ивановича причитающихся ему фамилныхъ доходовъ не имѣли успѣха, по энергическому противодѣйствию, оказанному парижскимъ Ротшильдомъ; Герценъ очень смѣшно рассказываетъ эпизодъ этотъ въ «Быломъ и Думахъ». Но надо имѣть счастливый, олимпійски свѣтлый, эллинскій характеръ Герцена, чтобы переносить измѣны и утраты друзей, разочарованія, интриги, предательства, съ его красивымъ спокойствіемъ, съ его проникновенною снисходительностью. Однимъ изъ памятниковъ этихъ драгоцѣнныхъ свойствъ Герценовой природы остались воспоминанія А. И. о супругахъ Энгельсонахъ. При всемъ своемъ добродушіи, Герценъ былъ далеко не слѣпъ по отношенію къ средѣ, его окружавшей, и не только либеральными декламациями, но даже и поверхностнымъ либерализмомъ дѣйствія купить его симпатіи въ крѣпостную зависимость было нельзя. О томъ наглядно свидѣтельствуютъ его характеристики Николая Сазонова (полная грустнаго юмора повѣсть о томъ, какъ одинъ богатый Рудинъ выродился въ нищаго и пьянаго Обломова), русскаго іезуита Владиміра Печерина, лондонскихъ рефюжее и фанфароновъ французской эмиграціи. Строгая святость конституціоннаго уклада Англіи приводила Герцена въ восторгъ. Въ высшей степени поучительны, въ этомъ направленіи, его статьи о политическихъ дѣлахъ въ англійскомъ судѣ. Но восторгъ никогда не ослѣплялъ Герцена до паралича критики. Этотъ человѣкъ былъ врагомъ непогрѣшимыхъ авторитетовъ, все равно, въ идеяхъ ли, въ учрежденіяхъ

ли, въ дѣтеляхъ ли, въ ближайшихъ ли друзьяхъ. Онъ нѣжно любилъ Грановскаго, Огарева, Бакунина, но — дружба дружбою, служба службою, и, когда звалъ голосъ политическаго убѣжденія, онъ выступалъ противъ друзей своихъ, какъ строгій обличитель и безпощадный полемистъ.

Великій человѣкъ, въ оиміамѣ долгаго культа, часто превращается въ бога на пьедесталѣ, въ свой собственный монументъ, воздвигнутый по общественной подпискѣ. Онъ такъ облакается репутаціей идейнаго совершенства, что за нею совершенно исчезаетъ человѣкъ. Такъ, до самыхъ послѣднихъ лѣтъ, мы имѣли монументальнаго Пушкина, монументальнаго Бѣлинскаго, монументальныхъ Гоголя<sup>3</sup> съ Лермонтовымъ, и лишь въ девяностыхъ годахъ прошлаго столѣтія начались попытки возвратить ихъ изъ условнаго состоянія «бронзовыхъ мужей славы» въ живую плоть и кровь. Вотъ состояніе, совершенно невозможное для Герцена: его нельзя поставить въ статуарную позу неподвижнаго бога не отъ міра сего, — онъ слишкомъ человѣкъ, всегда, во всемъ земной, близкій, теплый, осязаемый и живой человѣкъ. Когда его портретъ виситъ на стѣнѣ, съ нимъ можно разговаривать мысленно цѣлыми часами, какъ съ любимымъ собесѣдникомъ, какъ съ дорогимъ другомъ, но не приходитъ желанія запереть его въ божницу. Въ 1901 году я поднималъ вопросъ, нынѣ возобновленный «Сыномъ Отечества», что пора бы русскому обществу перевезти въ Россію прахъ великаго изгнанника и успокоить въ родной землѣ кости, одиноко зарытыя на старомъ кладбищѣ въ Ниццѣ. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я посѣтилъ могилу Герцена и долго вглядывался въ его статуя, воспѣтую Надсономъ. Могила содержится довольно неряшливо, а памятникъ плохъ, хотя статуя — будь она иначе поставлена — была бы хороша. Дѣло въ томъ, что художественный инстинктъ скульптора не позволилъ ему отлить бронзоваго Герцена въ сверхчеловѣческіе раз-

мѣры, какихъ требуетъ монументальная перспектива; Герценъ изображенъ въ естественный ростъ. Но высокій пьедесталь скрадываетъ величину фигуры, и поэтому, когда смотришь на нее снизу вверхъ, бронзовый Герценъ кажется приземистымъ карликомъ. Эта художественная случайность показалась мнѣ глубоко символическою. Она живо передаетъ то характерное, чѣмъ полонъ былъ живой и остается полонъ литературный Герценъ. Нѣтъ въ русскомъ Пантеонѣ великаго человѣка, который менѣе Герцена требовалъ бы разглядыванія снизу вверхъ и годился бы для этого подобострастнаго процесса. Герценъ—писатель-другъ; онъ ждетъ, чтобы другъ-читатель подходилъ къ нему вровень. И именно это отсутствіе божественной позы, это простодушное равенство генія въ человѣчествѣ со всякимъ, ему внемлющимъ, сыномъ земли и дѣлаетъ Герцена такимъ близкимъ, доступнымъ, понятнымъ и дорогимъ для его читателя.

Въ Герценѣ совсѣмъ нѣтъ той снѣговой безупречности, что дѣлаетъ альпійскія вершины такими сверкающими и такими холодными. Герценъ никогда не былъ гордымъ и самодовольнымъ фарисеемъ; онъ спотыкался, онъ падалъ, какъ мытарь, и, какъ мытарь, умѣлъ сознавать свои паденія и искренно въ нихъ каяться. Я люблю его въ грѣхахъ его, потому что нѣтъ ничего трогательнѣе чувства глубокой, почтительно скорбной, любящей виноватости, которою онъ окружилъ и обезсмертилъ нѣжный образъ своей Натальи Александровны. Я люблю его въ легкомысленныхъ переходахъ отъ тяжелаго горя къ рѣзвому веселью, въ его широкой и мало разборчивой фамиллярности, въ его шампанскомъ, которымъ столько попрекали Герцена пуристы демократіи, въ его неловкихъ и щекотливыхъ дружбахъ, въ его, какъ сказала Л. Н. Толстой, «постыдныхъ ты», которыхъ у Александра Ивановича было врядъ ли меньше, чѣмъ у Стивы Облонскаго. Я люблю его маленькія тщеславія, самодовольство собственнымъ остро-

уміємъ, щегольство большимъ образованіемъ, странные заголовки и эпиграфы на всевозможныхъ европейскихъ языкахъ, которыхъ не понимало девять десятыхъ его публики. Люблю его спѣшныя характеристики и великодушныя ошибки въ людяхъ, ревнивые капризы и властность дружбъ, комическую слабость мѣшаться «не въ свое дѣло» и вѣчно истекающіе отсюда просаки. Люблю въ немъ, словомъ, цѣльность человѣческой природы, со всѣми ея красотами и слабостями:

Не называй его небеснымъ  
И у земли не отнимай!

Да, онъ былъ земля и глубоко понималъ землю. Подобно Фаусту, онъ отрекся вызывать страшнаго, отвлеченнаго Макрокосма, неохватимаго мыслью человѣческою, духа міровой системы, и предался Микрокосму, могучему и практическому духу земли, въ звѣздной ризѣ, еженощно трепещущей живыми надеждами надъ головами усталаго человѣчества. Но Герценъ не испугался живого огня, которымъ дышетъ великій духъ: онъ ринулся въ этотъ священный пожаръ, какъ страстный любовникъ пламени, и самъ сталъ—весь пламя! Поразительны энергія, темпераментъ и строгая цѣлесообразность дѣйствій этого чловѣка въ слабомъ, ноющемъ вѣкѣ «лишнихъ людей», которому онъ принадлежалъ, какъ современникъ! Поразительны чутье и сила, съ какою Герценъ, при огромной философской начитанности, умѣлъ, однако, не заблудиться въ гегеліанскихъ туманахъ, окутавшихъ русское интеллигентное поколѣніе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, от кружка Станкевича до «Гамлета цигровскаго уѣзда» включительно. Гдѣ другіе благоговѣли—*audite verba magistri!*—Герценъ критиковалъ; въ томъ, что другіе принимали за цѣль, Герценъ искалъ только средствъ и ключей къ самостоятельнымъ путямъ и выводамъ. Такъ—гегеліанство его разрѣшается откровеннымъ заявленіемъ въ «Дневникѣ», что онъ любитъ Гегеля лишь въ періодѣ, когда

тотъ писалъ «разсужденіе о смертной казни». Замѣчательно, что, вырастая въ эпоху русскаго байронизма, Герценъ остался совершенно внѣ вліянія Байрона: его социальный темпераментъ не ужился съ проповѣдью демоническаго особнячества,—онъ слишкомъ любилъ и «скверную привычку къ жизни», и «скверную тварь, называемую человѣкомъ». Его любимымъ лирикомъ былъ Шиллеръ, его любимыми людьми были Шиллеры социальнаго дѣйствія, какъ Робертъ Оуэнъ.

Всякая борьба, какія бы свѣтлыя цѣли ее ни одушевляли,—въ процессѣ своемъ,—дѣло грубое, потное—слѣдовательно, грязное. Нельзя выйти съ поля сраженія въ мундирѣ безъ пятнышка и въ свѣжихъ замшевыхъ перчаткахъ. Но есть въ исторіи борьбы за человѣческой прогрессъ нѣсколько фигуръ, счастливо одаренныхъ такимъ рѣдкостнымъ благородствомъ натуры, что—хотя онѣ всю жизнь свою отдали битвамъ—копотъ, дымъ, потъ и грязь битвъ пошадилы исказить ихъ прекрасные облики своими темными наслоеніями, точно послѣднія встрѣчали въ этихъ людяхъ какой то непобѣдимый реактивъ врожденной чистоплотности. Таковы для Италіи Гарибальди и Мадзини, въ ближайшее время, Феличе Кавалотти; для Франціи—Прудонъ; для Германіи—Берне; для Венгріи—Кошутъ; для Россіи—Бѣлинскій и Герценъ. Никто, болѣе газетнаго работника, не въ состояніи оцѣнить все изящество страшныхъ Герценовыхъ полемикъ,—рыцарство его приемовъ, богатырскую смѣлость риска, презрѣніе къ щиту и забралу, убійственную мѣткость ударовъ и великодушіе къ поверженному противнику. Какъ всесторонній знатокъ русскаго языка, Герценъ не стѣснялся фехтовать всѣмъ своимъ словеснымъ запасомъ. Негодованіе часто вызывало нъ его устахъ не только брань, но даже площадную ругань. Рассказывая, на примѣръ, въ «Колоколѣ» 1862 года, что петербургская полиція, во время студенческихъ безпорядковъ, поручила обыскъ арестованныхъ дѣвушекъ—прости-

туткамъ, Герценъ самъ не замѣтилъ, какъ, въ справедливомъ гнѣвѣ, заговорилъ словами, исключенными изъ академическаго лексикона. Но—этого не замѣчаетъ сторяча и увлеченный читатель: такъ къ мѣсту и во-время раздается этотъ вопль оскорбленнаго гражданскаго чувства, поправнаго человѣческаго достоинства. Герцена легко заставить быть грубымъ, рѣзкимъ, но вульгарнымъ—никогда. Брань облагораживается въ его устахъ, какъ въ устахъ короля Лира—проклятія Реганѣ и Гонерильѣ, пересыпанныя уличными словами и, однако, не смущающія даже чопорныхъ англійскихъ миссъ: настолько высокъ и могучъ паоосъ положенія, такъ понятна нутряная потребность вопля. Ахъ, когда коршунъ терзаетъ печень прикованнаго Прометея, трудно ждать, чтобы мученикъ-титанъ проклиналъ Зевса-гонителя изысканнымъ языкомъ французскаго маркиза!

Страшнымъ орудіемъ смѣха Герценъ уничтожалъ политическихъ враговъ своихъ тѣмъ вѣрнѣе, что смѣхъ его—свѣтлый смѣхъ. Въ этомъ отношеніи, Герценъ—совершенный антиподъ другого гиганта русской общественной сатиры, М. Е. Салтыкова-Щедрина, съ его мрачнымъ смѣхомъ-стономъ, смѣхомъ-судорогою, который сверкаетъ, какъ злобѣщая молнія, и гремитъ, какъ громъ въ нависшей грозовой тучѣ. Сатирическіе удары Герцена — презрительныя улыбки солнца, которое, замѣтивъ скверное земное явленіе, спѣшитъ освѣтить его и обезвредить, наскоро клеймя и припекая обжигающимъ лучомъ. Истязательный щедринскій «правежъ»—совсѣмъ не въ духѣ и не въ средствахъ Герцена. Его любимый сатирическій пріемъ—короткая шутка, быстрая стрѣла, злая острота, мѣткая, убійственная кличка. Такъ раздѣлывался онъ съ людьми и явленіями, вызывавшими его презрѣніе. Онъ двумя-тремя словами рядилъ человѣка въ шуты и оставлялъ гулять шутомъ на всю жизнь. Такъ, напримѣръ, распорядился Герценъ съ Панинымъ; длинный ростъ и ограниченныя способности этого сановника дали ему мишень для самыхъ

язвительныхъ антитезъ. Изъ позднѣйшихъ публицистовъ, сатирическая краткословность Герцена повторилась всего удачнѣе въ Анри Рошфоръ, но, къ сожалѣнiю, знаменитому нѣкогда, а нынѣ совершенно выдохшемуся, редактору «La Lanterne» «L'Intransigeant» всегда недоставало твердой идейной устойчивости и политической послѣдовательности своего русскаго предшественника. Тамъ же, гдѣ Герценъ не только презиралъ, но и ненавидѣлъ, ему становилось не до остротъ и шутокъ. Онъ забывалъ тогда свой богатый сатирическiй арсеналь и, давъ волю лирическимъ порывамъ, исходилъ огненными слезами и гнѣвными криками гражданскаго паюса, въ которомъ у него нѣтъ соперниковъ въ литературѣ ни въ русской, ни въ европейской. Такъ пишетъ онъ о крѣпостномъ правѣ, о страдѣ декабристовъ, о мракѣ николаевской Россiи, о Муравьевѣ-Виленскомъ...

Герценъ—настолько обширный и глубокий мiръ, что говорить о немъ и можно, и хочется безъ конца, и все не договоришь, и все жаль—поставить точку, жаль отрываться отъ темы. До сихъ поръ Герцена въ Россiи знали, какъ святой и таинственный миѳъ,—немногие избранные и сравнительно мало. На русскую печать Герценъ, поэтому, совсѣмъ не влиязь. Теперь, когда онъ становится общимъ достоянiемъ, надо ждать, что его томы вдвинутся въ русское самосознанiе, какъ огромная социально-педагогическая сила, какъ воскресшая изъ мертвыхъ, могучая школа политической дидактики и полемики. Нужно ли говорить, что сочиненiя Герцена должны сдѣлаться настольными для каждаго общественнаго дѣятеля и—въ особенности—для журналиста? Наше поколѣнiе, вырастающее подъ свинцовымъ гнетомъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, не можетъ похвалиться политическимъ воспитанiемъ. Брошенное въ дѣятельность послѣ того, какъ было въ корень испорчено мнимо-образовательнымъ застѣнкомъ лже-классической системы графа Д. А. Толстого, оно жило зыбко,

неустойчиво, мутно, въ роковыхъ колебаніяхъ между Ариманомъ и Ормуздомъ, между эгоистическими паденіями и инстинктивнымъ стремленіемъ исцѣлиться и воскреснуть. Быть можетъ, ни одно русское поколѣніе не нуждалось и не нуждается въ нравственной дезинфекціи больше, чѣмъ наше. И врядь ли есть въ сокровищницѣ русской культуры другой дезинфекторъ утомленныхъ и жаждущихъ оздоровленія душъ, болѣе дѣйствительный, ласковый и деликатный, чѣмъ Герценъ—этотъ высоко-человѣчный, ровень къ каждому русскому человѣку пріятельски подходящій другъ—Герценъ, сильный, какъ богатырь, и слабый, какъ дитя, сейчасъ мудрецъ, черезъ минуту простакъ, вчера святой, сегодня грѣшникъ. Никто не умѣетъ дать русскому мечущемуся уму столько задушеваго, успокоительнаго и ободряющаго къ жизни разговора. Шесть слишкомъ лѣтъ тому назадъ, весною 1899 года, я, авторъ этихъ строкъ, переживалъ тяжелый переломъ общественныхъ и политическихъ взглядовъ—одинъ изъ тѣхъ обличительныхъ періодовъ прозрѣнья внутрь себя, когда «открываются зѣницы, какъ у испуганной орлицы», и умъ блѣднѣетъ отъ ужаса ошибокъ и обмановъ, которыми до тѣхъ поръ жилъ, какъ безпечною истиною, и голосъ совѣсти неумолчно вопить: «сожги все, чему поклонялся! поклонись всему, что сжигалъ!» Ахъ, какъ трудно, какъ мучительно, какъ оскорбительно трудно переломъ этотъ переживался... психическая каторга!.. И онъ пришелъ ко мнѣ—старый, мудрый, простой, вѣчно молодой, ласково улыбающійся—Александръ Ивановичъ, пришелъ всеми своими двѣнадцатью, скверно напечатанными въ Лондонѣ и Женевѣ, томами. Пришелъ, успокоилъ, выругалъ, утѣшилъ, наказалъ, простилъ, указалъ путь въ будущее, ободрилъ, благословилъ... О великій учитель! дрожить сердце и колѣна гнутся, когда я думаю о духѣ твоёмъ! И—если сбудется когда нибудь моя мечта,—что прахъ Герцена найдетъ успокоеніе въ родной землѣ, какъ Косцюшко и

Адамъ Мицкевичъ нашли его на краковскомъ Вавелѣ, мое искреннее желаніе: не кладите его въ какой либо величественный Пантеонъ—не заключайте его ни въ одинъ коллективно-погребальный музей знаменитыхъ мертвецовъ! Пусть спитъ онъ, загробно грезя счастьемъ родной земли, одинокій, вольный, доступный для каждаго русскаго паломника, какъ спитъ его другъ Джузеппе Мадзини на высотѣ генуэзскаго Стальено—мертвымъ стражемъ объединенной, свободной Италіи. И пусть вѣтъ надъ русскою землею изъ великаго гроба великая жизнь! Герценъ воскресаетъ для Россіи. Лети же надъ Россією, мчись надъ просыпающимся отечествомъ нашимъ, могучій, громкій, звонкій, дѣятельный, неспящій Герценовъ духъ! Стучи въ двери, въ окна, звони привычною рукою въ вѣчевые колокола! Лети! Буди! Зови!—да воскреснуть и на Руси тѣ, всемірно торжествующія нынѣ, «права человѣка», въ безупречной и безкорыстной борьбѣ за которыя отлетѣлъ ты отъ земли, измученный, но никогда не побѣжденный, молніеносный, прекрасно мятежный духъ!..

1905.

---

## Администрація или судъ?

Статья эта была написана въ 1904 году, незадолго до возвращенія покойнымъ министромъ внутреннихъ дѣлъ В. К. Плеве дѣлъ по политическимъ обвиненіямъ въ вѣдѣніе судебныхъ учреждений. Написана она была по приглашенію откровенно „высказаться“, но появиться въ печати тогда не могла, ибо откровенность откровенности, очевидно, рознь, и оказалось, что авторъ и министръ совершенно разны ее понимали...

Считаю не лишнимъ огласить теперь эту статью, какъ своего рода „историческій документъ“—тѣмъ болѣе, что матеріаломъ къ ея аргументаціи я имѣлъ подлинный докладъ В. К. Плеве.

1905.

Ал. Амф.

Родоначаліе современнаго поднадзорнаго уклада ведется отъ 19 мая 1871 года, когда судебная процедура по политическимъ дѣламъ, предположенная уставомъ 1864 г., была на бумагѣ ограничена, фактически же уничтожена предоставленіемъ министру внутреннихъ дѣлъ права рѣшительныхъ вмѣшательствъ въ подобныя обвиненія, съ развязкою ихъ въ административномъ порядкѣ, на основаніи жандармскихъ дознаній, не доводя вопроса до судебного разбирательства. Эта попятная реформа вызвана была тремя причинами: 1) аристократическимъ, такъ сказать, положеніемъ, которое создалъ для политическихъ дѣлъ уставъ 1864 года, навязавъ имъ долгое кропотливое предисловіе двухъ предварительныхъ слѣдствій (съ жандармскимъ дознаніемъ) и отдавъ ихъ въ руки высшихъ чиновъ судебного вѣдомства; 2) чрезмѣрнымъ накопленіемъ и долгою волокитою мелкихъ политическихъ дѣлъ, которыя обусловливалъ именно этотъ медлительный и торжественный аристократизмъ русскаго политическаго обвиненія;

3) недовѣріемъ къ обвинительной ретивости молодого новаго суда, опасеніемъ, что процессуальная щепетильность его окажется слишкомъ льготною, при разбирательствахъ, съ столь зыбкимъ и неустойчивымъ юридическимъ основаніемъ и матеріаломъ, столь бѣдныхъ прямыми уликами, столь густо заплетенныхъ въ сѣть намековъ и недоумовокъ, какъ то обычно наблюдалось въ большинствѣ тогдашнихъ политическихъ дѣлъ, даже крупныхъ вродѣ Нечаевского, не говоря уже о мелкихъ. Третья причина была главнѣйшею, рѣшительною. Она дѣйствуетъ и вліяетъ на вопросъ и по сіе время, и лишь недавно реальность ея какъ будто начала подвергаться провѣркѣ и сомнѣніямъ: совершается, наконецъ, переоцѣнка и этой невысокой цѣнности.

Машина простая и грубая, хотя бы и не совершенная, всегда побѣждаетъ въ житейскомъ обиходѣ механизмъ тонкій и сложный. Упрощенный административный распорядокъ по политическимъ дѣламъ превратился, мало-по-малу, изъ исключенія въ правило, облекся обычаемъ въ силу закона. Судебное вѣдомство оказалось вскорѣ, фактически, почти совершенно устраненнымъ отъ вопроса о политическомъ преступленіи, и, въ то время, какъ ростъ послѣдняго, и количественный, и качественный, развивался съ быстротою и несомнѣнною силою, политическій процессъ сдѣлался величайшею рѣдкостью въ лѣтописяхъ русской общественной жизни. Къ концу XIX вѣка русское политическое преступленіе очутилось всецѣло въ распоряженіи министерства внутреннихъ дѣлъ; санкція юридическая стала чисто формальною и до такой степени исключительною, что на многія тысячи «политически неблагопадежныхъ», караемыхъ въ административномъ порядкѣ, едва ли наберется сотня преслѣдуемыхъ по суду.

Уставъ 1864 года, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, былъ созданіемъ органическимъ, и попятныя посяганія на его цѣлость, поэтому, рѣдко оказывались удач-

ными — чтобы не сказать, что не оказывались никогда. Когда думали пресѣчь административною мѣрою какое либо зло, якобы вытекавшее изъ устава 1864 года, почти всегда, взамѣнъ того зла, выросло на мѣстѣ его зло новое и горшее прежняго. Не касаясь остраго вопроса, насколько успѣшно боролся съ русскимъ политическимъ преступленіемъ упрощенный административный порядокъ, необходимо признать тотъ печальный фактъ, что, мало-помалу, борьба эта, подобно нѣкой чужеядной лианѣ, такъ оплела древо министерства внутреннихъ дѣлъ, что за ея первенствомъ ступшевались остальные функціи вѣдомства. И въ общественномъ мнѣніи, и въ иностранной печати русскій министръ внутреннихъ дѣлъ разсматривается и оцѣнивается въ послѣднія десять-пятнадцать лѣтъ почти исключительно какъ специальный оберъ-борецъ съ противоположительственными внутренними теченіями. Положительное творчество, необходимое и доступное министерству внутреннихъ дѣлъ по широкой его компетенціи, парализовано, придавлено и отошло на второй планъ. Русскій министръ внутреннихъ дѣлъ — человекъ, которому фатально предоставлено перечеркнуть столько воображаемыхъ государственныхъ минусовъ, что ему уже не остается времени и возможности ставить плюсы. Полномочія 19 мая 1871 года, за 33 года своего дѣйствія, не остановили теченій, противъ коихъ были направлены, но заѣли творческую силу министерства внутреннихъ дѣлъ, размѣнявъ ее на узкую спеціальность сопротивленія. А въ сопротивленіи лишили его опоры судебной, т. е. именно той, которой естественное, прямое и принципиальное назначеніе — закономѣрно сопротивляться фактамъ, нарушающимъ установленный государствомъ порядокъ во всей совокупности общежитія. Какъ воплощенный «институтъ борьбы», понимается министерство внутреннихъ дѣлъ и тѣми, съ кѣмъ оно воюетъ. Кто читалъ лѣтопись русскаго революціоннаго движенія, напр., хотя бы хронологъ «За сто лѣтъ» Бур-

цева, тотъ вспомнить, конечно, что въ теченіе послѣднихъ трехъ десятилѣтій энергія противоправительственной атаки ударяла почти исключительно въ министерство внутреннихъ дѣлъ, едва касаясь другихъ вѣдомствъ.

Ставъ спеціальнымъ «институтомъ борьбы», министерство внутреннихъ дѣлъ, естественно, принимаетъ на себя и отвѣтственность за способы и результаты своей борьбы предъ обществомъ и верховною властью. Послѣ 33 лѣтъ дѣятельности, «институту борьбы» необходимо сознаться, что средства и способы его очень устарѣли, уже не ко времени и, не пользуясь симпатіями общества, весьма часто приводятъ къ результатамъ, совершенно обратнымъ съ тѣми, которыхъ ищутъ. Накопленіе политическихъ разслѣдованій въ вѣдомствѣ, крайне разностороннемъ и занятомъ, сдало ихъ, по необходимости, на дно канцелярій и жандармскихъ управленій, откуда всплываютъ цѣлыя тучи дознаній чисто формальнаго порядка, произведенныхъ людьми не компетентными и не подготовленными, лишенными юридическаго образованія, просвѣщеннаго чутья, общихъ взглядовъ. Акты жандармскихъ дознаній, въ большинствѣ политическихъ, даже оглашенныхъ дѣлъ, были обоснованы такъ слабо, что юридическая часть обвиненія лишь съ великимъ трудомъ выбирала себѣ въ трясинѣ ихъ сколько нибудь твердую точку опоры. Эта первобытность предварительнаго слѣдствія, бюрократическая небрежность къ нему, какъ къ фазису чисто формальному и чуть не фиктивному въ дѣлѣ предрѣшенномъ — одна изъ самыхъ слабыхъ и легко уязвимыхъ точекъ въ русскомъ административномъ распорядкѣ по политическимъ дѣламъ, постоянно вызывающая много справедливаго недовольства и заслуженныхъ нареканій. Часто слышатся въ обществѣ, даже самомъ «лояльномъ», рѣзкія фразы о ссылкѣ «безъ суда и слѣдствія», о «комедіи» административнаго слѣдствія, отвѣчать на которыя министерство могло бы лишь формальными оправданіями бумагъ объ арестахъ, обыскахъ, доно-

сахъ и т. д., входящихъ и исходящихъ по бюрократическимъ инстанціямъ, но не живыми возраженіями по существу дѣла, такъ какъ, конечно, жандармъ—не слѣдователь, а административное распоряженіе на основаніи жандармскаго дознанія—не судебный приговоръ.

Слабость слѣдственной части порождаетъ дурную и зыбкую квалификацію политическаго преступленія, а отсюда и ту поразительную неравномѣрность административныхъ каръ, которыя за нихъ опредѣляются. На усмотрѣніе администраціи подвергается не столько дѣяніе, сколько личность или, точнѣе, предубѣжденіе противъ личности, почитаемой «опасною». И вотъ—одинъ и тотъ же проступокъ, при разсмотрѣніи его въ административномъ порядкѣ, часто стоитъ Иванову короткаго ареста и незначительнаго допроса, а Петрова или Сидорова отправляетъ лѣтъ на пять въ сумракъ якутской ночи. Эти колебанія, эта жесткая, шероховатая неопредѣленность административной кары превращаютъ ее въ загадочную лотерею жизни и смерти, къ которой общественное мнѣніе относится съ нескрываемымъ отвращеніемъ, какъ къ силѣ случайной и капризной, дѣйствующей по вдохновенію, подъ временнымъ впечатлѣніемъ доноса или доклада, а не по логическому выводу и обсужденію живыхъ фактовъ обличаемаго дѣянія. Получается такая видимость, будто государство сводитъ особые частные счеты съ лицами, умышляющими на его порядокъ, и судьба таковыхъ зависитъ не отъ степени совершеннаго ими поступка, но отъ степени предубѣжденія противъ нихъ въ «институтъ борьбы». А гдѣ чувствуются возможности предубѣжденія, тамъ предвидятся и возможности личныхъ увлеченій, то есть субъективныхъ милостей и субъективныхъ жестокостей, которыя могутъ быть направляемы вліяніемъ людей и обстоятельствъ... Нужно ли выяснять, сколько не государственныхъ и даже унижительныхъ для государственности сторонъ включаютъ въ себя подобныя, широко распространенныя и часто по-

вторые представления? Уничтожить же их, вытравить из сознания общественнаго министерство внутренних дѣлъ никакъ не въ состояніи, — напрасно было бы и пытаться, — потому что, какъ «институтъ борьбы», какъ органъ внутренней войны, оно, дѣйствительно, очень значительно зависитъ отъ воли, характера и убѣжденій или настроеній своихъ шефовъ, — гораздо больше, чѣмъ всякое другое министерство. Объ иныхъ изъ министерствъ, достигшихъ болѣе или менѣе механической законмѣрности, русское общество даже и забываетъ порою, кто именно въ данный моментъ стоитъ во главѣ ихъ, — такъ мало интересуется это; въ нихъ министръ скрывается за министерствомъ. Но министерство внутренних дѣлъ — зеркало, очень чутко воспринимающее въ себя фигуру своего руководителя, инструментъ, очень послушный пальцамъ, которымъ играть на немъ ввѣрено. Поэтому въ министерствѣ внутренних дѣлъ, наоборотъ, министерство часто скрывается за министромъ. Говорятъ: «министерство путей сообщенія выступило съ такимъ-то проектомъ, министерство земледѣлія предлагаетъ то-то и то-то». Но о министерствѣ внутренних дѣлъ говорятъ: «диктатура сердца» Лориса-Меликова, реакція Д. А. Толстого, и т. д. Въ Россіи нѣтъ отвѣтственныхъ министровъ, но въ сознаніи общественномъ министръ внутренних дѣлъ давно уже является нравственно-отвѣтственнымъ за хорошій или дурной ходъ государственнаго корабля. Онъ — не только «учрежденіе», но и личность, символъ, программа. И, все, что ни свершается въ его вѣдомствѣ добраго или злого, ставится на счетъ не столько вѣдомству, сколько ему, министру, — и какъ личности, и какъ символу, и какъ программѣ государственной эпохи.

Договорившись до символа и программы, нетрудно отмѣтить и еще одну щекотливую сторону во всѣхъ политическихъ карахъ административнаго порядка: это — объявленіе ихъ высочайшимъ именемъ. Мы видѣли, ка-

кими случайными и шаткими мѣрами опредѣляется въ административномъ порядкѣ степень виновности политическаго преступника, какъ зыбки и произвольны способы и размѣры практикуемыхъ противъ него наказаній. Между тѣмъ, все это море тысячекратно возможныхъ ошибокъ, заблужденій, двусмысленностей, да, наконецъ, иногда и злоупотребленій, обвѣяно высшимъ государственнымъ авторитетомъ, и высочайшій титулъ ставится, какъ отвѣтственная порука въ строгой законности совершаемаго, безповоротно кончающая дѣло и процессуально, и принципиально. Дальше обвиняемому остается только одна спасающая ступень: прошеніе на высочайшее имя о помилованіи,—иныхъ средствъ апелляціи нѣтъ и быть не можетъ. Такимъ образомъ, мальчикъ, у котораго въ карманѣ тужурки найдется номеръ «Освобожденія», не можетъ уже найти себѣ правоспособной милости нигдѣ, кромѣ высочайшей воли, тогда какъ, напр., Александръ Тальма, обвинявшійся въ матереубійствѣ и поджогѣ, имѣлъ всѣ средства къ самооправданію противъ судебной ошибки, которой онъ сталъ жертвой, въ теченіе пяти лѣтъ—прежде, чѣмъ средства эти истощились, и лишь тогда пришлось ему постучаться въ двери комиссіи прошеній на высочайшее имя. Случаи ошибки нерѣдки и при хорошо организованной слѣдственной части и правильныхъ судахъ,—во сколько же разъ возможнѣе и чаще случаи ошибки административной, при узкихъ и неумѣлыхъ жандармскихъ дознаніяхъ, при бюрократическихъ полетахъ бумагъ вверхъ по канцеляріямъ и департаментамъ, при неясной квалификаціи и даже сбивчивости въ самомъ понятіи политическаго преступленія?! Ошибка административная создается въ тысячу разъ легче, чѣмъ ошибка судебная, а между тѣмъ поправить послѣднюю въ семь разъ легче: напрасное слѣдствіе можетъ быть прекращено прокурорскимъ надзоромъ, слабый обвинительный актъ разрушается судебнымъ разбирательствомъ, которое,

въ свою очередь, можетъ быть обжаловано въ инстанціяхъ апелляціонной и кассационной и назначено ко второму разбирательству при новомъ составѣ суда... и вотъ когда, если и тутъ неудача, наступаетъ необходимость искать высочайшей милости! Ошибка же административная ставитъ эту необходимость уже въ первую очередь. Караемый высочайшимъ именемъ лишь высочайшимъ же именемъ можетъ быть избавленъ отъ кары. Помимо легкой возможности ошибокъ и недоразумѣній, нельзя не подумать о томъ, что говорилъ я нѣсколько выше: о несообразности каръ въ связи съ дурною классификаціей дѣяній, о случайномъ, иногда и капризномъ распредѣленіи ихъ. Верховная власть въ государствѣ не должна являться отвѣтственною ни за что, не имѣющее подъ собою совершенно ясныхъ и твердыхъ устоевъ обвиненія, а въ особенности, ни за какую случайность административныхъ недоразумѣній, жестокости или неловкости.

Десятки бесѣдъ велъ я по этому поводу съ разными русскими людьми, прикосновенными къ вопросу объ административныхъ карахъ и активно, и пассивно, и съ блюдущими ссыльныхъ и поднадзорныхъ, и съ поднадзорными и ссыльными. Нечего и говорить, что въ средѣ послѣднихъ административный распорядокъ не пользуется ни малѣйшимъ сочувствіемъ и нельзя услышать о немъ ни одного добраго слова. Часто встрѣчался я съ откровенною и искреннею фразою: десять лѣтъ каторги по суду меньше оскорбляютъ, чѣмъ пять лѣтъ ссылки по административному произволу!..

Но почти тѣ же мысли случалось мнѣ встрѣчать и у многихъ представителей администраціи, какъ горѣ верху, такъ, и въ особенности, на землѣ низу, притомъ у нѣкоторыхъ, имѣвшихъ доказанную репутацію неукоснительной крутости. Всѣ эти люди повторяли приблизительно одно и то же:

— Времена не тѣ... тяжело... трудно...

И прибавляли, словно сговорившись:

— Вотъ, если бы по суду!..

Возвратъ къ суду, къ программѣ устава 1864 года, замѣщенной, но никогда не отмѣненной—единственный путь, какимъ могла бы быть внесена логическая правомѣрность въ тотъ странный и часто трагическій хаосъ, въ котормъ разрѣшаются судьбы русскихъ «политиковъ», какъ зовутъ подслѣдственныхъ и ссыльныхъ по тюрьмамъ и ссыльнымъ городкамъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что судъ спасъ бы свободу очень многимъ изъ нихъ. Существуютъ «охранительскія» опасенія, что онъ оставилъ бы на свободѣ слишкомъ многихъ виноватыхъ, но не уличенныхъ. Но, во-первыхъ, всякому суду, а тѣмъ паче политическому, никогда не слѣдуетъ разставаться съ прекраснымъ афоризмомъ Екатерины Великой, что лучше оправдать десять виновныхъ, чѣмъ засудить одного невиннаго. Во-вторыхъ, какъ будто дѣйствующій административный порядокъ ужъ такъ непогрѣшимо гарантируетъ, что всѣ подлежащіе заточенію будутъ заточены? Тѣ же революціонныя лѣтописи, вродѣ «За сто лѣтъ», показываютъ очень обстоятельно, что сѣти административныхъ каръ гораздо легче уловляли мелкую рыбешку противоправительственной борьбы, которой доставалось гораздо жестче, чѣмъ заслуживала ея незначительность, тогда какъ крупная, красная рыба давалась въ полицейскія сѣти очень трудно, очень рѣдко, а выскальзывала изъ нихъ часто и съ большимъ искусствомъ.

Напримѣръ, съ террористами семидесятыхъ годовъ административный порядокъ боролся гораздо суровѣе, быть можетъ, чѣмъ судебный, но нельзя сказать, чтобы съ большей прозорливостью. Правительство упрекало судъ за оправданіе Вѣры Засуличъ, но—по скольку разъ администрація держала въ рукахъ своихъ хотя бы Софью Перовскую, Желябова, Халтурина и др.,—однако, дѣятельность

ихъ остановить оказалась безсильною, а иногда даже и не подозрѣвала, съ кѣмъ она имѣеть дѣло—въ лицѣ арестованныхъ лишь по «служебному инстинкту».

Такъ что преимуществами даже и въ этомъ, полицейскомъ отношеніи порядокъ административный передъ порядкомъ судебнымъ врядъ ли можетъ хвалиться. Какъ гарантія спокойствія правительственнаго, судъ—не слабѣе полиціи, какъ гарантія справедливости и закономѣрности—онъ несравненно выше.

Существеннымъ и, пожалуй, неоспоримымъ недостаткомъ въ судѣ надъ политическими преступниками по уставу 1864 года былъ, уже помянутый выше, аристократизмъ его,—слишкомъ торжественная, трудная и долгая обстановка со сборами судей изъ высшихъ инстанцій, созданная вящшаго устраненія ради и съ расчетомъ на рѣдкій случай, когда еще не предвидѣлось столь многихъ и частыхъ противоправительственныхъ дѣяній. Но, если, въ интересахъ опрощенія процедуры, найдено было возможнымъ перенести компетенцію политическихъ преступленийъ изъ министерства юстиціи въ министерство внутреннихъ дѣлъ, изъ вѣдомства въ вѣдомство, то, конечно, еще возможное произвести опрощеніе въ нѣдрахъ самого судебного вѣдомства. Если судебную палату замѣнить окружной судъ, прокурора палаты, какъ обвинителя,—обыкновенный товарищъ прокурора, члена суда, какъ слѣдователя,—обыкновенный слѣдователь или слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ,—то, право, съ утратою показной помпы не утратится суть и смыслъ процесса, не перемѣнятся его принципиальные результаты, и не проиграютъ ни престижъ власти, ни интересы подсудимыхъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія,—и это первое условіе всей реформы, конечно, безъ котораго она теряетъ весь смыслъ, такъ что я считаю его предпосланнымъ,—что *передача политическихъ дѣлъ обратно въ вѣдѣніе судебного вѣдомства должно предшествовать коренное исправленіе*

*соответствующихъ статей законодательства русскаго о карахъ за государственныя преступленія.*

Въ нынѣ дѣйствующемъ законодательствѣ кары эти настолько круты, жестоки и грубо распредѣлены, что не надо забывать,—бюрократическая администрація семидесятихъ годовъ именно жестокость каръ выставляла императору Александру II, какъ мотивъ къ необходимости изъять, во имя гуманности, политическія преступленія изъ разбирательства въ судебномъ порядкѣ. Разумѣется, если административный порядокъ преслѣдованія сулитъ жертвамъ своимъ бичи, а судебный грозитъ скорпіонами, то бичи остаются предпочтительнѣе скорпіоновъ, тѣмъ болѣе при современной распространенности политическихъ преступленій. Переводъ политическаго обвиненія въ судъ изъ администраціи, безъ смягченія дѣйствующаго законодательства, явился бы отнюдь не гуманнымъ актомъ, но, скорѣе, обратно—свидѣтельствомъ, что, истощивъ всѣ посильныя себѣ мѣры крутой расправы, министерство внутреннихъ дѣлъ ищетъ въ министерствѣ юстиціи новыхъ средствъ, еще крутѣйшихъ, и за мягкими словами, такимъ образомъ, скрывается очень жесткая суть. Нечего и говорить, что подобная двусмысленная «льгота» совершенно недостойна столь крупной и отвѣтственной силы, какъ министерство внутреннихъ дѣлъ, и болѣе, чѣмъ опасна въ смыслѣ системы политической. Возвращеніе политическихъ дѣлъ въ вѣдѣніе судебного вѣдомства должно быть построено на смягченіи нынѣ дѣйствующаго законодательства. Это—*conditio sine qua non* и настолько строгое логически, что если его вынуть изъ фундамента, то рушится и вся система доказательства въ пользу суда, развитая выше. Ибо политическимъ преступленіямъ, какъ и всякимъ другимъ, нуженъ судъ скорый, справедливый и *милостивый*. Обращать же судъ въ орудіе спеціальной суровости, превосходящей даже суровость административныхъ мѣръ, представляется крупною ошибкою и противъ соображеній

внутренней политики, и противъ логики жизни, и особенно противъ гуманныхъ началъ, во имя которыхъ предпринимается реформа <sup>1)</sup>).

Возвратъ отъ исключительныхъ административныхъ формъ борьбы съ политическими преступленіями къ обычно установленнымъ судебнымъ формамъ—при указанномъ пересмотрѣ и смягченіи узаконенныхъ каръ—внесъ бы много свѣта въ русскую общественную совѣсть, позволилъ бы свободнѣе вздохнуть многимъ, наболѣвшимъ въ напрасномъ молчаніи, грудямъ, ибо снялъ бы съ нихъ мучительную тяжесть долгихъ сомнѣній и угрызений...

Я увѣренъ, что возвратъ этотъ былъ бы дружно привѣтствованъ во всѣхъ и легальныхъ, и нелегальныхъ слояхъ русскаго общества, «и въ стрегущихъ, и въ стрегомыхъ». Что касается «стрегомыхъ», выгоды ихъ ясны безъ доказательствъ: слишкомъ чувствительна разница—будетъ ли судьба ихъ опредѣляться случайными впечатлѣніями и, по впечатлѣніямъ, рѣшеніями единичныхъ, временно властныхъ и часто преходящихъ лицъ или же закономѣрными и принципиальными приговорами, исходящими изъ коллегіальнаго представительства общественнаго, съ заслушаніемъ судебного слѣдствія и слова защиты. А изъ «стрегущихъ»—не думаю, чтобы многимъ доставляло особенную радость тяжелое обязательство принимать на свою совѣсть участь ближняго своего въ той полной мѣрѣ и съ тою твердою вѣрою въ свою непогрѣшимость, какъ оно теперь обстоятельствами административнаго порядка обусловлено и требуется. Меньше единичнаго авторитета въ отвѣтственности—меньше и «грѣха на душу». Тяжелою обязанностью всегда пріятно подѣлиться съ

---

<sup>1)</sup> Обстоятельства 1904—1906 гг. не замедлили оправдать мои предупрежденія: за маскою „гуманныхъ началъ“ не оказалось ничего, кромѣ намѣренія „обратить судъ въ оружіе спеціальной суровости“... судебная практика послѣднихъ годовъ — сплошное избіеніе политическихъ младенцевъ! 1906. Ал. Амф.

сосѣдомъ, особенно, если и обязанность-то, по существу и преимуществу, сосѣдская, а вамъ досталась лишь слушаемъ и обычаемъ... Политическая расправа—именно только давній случай и укоренившійся обычай въ обязанностяхъ министерства внутреннихъ дѣлъ, и послѣднее, конечно, снять съ себя не малую ношу, когда подѣлится своею практикою по ея исконной и прямой принадлежности съ сосѣдомъ—съ судебнымъ вѣдомствомъ.

1904.

Мартъ.

Царское село.

---

## Марья Николаевна Ермолова.

Лишь твое услышу имя,  
И въ моемъ печальномъ сердцѣ  
Расцвѣтутъ благоуханья...

Эти стихи изъ «Атта Тролля» всегда приходятъ мнѣ въ голову, когда я вижу Ермолову и слышу о Ермоловой—объ этой великой трагической музѣ нашего вѣка, этой вдохновительницѣ и другѣ нашей, восьмидесятной молодости. Не изъ свѣтлыхъ и дѣльныхъ была эта молодость. Тѣ, кто знакомъ съ моимъ романомъ «Восьмидесятники», найдутъ въ немъ ея подробное отраженіе. Стояли сумерки, ползъ туманъ, и въ туманѣ копошились призраки, падало доброе и слабое, росло и забирало власть сильное и злое... Но—опять стихи: «чѣмъ чернѣе сумракъ ночи, тѣмъ ярче факель въ немъ горитъ». Однимъ изъ самыхъ яркихъ факеловъ въ той черной восьмидесятной ночи, для Москвы, блестяла Ермолова. Строгимъ, величавымъ, почти укоризненнымъ свѣтиломъ стояла она на уныломъ горизонтѣ нашемъ, цѣломудренная, замкнутая въ себѣ, жрица дѣятельнаго и мудраго искусства, сливъ съ нимъ жизнь свою въ одну живую цѣльность. Въ ея талантѣ—отъ природы, само собою—инстинктивно жило и кипѣло мощное начало общественной отзывчивости, которымъ впослѣдствіи стремились обзавестись, по разуму, десятки умныхъ и способныхъ артистокъ, но ни одной до сихъ поръ не удалось достигнуть ермоловской высоты и искренности. Позвольте

мнѣ цитировать самого себя и привести маленькую сценку изъ «Восьмидесятниковъ».

«Уничтожившій нѣсколько рюмокъ водки и бутылку краснаго вина, но ничуть не подвыпившій, только повеселѣвшій и красный, техникъ Бурсть привязался къ Лиди Мутузовой съ попреками, зачѣмъ она затѣваетъ поступить на сцену.

— Какое, чортъ, теперь искусство на сценѣ? Развѣ можетъ интеллигентная дѣвушка поставить себѣ цѣлью жизни—играть Виктора Крылова? Вѣдь это все равно, что въ потолокъ плевать, либо, какъ наши таганскія купчихи отъ скуки забавляются, палець вокругъ пальца вертять: «капустку рубить, огурчики солить, капустку рубить, огурчики солить»...

— Какъ будто одинъ Викторъ Крыловъ?

— Одинъ! Никому больше нѣтъ хода! Поганая петербургская Александринка развратила всю Россію!.. Живого слова не слышно со сцены! Островскаго выгнали въ шею изъ театра! Помеломъ! «Свѣтлый-то лучъ въ темномъ царствѣ»! А? «Сорванцы» торжествуютъ, «Чудовища»! Инженюшки! Эка восторгъ какой и польза необыкновенная: въ инженерюшку жизнь уложить! Вонъ у васъ сестрица была старшая, Клавдинька, дружокъ мой неогѣненный: когда война началась, она въ Фратештскій госпиталь, сестрою милосердія, уѣхала,—это я понимаю и уважаю... А вы—эвона куда мѣтите: въ «Сорванцы»!

— А я въ «Сорванцы»!—сердито дразнила Бурста озлившаяся Мутузова.

— Стоило учиться!

— Безъ образованія больше нельзя быть актрисою! Бурсть оглушительно захохоталъ.

— Это—чтобы «Сорванцовъ»-то играть? Нутрянимъ смѣхомъ гоготать, да на столъ съ разбѣга вскакивать? Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Еще-бы! Золотая медаль нужна! Съ серебряною, смотрите, такой премудрости не осилите!!!

— И все вы ломаетесь и напускаете на себя. Самъ— первый театраль въ училищѣ!.. Послѣ бенефиса Ермоловой недѣлю говорить не могъ, сорвалъ горло, вызывая!

Бурсть посмотрѣлъ важно и серьезно.

— Ер-мо-ло-ва!..—укоризненно произнесъ онъ, торжественно поднимая палець,—Марья Николаевна!

— Ну, конечно! Еще-бы! Фетишь! Кумиръ! Божество и благоговѣніе!

— Да-съ! точно такъ-съ! именно-съ!.. — кланялся техникъ.—И божество, и благоговѣніе!

— И благоговѣйте!

— И благоговѣемъ!

— Да вѣдь Ермолова-то—актриса?

— Нѣтъ-съ, не актриса!

— Здравствуйте!

— Хоть прощайте!

— На сценѣ играетъ—и не актриса?

— Да — какъ играетъ, что играетъ?! Ермолова—великая русская женская душа... да-съ! Общественная идея воплощенная... да-съ! Трагическая муза, а не актриса...

— Вѣрно! Молодчина Бурсть! — сорвавшимся крикомъ молодого пѣтуха взвизгнулъ Борисъ Арсеньевъ. И про свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ—это ты тоже благородно. Уважаю!

— Вотъ такъ они всегда, студенты!

— Когда въ «Овечьемъ источникѣ» она передъ народомъ... растоптанная-то... изнасилованная... къ возстанію призываетъ... а? помните?.. а? Она тамъ внизу, на сценѣ, хмурится, да стихи свои читаетъ... А мы въ райкѣ уже не режемъ—стонемъ, навзрыдъ воемъ!.. Да, плачутъ люди! Другъ друга обнимаютъ!.. Ага? Настоящее-то слово услышали?! Барышни платками машутъ, мы пледы распустили... Изъ театра шли—вплоть до самой Нѣмецкой «Утесъ» пѣли, городовые только дорогу давай!.. Да-съ! Вотъ это впечатлѣніе, это театр!.. Пьесу съ репертуара дирекція,

при полныхъ сборахъ, сняла... понимаете? А вы о ней— «актриса»!

— Но вѣдь...

— Нѣтъ, вы погодите! «На порогъ къ дѣлу!» А? Когда она въ сельскую школу входитъ? Да—черти меня загрызи! Я самъ готовъ все бросить и въ село учителемъ пойти! Потому что вижу передъ собою живой общественный идеалъ, и сейчасъ у меня глаза чешутся, и рука лѣзетъ въ карманъ за платкомъ...»

Такихъ споровъ и ссоръ велись тогда сотни каждый день, въ каждомъ московскомъ домѣ. «Психопатовъ» и «психопатокъ», истерическаго развинченнаго идолопоклонства, вокругъ Ермоловой никогда не было, но во всемъ артистическомъ русскомъ мѣрѣ я не запомню другого примѣра, чтобы артистъ или артистка пользовались такою сознательною, такою уважающею и почтительною любовью интеллигентной, зрительской массы. Любили огромный талантъ, любили честную, чистую женщину, любили свѣтлый передовой умъ типической «народницы». Эта, почти фанатическая, привязанность нашего поколѣнія къ Ермоловой слагалась тѣмъ крѣпче и чище, что сама Марья Николаевна была не изъ льстивыхъ богинь, заигрывающихъ со вкусами толпы. Она никогда не сдѣлала ни одного шага на поиски популярности, навстрѣчу поклоненію публики. Она всегда была—вся на сценѣ, а внѣ сцены исчезала отъ любопытства городскаго, какъ призракъ какой нибудь, какъ миѳъ. Когда я читалъ въ «Вильгельмѣ Мейстерѣ» исторію «тѣни Гамлета», которая явилась только къ своему выходу на спектакль и, великолѣпно исполнивъ свою роль, скрылась изъ театра такъ же быстро и таинственно, какъ пришла, и никто не могъ потомъ ея найти, я, съ невольною улыбкою, вспоминалъ М. Н. Ермолову потому, что это—ея характерная манера. Она слыла и была богинею учащейся молодежи, но изъ студенчества рѣдко кто могъ похвалиться личнымъ знакомствомъ съ нею; въ симфоническихъ собра-

ніяхъ она, одѣтая какъ можно скромнѣе, забивалась куда нибудь въ уголокъ, на хоры, чтобы слушать свою любимую музыку, не привлекая къ себѣ вниманія; почти чудомъ было увидеть ее внѣ сцены или эстрады; рѣшительно не вспоминаю, да и вообразить ея даже не могу кокетливою продавщицею цвѣтовъ, шампанскаго или на поприщѣ какого либо подобнаго же благотворительно-рекламнаго шарлатанства на филантропическихъ балахъ; интервьюеровъ она не принимала; о рекламныхъ эффектахъ, объ огласкѣ «интересныхъ» эпизодовъ частной жизни, вѣроятно, и представленія не имѣла, что таковые можно не безъ пользы и славы для себя продѣлывать артисткѣ, себя уважающей. Спектакль, репетиція, уборная и комната въ своей квартирѣ, гдѣ она учила роли,—вотъ почти вся жизнь Ермоловой, вся ея карьера. Искусство имѣетъ своихъ монаховъ и монахинь и, конечно, въ числѣ ихъ Марья Николаевна одна изъ самыхъ святыхъ. Она весь вѣкъ просидѣла въ кельѣ, отрываясь отъ своего художественнаго аскетизма, лишь когда призывали помощь ея нужда ближняго, а въ особенности, братія науки и искусства, бѣдствующее студенчество, голодь и холодъ недостаточной интеллигенціи. Блестящихъ карьеръ въ искусствѣ много, но карьера Ермоловой выдѣляется изъ всѣхъ ихъ какою-то особою, пуританскою чистотою. Это—на рѣдкость, исключительно благородная карьера безъ пятнышка, какое-то почти небывалое служеніе дѣлу безъ лицъ. Безъ протекцій, скорѣе на зло и въ пику всѣмъ протекціямъ, случайно вошла Ермолова на сцену, была тѣснама, была гонима; первыя шесть лѣтъ ея сценической дѣятельности—лѣтопись скорби и угнетеній. Но никогда никто изъ насъ, публики, не слыхалъ отъ Ермоловой жалобъ, просьбъ заступиться, «поддержать»; имя Ермоловой, за 35-лѣтнее ея служеніе сценѣ, не примѣшалось ни къ одной театральнѣй интригѣ—даже ради законной самозащиты, хотя подобныя контръ-интриги были бы не только извинительны, но и

казались многимъ едва ли не необходимыми—по гадостямъ закулиснымъ и конторскимъ, заѣдавшимъ молодость великой артистки. Прямота и наивность Ермоловой были несравненны. Въ годы, когда ей было очень туго на сценѣ и держали ее въ черномъ тѣлѣ, одинъ довольно невѣжественный редакторъ весьма вліятельной газеты рѣшилъ, «ради оригинальности», взять молодой, растушій талантъ подъ покровительство своего изданія.

— Читали вы мою статью о васъ въ такой-то роли?— спрашиваетъ онъ затѣмъ Марью Николаевну.

А та ему:

— Нѣтъ.

— Почему?!

— Да—что же читать? Я вѣдь знаю, что вы въ искусствѣ ровно ничего не понимаете...

— Безумная женщина! Какого врага вы себѣ нажили! Вѣдь онъ же самолюбивъ, какъ чортъ! Вѣдь онъ же не прощаетъ!—вопили близкіе къ Ермоловой люди.—А та упрямо твердила:

— Какъ же я ему скажу, что читала, если не читала? Какъ же я скажу, что онъ понимаетъ, если не понимаетъ?

При мнѣ Марья Николаевна, уже знаменитость, рѣзко оборвала одного изъ своихъ друзей, когда тотъ началъ было унижать талантъ восходящей драматической звѣзды. Никогда не слыхалъ я отъ Ермоловой фальшивой похвалы кому либо и незаслуженнаго, неискренняго порицанія. Нѣтъ драматурговъ несчастіе журналистовъ «съ вліяніемъ»: ихъ пьесы артисты всегда восхваляютъ (въ глаза!), какъ шедевры. Я самъ имѣлъ удовольствіе испытать это, когда былъ «журналистомъ съ вліяніемъ», живо помню чтеніе одной своей драматической попытки, хвалы, комплименты, поздравленія, и лишь у М. Н. Ермоловой достало искренности сказать мнѣ:—Зачѣмъ вы хотите ставить на сцену такую слабую вещь? Это совсѣмъ не ваше дѣло!

Живо вспоминается мнѣ она, восторженная, на спектакляхъ молодого Барная, а потомъ въ гастроли Мунэ-Сюлли, который ей не очень-то нравился, но зато удивила ее Сегонъ-Веберъ, игравшая Антигону. Артисткѣ этой не предшествовала въ Россіи обычная барнумовская реклама, которою возвѣщаются намъ гастроли заграничныхъ звѣздъ, и Москва приняла ее съ холоднымъ недоумѣніемъ. Если пластическое исполненіе Сегонъ-Веберъ было понято зрительнымъ заломъ и равнодушною прессою, то, конечно, главною виновницею того была Ермолова, открыто выразившая свой восторгъ.

— Вотъ васъ бы увидать Антигоною...—сказалъ я ей. Она энергически потрясла головою.

— Нѣтъ, это особенная школа... нѣтъ, я такъ не умѣю.

Помню, какъ ставилъ я въ Москвѣ историческую пьесу «Полоцкое разоренье», роль Рогнѣды въ которой Марья Николаевна играла изумительно—такъ, что пьеса того не стоила. На репетиціяхъ она все просила замѣчаній, поправокъ, а—откуда же было мнѣ взять ихъ, если все шло великолѣпно и превосходило мои ожиданія?

— Ну, вотъ и скверно! и очень скверно!—возражала Марья Николаевна даже какъ бы съ отчаяніемъ,—вы видите только хорошее, да хвалите насъ, и пьеса провалится... Вы спорьте, останавливайте, ругайтесь, тогда всѣ черныя пятна выступать наружу, и мы ихъ исправимъ, чтобы пьеса имѣла успѣхъ.

Все, что сдѣлала М. Н. Ермолова для своего положенія въ искусствѣ и для своей славы, свершилось какъ-то помимо ея личныхъ усилій—стихійною силою ея дарованія, побѣдившаго и интригу, и предубѣжденія, и зависть: всѣ тормазы русскаго театральнаго успѣха. Тотъ спектакль «Овечьего источника», о которомъ вспоминаетъ техникъ Бурстъ въ моемъ романѣ, вдругъ уничтожилъ, сдѣлалъ смѣшными и нелѣпыми всѣ козни, которыми придавлена

была «въ черномъ тѣлѣ» юная Ермолова. Наканунѣ «Овечьяго источника» можно было еще сомнѣваться въ ея силахъ; назавтра она, какъ лордъ Байронъ, проснулась знаменитостью, и вся Москва повторяла въ одинъ голосъ, что можно Малый театръ отставить отъ Ермоловой, но не Ермолову отъ Малаго театра. И такъ съ тѣхъ поръ и пошло это впередъ, на три десятка лѣтъ, отъ «Овечьяго источника» къ Офеліи, отъ Офеліи къ «Около денегъ», а тамъ—Марія Стюартъ, Орлеанская дѣва, едва ли не самое сильное созданіе Ермоловой, «Послѣдняя жертва», Сафо, «Федра», «Равенскій боецъ», «Золото» и «Цѣна жизни», которую діалогъ Ермоловой и Ленскаго возвысилъ на ступень настоящей трагедіи, «Да здравствуетъ жизнь» и, наконецъ, «Измѣна» Сумбатова. Когда я читалъ это послѣднее произведеніе многоуважаемаго Александра Ивановича, то живо представлялъ себѣ, какія чудеса должна творить Ермолова въ роли Зейнабъ,—этого Конрада Валленрода подъ чадрую. Старый товарищъ по сценѣ, глубокой знатокъ ермоловскаго таланта, мастеръ сцены, самъ превосходный артистъ, Сумбатовъ создалъ для Ермоловой канву, гдѣ она невольно должна развернуть всѣ стороны своего стихійнаго таланта. Я чувствую и предвижу Ермолову въ каждой фразѣ Зейнабъ. Трудно написать роль въ большемъ согласіи съ индивидуальностью артистки. И недаромъ она, какъ пишутъ провинціальныя газеты, не очень-то удастся другимъ звѣздамъ русской драмы.

Наивысшаго выраженія и силы талантъ Марьи Николаевны достигаетъ, все-таки, въ трагедіи и сильныхъ драмахъ, освѣщенныхъ огнемъ гражданскаго паѳоса. Въ этомъ у нея нѣтъ соперницъ ни въ Россіи, ни въ Европѣ. Шиллеръ—ея поэтъ для сцены, какъ Некрасовъ долго оставался ея поэтомъ—для эстрады. «Орлеанская дѣва»—ея стихійное, почти грозное созданіе. Шекспиромъ московскій Малый театръ робко и рѣдко балуетъ свою публику, и шекспировскихъ ролей въ репертуарѣ Ермоловой—не

много: Имогена, Офелія, Королева Екатерина... Все это, въ свое время, волновало наши сердца, и «плѣняло умъ». Я не видалъ Ермоловой, какъ лэди Макбетъ, но лэди Анна въ «Ричардъ»—принадлежить къ лучшимъ ея созданіямъ...

А съ Марьей Николаевной, послѣ этой замѣтки моей, я встрѣтятся боюсь, потому что—быть мнѣ отъ нея казниму за «рекламу»<sup>1)</sup>... Ну, и пусть! А статья пусть, все-таки, идетъ! Потому что—Ермолова тамъ какъ хочетъ, а намъ, старымъ москвичамъ, въ охоту похвалиться и погордиться ею. Это—наша актриса! Ею люблюяся, мы любуемся самыми свѣтлыми, умными и задушевными минутами нашей невозвратной молодости... Ермолова для насъ, какъ Покорскій въ «Рудинъ» для Лежнева. Помните? Случалось мнѣ, говорить Лежневъ, встрѣчать старыхъ товарищей: опустился человѣкъ, одичаль, освинцѣль, шерстью порось... А назовешь ему Покорскаго, и чудо совершается: и разумная искра въ глазахъ, и голосъ другой, и мысль нѣжною радостью засвѣтится въ лицѣ—«точно въ грязной, душной, вонючей комнатѣ откупорили вдругъ стеклянку съ драгоценными духами»... Вотъ—такъ-то и мы, московскіе Лежневы-восьмидесятники, встрѣчаемъ Марію Николаевну Ермолову. Большую «нравственную дезинфекцію» вносило ея вліяніе въ нашу жизнь, и не избыть намъ благодарности ей,—давай ей Богъ здоровья!

1904.

---

<sup>1)</sup> Писано по случаю гастрولي Ермоловой въ Петербургѣ. 1904.

## О Горькомъ.

### I.

#### «Человѣкъ».

«Величественный, гордый и свободный, онъ мужественно смотритъ въ очи правдѣ и говорить сомнѣніямъ своимъ:

— Вы лжете, говоря, что я безсиленъ, что ограничено сознание мое! Оно—растетъ! Я это знаю, вижу, я чувствую—оно во мнѣ растетъ! Я постигаю ростъ сознанья моего моихъ страданій силой, и—знаю—если-бъ не росло оно, я не страдалъ бы болѣе, чѣмъ прежде.

— Но съ каждымъ шагомъ я все большаго хочу, все больше чувствую, все больше, глубже вижу, и этотъ быстрый ростъ моихъ желаній—могучій ростъ сознанья моего! Теперь оно во мнѣ подобно искрѣ—ну, что-жъ? Вѣдь искры это—матери пожаровъ! Я—въ будущемъ—пожаръ во тьмѣ вселенной!»!

Откуда это, читатель? Изъ чьей львиной души вырвались эти слова-рыканія, достойныя устъ Эсхилова Прометейя? Кто этотъ новый Байронъ, новый Шиллеръ, возлагающій двадцатому вѣку возвышенную пѣснь—заповѣдь Разума-Идеала:

— Все въ Человѣкѣ,—для Человѣка!

Сборникъ «Знанія» слишкомъ популяренъ, чтобы надо

было долго дожидаться отвѣта: мои цитаты — изъ «Человѣка» Максима Горькаго, и, по моему мнѣнію, заключаютъ въ себѣ самое лучшее и сильное изъ всей этой поэмы въ прозѣ, которою знаменитый писатель хотѣлъ развить и растолковать до конца вдохновенный гимнъ «Человѣку», пропѣтый въ его безсмертной пьесѣ «На днѣ» босякомъ Константиномъ Сатинымъ.

— Человѣкъ—это звучитъ гордо!

— Все въ человѣкѣ, все—для человѣка!

Я признаюсь съ полною искренностью, что люблю Максима Горькаго со всѣмъ энтузіазмомъ пылкой вѣры, истомленной чаяніемъ великаго и дѣятельнаго таланта, для котораго литература и жизнь—едино суть. Но я не фанатикъ и любовь моя не слѣпа. Мнѣ не страшно сознаться, что новая попытка Горькаго не удалась, и «Человѣкъ» его, въ общемъ, гораздо блѣднѣе монолога о человѣкѣ Константина Сатина, этого chef d'oeuvre'a лаконической силы, одною страницей открывшей путь къ цѣлой литературѣ споровъ и комментариевъ. Во главѣ комментаторовъ теперь оказался самъ авторъ монолога. Его комментарий вышелъ, во-первыхъ, длинноватъ, а во-вторыхъ, возвышенный тонъ ритмованной прозы привилъ мыслямъ Горькаго фразистость, совсѣмъ ему не свойственную ранѣе. Конечно, ритмованною прозою написаны и «Пѣсня о соколѣ», и «Буревѣстникъ», но обѣ эти вещи—краткій, какъ фейерверкъ или пороховой взрывъ, порывъ пламеннаго чувства, буйная лирика мысли, а не разсужденіе о мысли и лирическихъ ея позовахъ. Тамъ, по некрасовскому завѣту, просторно мысли и тѣсно словамъ. Между тѣмъ, въ «Человѣкѣ» много именно разсужденія,—чуть не «хриі». Огромно растянутыя резонерскія части «Человѣка» свипцовымъ грузомъ тянуть ко дну красоту отдѣльныхъ лирическихъ вспышекъ, вродѣ приведенныхъ выше. Ужъ очень дурного мнѣнія авторъ о мозгахъ публики, которая будетъ его читать; ужъ очень боится онъ, что его не поймутъ или не

допоймутъ; ужъ очень старается онъ разжевать и въ ротъ положить каждую мысль свою, ставя черныя и громадныя точки надъ каждымъ «і». Слишкомъ много разъясненій, примѣровъ, сравненій, фигуръ: ясныя сами по себѣ, мѣткіе образы тонуть въ расплывчатой тинѣ словоизвитія. Въ «Человѣкѣ», наряду съ проблесками чисто горьковскихъ молній, много велерѣчія, догматической проповѣди на заказъ, либо ученой резонерской оды:

Неправо о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ,  
Которые стекло чтутъ ниже минераловъ!

У Максима Горькаго бывали вещи удачныя, бывали слабыя, но—до сихъ поръ—не было ни одной, на которой не сказывалась бы яркая оригинальность его обособленнаго таланта,—ни одной такой, чтобы ее можно было приписать, по ошибкѣ, кому либо другому. И въ «Человѣкѣ» мѣстами прорываются строки исключительной глубины и паѳоса, живущаго только въ широкой и страстной душѣ пѣвца «безумства храбрыхъ». Но, опустивъ эти немногочисленные оазисы, мы получаемъ отъ «Человѣка», все же, лишь эффектное упражненіе въ краснорѣчьи на симпатично предвзятую тему, подъ коимъ могла бы съ успѣхомъ красоваться подпись не только М. Горькаго, но, на примѣръ, и талантливаго, но неистоимо риторическаго о. Григорія Петрова. То же самое стремленіе къ доказательствамъ уподобленіями, что такъ характерно для творчества и рѣчи «петербургскаго Златоуста», то же самое забвеніе принципа, что «comparaison n'est pas raison», тотъ же самый калейдоскопъ быстро проходящихъ «предметныхъ представленій», подобранныхъ умно, иногда даже замѣчательно умно, но не говорящихъ о томъ истинно поэтическомъ творествѣ, что «мыслить образами». На примѣръ: ну, развѣ Максима Горькаго это языкъ—«тучи разныхъ мелочей житейскихъ подобны грязи на его (человѣка) дорогѣ и гнуснымъ жабамъ на его пути»? Читатель, серьезно настроенный, подумаетъ, что это—

отрывокъ изъ проповѣди молодого, честно мыслящаго и говорящаго, кое-что свѣтское почитавшаго, по не срывающаго звѣздъ съ небесъ, поа-ставленника<sup>1)</sup>); читатель смѣшливый просто вспомнить изъ Пруткова, что «чиновникъ стальному перу подобень», либо «иного прогуливающаго старца смѣло уподоблю песочнымъ часамъ». Такой шаблонной, двусмысленной и вызывающей на пародію лжеобразности, къ сожалѣнію, слишкомъ много въ «Человѣкъ». И... «совсѣмъ не необходимо столь вящше изломиться!» говорилъ салтыковскій сановникъ семинаристу, когда тотъ старался выказать себя изящнымъ свѣтскимъ кавалеромъ. Я думаю, что и драгоцѣнному таланту Максима Горькаго совсѣмъ не необходимо «вящше изломиться» въ красивомъ умничаньи словесномъ, въ фехтованіи красно-сплетенныхъ фразъ. Подбирать таковыя на Руси мастеровъ много, и—куда до нихъ въ этой немудреной опытности Максиму Горькому! Рядомъ съ ними онъ, огнями страстными трепещущій вулканъ живой, всегда останется тяжеловѣснымъ и неловкимъ, какъ именно «вящше изломившійся» семинаристъ. Но изъ всѣхъ русскихъ писателей одинъ лишь Максимъ Горькій умѣетъ ударять по сердцамъ невѣдомою силою бродящихъ словъ Сатина, бродящихъ мыслей Оомы Гордѣева, бродящаго чувства Мальвы. И,—когда въ «Человѣкъ», на зло надѣтому на талантъ корсету искусственныхъ фразъ, прорывается этотъ прежній вѣщій, глубокій, сильный Максимъ Горькій,—страшно и грозно возвышается онъ тогда надъ уровнемъ своей новой вещи, и пустынная гладь ея, невыгоднымъ контрастомъ своимъ, какъ будто дѣлаетъ эти прекрасныя высоты еще выше.

---

<sup>1)</sup> Это сравненіе я взялъ у Антона Чехова. Въ апрѣлѣ 1904 г. онъ писалъ мнѣ: „Читали вы „Человѣка“? Не правда ли, Горькій похожъ въ немъ на молодого поа-ставленника, который, съ амвона, старается говорить басомъ и на о?“

— Вы лжете, говоря, что я безсиленъ, что ограничено сознание мое! Оно растеть! Я это знаю, вижу, и чувствую—оно во мнѣ растеть! Я постигаю ростъ сознанья моего моихъ страданій силой, и—знаю—если-бъ не росло оно, я не страдалъ бы болѣе, чѣмъ прежде...

Когда я дочиталъ «Человѣка» до этихъ строкъ, съ послѣдующею тирадою, приведенною выше, я почувствовалъ себя въ восторгѣ такого же недоумѣнія, какъ—позвольте и мнѣ прибѣгнуть къ сравненію: вообразите себя на праздномъ засѣданіи какого нибудь російскаго общества любителей собственной элоквенціи, жующихъ, при почти-тельно скрываеваемыхъ зѣвкахъ, общими мѣстами, избитыя литературно философскія темы,—и вдругъ подвели бы къ вамъ человѣка, въ старомодномъ кафтанѣ со стразами, и рекомендуютъ:

— Иоганнъ Фридрихъ Шиллеръ, авторъ «Разбойниковъ», «Донъ-Карлоса» и оды «An die Freude». Гражданинъ грядущихъ поколѣній, удостоенный отъ французской республики благодарности и почетнаго гражданства, какъ другъ свободы.

— Это дикій сонъ!—скажете вы.

Да, сонъ—дикій, мощный сонъ, навѣянный страстнымъ прометеевымъ стономъ русскаго пѣвца-богатыря:

— И призванъ я, чтобъ освѣтить весь міръ, расплавить тьму его загадокъ тайныхъ, найти гармонию между собой и міромъ, въ себѣ самомъ гармонию создать и, озаривъ весь мрачный хаосъ жизни на этой изстрадавшейся землѣ, покрытой, какъ наожною болѣзнью, корой несчастій, скорби, горя, злобы,—всю злую грязь съ нея. смести въ могилу прошлаго!

Шиллеровъ идеаль, — о которомъ рыдалъ и стучалъ кулакомъ по столу Митя Карамазовъ, изливая душу передъ братомъ Алешою, въ бесѣдкѣ, въ саду, шиллеровыми же словами,—усыновленъ русскимъ чувствомъ, переплавился въ немъ, какъ металлъ драгоценный, и загудѣлъ, въ лицѣ

Максима Горькаго, согласнымъ колокольнымъ звономъ— и благовѣсть, и набать вмѣстѣ <sup>1)</sup>).

— Слава Вышнему на свѣтѣ—слава Вышнему *во мнѣ!*

— Человѣкъ—вотъ правда! Человѣкъ—это звучить гордо!

— Настанетъ день—въ груди моей сольются въ одно великое и творческое пламя мѣръ чувства моего съ моею безсмертною мыслью, и этимъ пламенемъ я выжгу изъ души все темное, жестокое и злое, и буду я подобенъ тѣмъ богамъ, что Мысль моя творила и творить.

— Все въ Человѣкѣ, все—для Человѣка!

Есть у Максима Горькаго какой-то особый даръ находить «общее слово времени», которое всегда просто, какъ постановъ Колумбова яйца на острый конецъ, и которое—какъ счастливая формула вѣка—само вырывается изъ вѣщей души нашего поэта-публициста; вѣдь онъ—какъ и Шиллеръ—поэтъ больше всего, когда онъ публицистъ, и публицистъ—больше всего, когда онъ поэтъ. Самымъ счастливымъ сочетаніемъ этихъ общихъ словъ времени остается, конечно, «На днѣ» — произведеніе, въ этомъ смыслѣ, почти одинокое и въ европейской литературѣ, а Россіи сказавшее такъ глубоко и много, потрясшее ее такими острыми и напряженными впечатлѣніями, что Горькій сразу сталъ самымъ отвѣтственнымъ именемъ въ жизни новаго русскаго общества, «молодой Россіи», и оно, слышавшее изъ устъ его «а», съ восторгомъ къ нему и съ трепетомъ за него ждетъ теперь, какое онъ скажетъ «б»... Никого изъ своихъ вождей молодое русское общество не

---

<sup>1)</sup> О шиллеровскомъ элементѣ въ творествѣ Максима Горькаго смотри въ моемъ „Литературномъ альбомѣ“. Теперь это—мысль, если не ходячая, то часто повторяемая. Но я смѣю, въ данномъ случаѣ, настаивать, что первый заговорилъ о томъ, и не боюсь возможности, что ктонибудь обзоветъ меня за это „я первый“ Петромъ Ивановичемъ Бобчинскимъ... Въ Россіи меня за параллель Горькаго и Шиллера много упрекали, а нѣмцы, наоборотъ, меня поддержали.

1906. Ал. Амф.

Соч. А. Амфитеатрова.

любить такъ горячо, какъ Горькаго, ни отъ кого не ждетъ такъ много, ни за кого не боится болѣе ревниво. Отношеніе къ нему очень похоже на чувства тронутыхъ сомнѣніемъ, но вѣрующихъ и жаждущихъ вѣры язычниковъ предъ любимымъ оракуломъ. Такъ хочется, чтобы кумиръ явилъ предъ очами всѣхъ свою исконную, испытанную силу, и такъ страшно: а вдругъ—не выйдетъ чудо? а вдругъ онъ—обожаемый, страстно поклоняемый—утратилъ свою благодать? Нѣтъ, нѣтъ,—шепчуть набожныя уста,—лучше уже не испытывать... Подождемъ! Когда онъ захочетъ, то явить себя самъ во всемъ блескѣ и могуществѣ своей величавой природы!.. Горькій—не только высокоталантливый, онъ и необычайно умный человекъ, одаренный рѣдкою силою самопознанія и самоотчета. Чувство отвѣтственности, созданной для него величіемъ и сложностью всеобщихъ новыхъ ожиданій,—глубоко обязательное чувство,—должно быть понятно ему съ ясною подробностью. И не диво, если лицомъ къ лицу съ мыслью объ этой отвѣтственности и съ запросами новаго учительства въ новомъ творествѣ мощный художникъ переживаетъ жуткія, тягостныя минуты, переоцѣнивая цѣнности и взвѣшивая силы своего тайнаго «я».

«И Слабостью рожденныя три птицы—Уныніе, Отчаянье, Тоска,—три черныя уродливыя птицы—зловѣще рѣютъ надъ его душою и всѣ поютъ ему угрюмо пѣсню о томъ, что онъ—ничтожная букашка, что ограничено его сознанье, безсильна мысль, смѣшна святая гордость и—что бы онъ ни дѣлалъ—онъ умретъ.

Дрожить его истерзанное сердце подъ эту пѣсню, и лживую, и злоую, сомнѣній иглы колютъ мозгъ его, и на глазахъ блеститъ слеза обиды»...

Такъ выражены эти моменты въ «Человѣкѣ». Но въ душѣ пѣвца «безумства храбрыхъ»,—колокола, зовущаго живыхъ жить,—они, конечно, могутъ быть только моментами—и скоро преходящими, какъ тучки, набѣгающія на

дорогу жизнерадостныхъ солнечныхъ лучей. Этотъ бодрый, насквозь пропитанный увѣренностью въ правотѣ своей, убожденный и прямолинейный талантъ-боецъ носить внутри себя великое самоутѣшеніе, не нуждающееся въ помощи утѣшеніями извнѣ. Какъ въ зеркало идеала, всматривается онъ, любопытный изслѣдователь, въ своего «трагически-прекраснаго Человѣка», и священное зрѣлище это—его нравственное воскресеніе.

«Человѣкъ! Точно солнце рождается въ груди моей, и въ яркомъ свѣтѣ его необъятный, какъ міръ, медленно шествуетъ — вперед! и—выше! трагически-прекрасный Человѣкъ!»

Всѣ искушенія Мысли, встрѣчаемыя Человѣкомъ на пути его, Лонгфелло—до Горькаго и очень сходно съ нимъ—выразилъ въ прелестной балладѣ своей «Excelsior», то есть именно—впередъ и выше! Пьеса Лонгфелло цѣльнѣе, въ изящной краткости своей, проще и стройнѣе, чѣмъ поэма Горькаго, но въ ней нѣтъ тѣхъ демоническихъ частностей, той сильной мѣткости отдѣльныхъ афоризмовъ, которые въ «Человѣкъ» блестятъ, какъ молніи, и врѣзаются въ память огненными буквами, какъ «пословицы будущаго». Какое сильное слово, на примѣръ, сказалъ Горькій о Мысли—«величавой силѣ, которая въ моменты утомленья творить боговъ, въ эпохи бодрости—ихъ низвергаетъ». Грозные образы свои онъ будто куетъ молотомъ изъ раскаленнаго желѣза. Какая смѣлость слова этотъ «пепель старыхъ правдъ», какъ опредѣляетъ онъ предрасудочныя заблужденія! Или: «Въ груди его ревутъ инстинкты»... Только поэтъ Божіей милостью, простодушный, не замѣчающій своихъ словъ ради своей мысли, могъ дерзнуть на это почти грубое «ревутъ»: у другого оно вышло бы нелѣпо и смѣшно, а вѣдь у Горькаго—какъ кстати-то!

«Впередъ! и выше! по пути къ побѣдамъ надъ всѣми тайнами земли и неба!» зоветъ Человѣкъ Горькаго, взлетая въ высь, весь въ солнечномъ пламени, какъ сверкающій

Фаэтонъ. Впередъ и выше! «Для мысли нѣтъ твердынь несокрушимыхъ и нѣтъ святынь незыблемыхъ ни на землѣ, ни въ небѣ! Все создается ею, и это ей даетъ святое неотъемлемое право разрушить все, что можетъ помѣшать свободѣ ея роста». Въ этомъ зовѣ слышатся знакомые, пронзительные звуки: гордые слова промчались въ воздухѣ вихремъ и стономъ, какъ «буревѣстникъ, черной молніи подобный»... «Прыгай съ крыши, если можешь!» учить одинъ любимый поэтъ русской жизни (Чеховъ), захвативъ этотъ призывъ у Ницше, а другой (Горькій) воспѣлъ смѣлаго сокола, который ринулся въ бездну, лишь бы не ползать по камнямъ, подобно ужу, но умереть въ вольномъ полетѣ. Вѣкъ нашъ полонъ хвалою «безумству храбрыхъ», и имъ же охваченъ и гордо весь пылаетъ трагически-прекрасный «Человѣкъ»:

— Иду, чтобы сгорѣть, какъ можно ярче, и глубже освѣтить тьму жизни. И гибель для меня—моя награда!

— Я сознаю, что побѣждаютъ не тѣ, которые берутъ плоды побѣды, а только тѣ, что остаются на полѣ битвы...

Вы слышите, что все это знакомо, что все говорено уже самимъ Максимомъ Горькимъ — отъ лица Сатина, Ѳомы Гордѣева, сокола, буревѣстника, Нила и др. Но иначе и быть не можетъ, потому что страшной ширины тема его обнимаетъ въ себѣ и Сатина, и Нила, и Ѳому, и людей-соколовъ, и людей-буревѣстниковъ, всѣхъ людей острой мысли и страстнаго, повелительнаго желанія. Герой Горькаго—огромный собирательный идеаль-колоссъ, тотъ самый, за котораго поднималъ свой пивной стаканъ въ костылевской ночлежкѣ Константинъ Сатинъ,—и училъ самоуваженію жалкихъ, потерянныхъ людей дна, и чокался съ бѣднымъ, обдерганнымъ, безхарактернымъ барономъ: человѣкъ, въ которомъ, просвѣтляясь, должны объединиться—«ты, я, Магометъ, Наполеонъ»: великая обобщающая фигура, очерченная пальцемъ въ воздухѣ, ищущая Мыслью воплощенія въ реальность...

— Непримирымый врагъ позорной нищеты людскихъ желаній, хочу, чтобъ каждый изъ людей былъ Человѣкомъ!

А выше мы видѣли—желаніе расширяется: чтобы самъ Человѣкъ сталъ подобенъ богамъ, творимымъ его Мыслью... *Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum!* училъ въ раю Адама и Еву тотъ мудреный змій, котораго въ послѣдствіи гности-ческая секта офитовъ почитала, какъ первое воплощеніе верховнаго Добра на землѣ—высшаго абсолютнаго Добра, возставшаго на Деміурга—добро условное и низменное—мятежомъ правды, за благополучіе рода человѣческаго. *Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum!*—написалъ Мефистофель въ хламидѣ Фауста въ альбомѣ ученику-поклоннику. «Міру нуженъ человѣкобогъ!» зывалъ Кирилловъ въ «Бѣсахъ»,—человѣкобогъ, всевластный, всезнающій, всеосмыслившій! *Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum!*—такова заключительная мысль и Максима Горькаго. Поколѣнія титановъ консервативны въ старомъ своемъ завѣтѣ, и идея, провозглашенная сотни вѣковъ тому назадъ на берегахъ Евфрата, все такъ же страстно и заманчиво звучитъ теперь надъ Волгою и Невою.

Отказъ отъ рая ради знанія—эта первая переоцѣнка земныхъ цѣнностей—катится черезъ тысячелѣтія сочувственнымъ эхомъ: восемнадцатый вѣкъ умиралъ подъ гимны богинѣ Разума, двадцатый вѣкъ, въ колыбели, слышитъ гимнъ, какъ верховному двигателю и рѣшателю жизни своей, — человѣческой мысли: мысли—творящей и творимой, создающей человѣка, создаваемой человѣкомъ и, чрезъ человѣка, создающей міръ. Человѣкъ становится началомъ и концомъ своего самодовлѣющаго бытія: въ немъ самомъ—смыслъ его жизни, ея законъ, ея правда. Человѣкъ — альфа, человѣкъ — омега: «человѣкъ — вотъ правда!»... «все въ человѣкѣ, все—для человѣка!».

Повторяю, что недостатки поэмы Горькаго, какъ произведенія литературнаго, очень значительны, и то хорошее, что есть въ ней, бросается въ глаза не сразу, но—

загорожено, и надо его искать. Зато поиски вознаграждаются съ избыткомъ. Не знаю я большаго наслажденія, какъ созерцать огромное чувство, излившееся сильнымъ словомъ въ твердую, прочно поставленную мысль. Поэтому-то я и люблю такъ Максима Горькаго. Нѣтъ у насъ въ этомъ дарѣ соперниковъ ему, съ его — говоря Горькаго же словами — «трагически-прекраснымъ» темпераментомъ, которымъ покоряетъ онъ очарованіямъ своего мышленія даже умы, ему враждебные. Умѣетъ этотъ человѣкъ чувствовать, умѣетъ продумать свое чувство, умѣетъ звонко и ярко грянуть имъ въ общество. Каждая вещь Максима Горькаго—это та бомба, о которой сложилъ стихи Алексѣй Толстой, какъ ударила она съ налету въ мирно дремавшій колоколь—сама разлетѣлась въ осколки, но колоколь зато задрожалъ, заревѣлъ и зазвонилъ самъ собою, оглашая народъ, «гудя и на бой призывая». Многое изъ Горькаго отошло уже въ прошлое, забылось, рассыпалось, какъ черепки той старой бомбы, но среда, куда рухнули сотни тысячъ томовъ Горькаго, гудитъ ихъ отголосками, полна ихъ настроеніями, любовно твердитъ горьковскую «религію человѣка» — затвердить, теперь, разумѣется, и новую, столь легкую и полную формулу ея:

— Все въ человѣкѣ, все для человѣка!

Іюнь. 1904.

## II.

### „Мѣщане“ въ Палермо.

Palermo, 23 сентября (6 октября) 1904 г.

Вчера былъ интересный, хотя и не безъ курьезовъ, вечеръ: въ театрѣ Беллини шли «Мѣщане» Максима Горькаго. Играли, въ своемъ родѣ, очень хорошо, а то, что не выходило, едва ли и могло выйти: зависѣло не

отъ актеровъ, а просто отъ органическаго непониманія живыми южными умами сѣверной славянской психологіи со всѣмъ свойственнымъ ей кисляйствомъ. Видно было, что актеры очень заинтересованы пьесою и старались преподнести ее публикѣ какъ можно внушительнѣе и отчетливѣе. Достаточно сказать, что играли безъ суфлера. Не знаю, кто переводчикъ, но итальянскій текстъ «Мѣщанъ» звучитъ хорошо и передаетъ оригиналь близко, вѣрно и остроумно. Пьеса, по итальянскому обыкновению, идетъ не совсѣмъ въ томъ видѣ, какъ напечатана: сдѣлано много вымарокъ и перемѣщено нѣсколько сценъ для того, чтобы выдвинуть впередъ, какъ базисъ всей комедіи, резонерскую роль Тетерева. Игралъ Тетерева извѣстный актеръ Альфредо де-Санктисъ, весьма любимый сициліанцами. Де-Санктисъ въ Тетеревѣ очень правится палермитанской публикѣ, хотя, надо сказать правду, Москву и Петербургъ онъ повергъ бы въ полное недоумѣніе: до такой степени своеобразно и далеко отъ русскаго образца велъ онъ роль. О «басахъ» церковныхъ хоровъ здѣсь не имѣютъ понятія, поэтому Тетерева превратился въ одну изъ тѣхъ «духовныхъ» личностей неизвѣстнаго званія и профессіи, которыя проживаютъ десятками при старыхъ итальянскихъ соборахъ, питаются доходами отъ туристовъ. Таковъ былъ гримъ, таковъ былъ костюмъ «наслѣдственнаго алкоголика и кавалера зеленого змія». Говорилъ Тетерева язвительнымъ, козлинымъ теноромъ Мефистофеля, нарядившагося въ мантию Фауста, чтобы морочить довѣрчивыхъ студентовъ. Ко многимъ проницательнымъ афоризмамъ Горькаго тонъ этотъ шелъ какъ нельзя лучше, но, такъ какъ ироническихъ афоризмовъ въ роли Тетерева насыпаны цѣлыя кучи, то, въ концѣ концовъ, оно стало однообразно и надоѣло. Притомъ Де-Санктисъ рѣшилъ, что Мефистофель въ Тетеревѣ Мефистофелемъ, а комикъ комикомъ, и старался смѣшить публику всюду, гдѣ положеніе позволяло дать хоть какой нибудь фарсовый

эффектъ. Поэтому, пьяный, онъ былъ ужасенъ: икалъ на каждомъ словѣ, смѣялся какимъ-то дикимъ визгомъ, ловилъ руками правую ногу, чтобы перекинуть ее черезъ лѣвую... чортъ знаетъ, чего только не придумалъ несомнѣнно талантливый человѣкъ, чтобы испортить роль и, главное, вѣдь все въ высшей степени виртуозно и все—отъ добраго старанья и по чистой артистической совѣсти, въ стремленьи «создать типъ»! И, за всѣми такими нелѣпостями, все же было много любопытнаго, такъ что русская спутница моя, хорошо изучившая постановку «Мѣщанъ» московскимъ художественнымъ театромъ, нашла, что итальянская постановка болѣе передаетъ основной тонъ и истинный замыселъ условной и приподнятой пьесы Горькаго, чѣмъ наши русскія сценическія приспособленія, по традиціи отъ москвичей. Реалистическая тенденція московскаго театра, въ весьма значительной степени, опростила, украсила и облагородила пьесу, сняла съ нея мелодраматическій налетъ, смягчила и отвела на задній планъ резонерскія учительныя длинноты. «Мѣщане» отъ всѣхъ этихъ заботъ выиграли, какъ типическая картина жизни, но проиграли, какъ дидактическая проповѣдь, на которую рассчитывалъ авторъ. У итальянцевъ все вышло какъ разъ наоборотъ: они подчеркнули все въ текстѣ, что теоретически подчеркиваетъ самъ Горькій, и словами совершенно загородили быть. Пьеса окончательно потерялась, переродившись въ передовую статью, въ лекцію, но каеэдра получилась громкая и огромная, хотя и нельзя сказать, чтобы убѣдительная и властно покоряющая умы. Много сильныхъ словъ, но мысли легки, содержаніе жидковато. Изъ всѣхъ произведеній Максима Горькаго,—моимъ читателямъ извѣстно, какъ высоко я ставлю и какъ много я люблю этого вдохновеннаго человѣка!—единственно къ «Мѣщанамъ»—я всегда оставался глубоко равнодушенъ. C'est une oeuvre manquée. Горькому нужно было пройти дра-

матическій искусь, написавъ для театра вещь скучную, тяжелую дѣйствию, мало оригинальную, чтобы, научившись недостатками своего перваго письма, явиться потомъ громаднымъ и почти безукоризненнымъ поэтомъ-публицистомъ сцены, творцомъ несравненнаго «На днѣ». Въ «Мѣщанахъ» все нескладно и тягуче, все полно утомительнымъ умничаньемъ богато одареннаго самоучки, который, открывая отсебятиною Америку за Америкою, съ наивнымъ великодушьемъ дарить ихъ публикѣ, воображая, что и для всѣхъ онѣ—Новый Свѣтъ. Когда вы вдоволь налюбуетесь стихійною силою таланта, который самъ собою доходитъ до великихъ истинъ, вами усвоенныхъ, по традиціи образованія, — а, чтобы налюбоваться, времени надо очень мало!—то становится сперва скучно, потомъ зѣвотно, наконецъ, досадно: охота же парню съ такою огромною головою тратить жизнь, ломаясь въ открытыя двери и повторяя во всеуслышаніе старыя, избитыя зады, о нихъ же никто изъ здравомыслящихъ культурныхъ людей и спора уже не подъемлетъ! Въ «Мѣщанахъ» Максимъ Горькій рубить мечемъ по Гордіевымъ узламъ жизни совсѣмъ какъ Александръ Великій—только по узламъ-то все развязаннымъ. Созданные упорно оригинальнымъ процессомъ труда, «Мѣщане», однако, оказались совсѣмъ неоригинальны, какъ художественный результатъ. Родовыя понятія мѣщанъ и мѣщанства нашли, уже сорокъ лѣтъ назадъ, въ литературѣ русской замѣчательно яркое и полное воплощеніе въ «Молотовѣ» и «Мѣщанскомъ Счастьѣ» Помяловскаго, и пьеса Максима Горькаго не стала выше уровня этихъ произведеній, — особенно перваго романа. Типы «Мѣщанъ» и героевъ Помяловскаго пограничны до такой степени, что даже пресловутый Тетеревъ—не болѣе, какъ перепѣвъ Михайла Михайловича Череванина, пьянствующаго художника изъ «кутейниковъ», съ философией «темнаго кладбищенства», красноносаго Мефистофеля, самооплевателя и страдальца подъ циническою маскою. Отно-

шенія Тетерева къ Полѣ (къ слову сказать, подчеркиваемая итальянскою постановкою гораздо рѣзче, чѣмъ русскою) въ «Мѣщанахъ» совершенно подобны отношеніямъ Череванина къ Надѣ въ «Молотовѣ». Оба—аналогичные афористы и декламаторы. Тетеревъ рѣзче и эффектнѣе, пожалуй, а Череванинъ умнѣе, острѣе, богаче чувствомъ и, въ качествѣ питомца семинарской логики, искуснѣе фехтуетъ силлогизмами. Вообще Тетеревъ — не только изъ «типовъ Помяловскаго», но, если бы Помяловскій остался жить дальше, то мы уже имѣли бы Тетерева, имъ написаннаго и возведеннаго въ перлъ созданія, такъ какъ подобный Тетеревъ уже намѣченъ былъ Помяловскимъ къ исполненію въ романѣ «Братъ и сестра» въ лицѣ того пѣвчаго, — какъ пѣвчій и Тетеревъ Горькаго, — что «пилъ на четыре желудка»... Да и самъ-то Помяловскій лично былъ вмѣстѣ — и пѣвчій этотъ, и Череванинъ, и Тетеревъ!

Созданныя книжно и схематически, самовнушенные по ходовымъ теоріямъ десятилѣтія, а не художественно-наблюденныя, положительныя фігуры «Мѣщанъ», — новые люди, творцы будущаго, — «сильный» Ниль съ компаніей, — не понравились въ Россіи, какъ «нищепанскіе» продукты слишкомъ сухой, головной прямолинейности. Узость и грубость Нила самъ Горькій, кажется, сознавалъ, противопоставляя ему хотя слабый, но все же не лишенный сердечности и пьяной поэзіи, протестъ Тетерева: «Прощай, разбойникъ!» и т. д. Когда на сценѣ театра Беллини показался Ниль, я испугался было, не поняли ли итальянцы «разбойника» буквально: такимъ атаманомъ и чортомъ изъ оврага, такимъ Стенькою Разиннымъ они его одѣли. А роль страшно вымарали, хотя актеръ ее игралъ недурной, энергичный, съ темпераментомъ. Почему же? Да, просто потому, что ужъ слишкомъ много общихъ мѣстъ и великихъ истинъ изъ соціальной азбуки изрекаетъ этотъ Ниль: наивно оно, отстало отъ времени и не нужно здѣсь. Что въ Россіи, — гдѣ рабочій

вопросъ еще едва проснулся,—звучить со сцены полу-новостью, то въ Европѣ заставляетъ звать, какъ цитата изъ прописи, какъ заѣзженная банальность, какъ сказка про бѣлаго бычка, какъ попытка къ доказательству аксіомы. Петръ, Татьяна были бы совсѣмъ хороши даже и на русской сценѣ, но, конечно, д'аннунціевской капризной разслабленности оказалось въ нихъ больше, чѣмъ роковой сѣверной болѣзни лишнихъ людей самими собою и той *l'improductivité slave*, за которую нѣкогда съ такою печалью заклеимилъ нашу расу Генрикъ Сенкевичъ. Сильно и съ чувствомъ вель роль старикъ Безсѣменовъ—лицо, если снять нѣкоторыя бытовые черты, хорошо понятное европейскому буржуа и легко поддающееся международной передачѣ. Но одѣли и его курьезно—въ бархатный пиджакъ, какъ наносятъ у насъ въ домашнемъ обиходѣ только художники доброй старой школы,—и огромный мягкій воротникъ бѣлой сорочки, вырѣзанной и разстегнутой à la Byron, съ напускомъ на плечи. Очень хорошенькая Поля щеголяла въ фантастическомъ костюмѣ, который, надо думать, рекомендовалось принимать за мало-россійскій: сверхъ ситцевой юбки и кисейной рубахи красовалась кумачная безрукавка, а на головѣ—надъ модной прической, съ зачесомъ чуба на лобъ—торчалъ непостижимый уму человѣческому уборъ... кокошникъ, что ли? Точно такъ же была одѣта кухарка, но, для обозначенія ея низкаго званія и комизма ради, ей выпачкали лицо сажею. Самый живой восторгъ среди насъ, русскихъ зрителей, вызвало ея появленіе съ самоваромъ. Могучую фантазію долженъ имѣть бутафоръ, чтобы вдохновенно соорудить столь загадочное и неуклюжее чудище! Представьте себѣ высочайшую жарсвню; на ней учрежденъ мѣдный цилиндръ, а на цилиндрѣ припаяна такая же мѣдная труба,—все, по совокупности, вышиною аршина въ два! Таковъ, по догадкѣ палермитанскихъ Станиславскихъ, долженъ быть таинственный предметъ, знамени-

тый во вселенной подъ именемъ русскаго самовара! Было очень величественно, когда этакого желтаго сатану взгро-моздили на столъ, торжественно поднимая «за бочка», ибо ручекъ самовару не полагалось, равно какъ и крана. Какимъ чудомъ кухарка, Петръ и Тетеревъ не обожгли себѣ ладоней—это бутафорская тайна. Вообще,—зачѣмъ самоваръ подается на столъ,—повидимому, принято палермитанскою труппою, какъ темный пунктъ пьесы, не поддающійся разъясненію: кипятку изъ этой машины добыть было невозможно по ея безкранію. Поэтому, старуха Безсѣменова, беспомощно оглядѣвъ грандіозное сооруже-ніе, роздала всѣмъ дѣйствующимъ лицамъ по куску са-хару, что тѣ приняли съ признательностью и съ удоволь-ствіемъ сгрызли. Подали обѣдъ Нилу. Тотъ, едва присѣлъ къ столу, сразу показалъ, что онъ малый серьезный: взялъ суповую миску обѣми руками за ушки, да такъ ее прямо до дна и очистилъ себѣ въ пасть!—«по со-бачьи!»—въ ужасѣ сказала бы старуха Безсѣменова, если бы когда либо какой либо русскій Ниль вздумалъ такъ неподобно лакать свое хлебово. Много было курье-зовъ: и лаковые ботфорты доктора изъ французской мело-драмы; и Мадонна въ углу, обвитая неаполитанскимъ шарфомъ; и, наконецъ, самая квартира Безсѣменовыхъ—огромная изба, обшитая тесомъ, но даже не мужицкая изба, а изба-павильонъ, какіе мы показываемъ Европѣ на выставкахъ, въ качествѣ кіосковъ для продажи полоте-нецъ съ пѣтушками. Конечно,—безъ потолка, прямо подъ досчатую крышу, съ конькомъ, такъ что,—гдѣ тамъ на-верху, за крышею, на какомъ тычкѣ можетъ жить вдова Кривцова—это оставалось новою загадкою, столько же, какъ мрачныя слова Тетерева о потолкѣ, который будто бы давить семью Безсѣменовыхъ,—анъ, именно потолка-то въ домѣ и не обрѣталось!

И, все-таки,—последнее десятилѣтіе внесло на евро-пейскую сцену изрядный прогрессъ въ дѣлѣ «русскихъ по-

становокъ». Когда въ 1892 году я видѣлъ впервые въ Римѣ «Власть тьмы», дѣйствіе происходило въ мрачной готической комнатѣ съ алхимическою печью, какъ въ кабинетѣ Фауста, и Никита былъ заgrimированъ Петромъ Великимъ. Самоваръ же былъ хотя настоящій, но—тульская игрушка, дѣтскій, до того миниатюрныхъ размѣровъ, что даже итальянская публика не повѣрила въ серьезность подобной машинки и, всѣмъ заломъ, дружно расхохоталась. Теперь уже замѣтны стремленія, хотя еще наивно неумѣлыя и невѣжественныя, найти и провести какойнибудь намекъ на *couleur locale*: хоть щегольнуть *à la russe* деревянною рѣзбою и полотенцами съ пѣтушками. Когданибудь, на свободѣ, я специально соберу курьезы, какъ воображаетъ и передаетъ бытъ русскихъ европейская сцена. Богатый матеріалъ въ этомъ отношеніи даетъ довольно модная теперь опера Джіордано—«Федора», на сюжетъ извѣстной мелодрамы Сарду, для нашихъ сценъ запрещенной по цензурнымъ соображеніямъ. Тамъ первый теноръ (нигилистъ) носить крещеное имя Лорисъ, по фамиліи Ипановъ, а врагъ его и гонитель, начальникъ петербургской полиціи, называется Гречъ. Почему бы ужъ не Булгаривъ? Этотъ Гречъ поетъ басомъ. Необычайно внушительно зрѣлице, когда солидный мужчина въ формѣ русскаго участкаваго пристава (*couleur locale*!) приближается къ рампѣ и, ставъ въ оперную позитурю, испускаетъ вмѣсто—осади назадъ!—унылое *tremolo*...

— Спойте что-нибудь русское!—просятъ на аристократическомъ балу французскаго дипломата De Sirieux.

— Ахъ, съ удовольствіемъ! Я расскажу вамъ о русской женщинѣ!.. И дипломатъ, тоже страшнымъ басищемъ, затягиваетъ «Соловья». Едва допѣлъ,—на сценѣ сенсация: прискакалъ изъ Петербурга курьеръ съ извѣстіемъ о событіи 1 марта. Всѣ въ ужасѣ, а оркестръ, чтобы изобразить всеобщее смятеніе, а быть можетъ—чтобы дать понятіе о быстротѣ русскихъ курьеровъ,—что есть мочи, бурно и

дикое гремит камаринскую. Слушая впервые «Федору» въ Туринѣ, я хохоталъ до слезъ, къ величайшему негодованію своихъ сосѣдей; ихъ чувствительный сюжетъ и еще чувствительнѣйшія мелодіи весьма трогали. Россія на итальянской сценѣ вообще, на оперной въ особенности, — самое сюрпризное, курьезное, сверхестественное зрѣлище, какое только можетъ зародиться въ человѣческомъ воображеніи. Оно въ состояніи размѣшить самого унылаго Гераклита, хотя — и наоборотъ: пылкій «патріотъ своего отечества», будь онъ даже смѣшливъ, какъ Демокритъ, долженъ придти отъ этихъ невольныхъ и наивныхъ каррикатуръ въ полное уныніе. А отъ медленности, съ какою онъ разрушаются, уступая мѣсто болѣе основательнымъ понятіямъ о нашемъ отечествѣ, можно приуныть вдвое.

Слушали пьесу Максима Горькаго палермитанцы съ глубокимъ, почтительнымъ вниманіемъ, какъ у насъ публика умѣетъ вести себя едва ли не исключительно въ художественномъ театрѣ. Ни кашлей, ни скупливаго шарканья ногами, ни неумѣстныхъ смѣховъ. Апплодисменты умные, во время, кстати. Каждый, преподносимый авторомъ и Тетеревомъ афоризмъ попадаетъ въ цѣль, приѣмлется и смакуется съ образцовымъ пониманіемъ. Съ такою публикою не только пріятно, но даже лестно имѣть дѣло! И таковы вообще въ театрахъ своихъ сициліанцы. Потомки двухъ серьезныхъ, важныхъ расъ — арабовъ и норманновъ — они умѣютъ съ уваженіемъ относиться къ чужой мысли и къ чужому труду. «Театришко», какими кишитъ современная Италія, здѣсь немыслимъ: нуженъ театръ. Сициліанецъ платитъ за свои зрѣлища дороже, чѣмъ итальянецъ на континентѣ, но зато и требуетъ отъ исполненія многого — требуетъ сурово и придирчиво. На-дняхъ, при мнѣ, публика единодушно, всѣмъ театромъ, освистала въ «Кармень» нѣкую Ди Грассе, которую въ Италіи чуть не носили на рукахъ, и, во всякомъ случаѣ, пѣвицу не плохую, съ именемъ, съ голосомъ и школою, артистку съ наружностью и хорошо усвоенною,

приличною рутиною игры, во вкусѣ блаженной памяти Ферни Джермано. Къ намъ въ Петербургъ такія ѣздятъ за очень хорошіе гонорары, хотя не въ дивы, но на отвѣтственное и почетное положеніе въ репертуарѣ. Если говорить откровеннымъ сравненіемъ, то и въ «Кармень» она врядь ли многимъ уступала, напримѣръ, нашимъ Сюннербергъ, М. Фигнеръ и даже Славиной. А Сицилія свистеть!.. Что городъ, то норовъ! Но— правда, зато, когда Сицилія чему нибудь рукоплещеть, это дѣйствительно что либо очень хорошее. Въ той же «Кармень» какъ принимали тенора и Микаэлу за мастерски спѣтые романсы! У насъ только Шалапинъ и Собиновъ слышать подобные громы и плески... А на остальномъ протяженіи оперы тѣхъ же самыхъ артистовъ будто и не было на сценѣ: ихъ не замѣчали. Не легко и жутко, должно быть, дебютировать здѣсь артисту, и то-то трясутся поджилки у новичковъ, идущихъ на этотъ грозный судъ!..

### III.

#### „На днѣ“ въ Римѣ.

Roma. 8 (21) октября.

Приходится въ Италіи неожиданно много заниматься Максимомъ Горькимъ. Ужъ очень онъ здѣсь популяренъ, очень имъ интересуются, очень его любятъ. Въ Палермо я только что видѣлъ «Мѣщанъ», въ Римѣ, въ великолѣпномъ театрѣ Costanzi, идетъ иво дня въ день «На днѣ»—L'Albergo dei poveri—L'Asilo Notturmo—in bassi fondie: цѣлыхъ три названія, придуманныхъ переводчикомъ, г. Чезаре Кастелли! Я имѣлъ удовольствіе, — впрочемъ, вѣрнѣе будетъ сказать: большое неудовольствіе—присутствовать при этомъ плачевномъ зрѣлищѣ. Къ первому спектаклю я опоздалъ въ Римъ и очень радъ тому,

такъ какъ восторженныя статьи разнообразнѣйшихъ римскихъ газетъ были гораздо интереснѣе, чѣмъ представленіе, котораго я вчера былъ свидѣтелемъ, и гораздо ярче рисовали способъ и степень пониманія идей Горькаго итальянскою публикою. Было много такихъ неожиданностей, что хотъ руками развести. Въ особенности курьезны были отзывы ватиканскихъ органовъ (*L'Osservatore Romano*, *Popolo Romano*, *La Vega Roma*), восхитившихся пьесою... какъ «продуктомъ истинно-христіанскаго и благочестиваго міровоззрѣнія!»— съ громкими хвалами въ честь Луки и исполнителя его роли. Горькій и Калабреззи,—воскликали монашескія газеты,—создали типъ, приближающійся къ образу *St. Vincent de Paule*, поднимающійся къ предѣльнымъ высотамъ христіанства!.. Я читалъ и ровно ничего въ этомъ сюрпризѣ критическомъ не понималъ: откуда такой, съ Божьей помощью, оборотъ неожиданный? Но послѣ вчерашняго спектакля соглашаюсь безпрекословно: да, «На днѣ» въ итальянской постановкѣ приняло такой странный колоритъ, что утѣшать это поверхностное искаженіе глубочайшей пьесы можетъ, дѣйствительно, только католическихъ патеровъ, да еще развѣ тѣхъ русскихъ критиковъ, которые, въ свое время, увѣряли, будто дѣйствующія лица у Горькаго—черти, а не люди. При всей изобрѣтательности г. Каstellи на новые заголовки, онъ не истощилъ репертуара кличекъ, еще возможныхъ для итальянскаго «На днѣ» и даже гораздо болѣе выразительныхъ: напримѣръ, — «Миссіонеръ у людодѣдовъ», «Св. Францискъ, проповѣдующій жабамъ», и т. п. Какъ только вышелъ на сцену Лука (Калабреззи), толстый, съ лицомъ и бородою обитателя какой либо модной Чертозы, котораго, за отшельническую картинность, настоятель назначилъ показывать монастырь иностранцамъ,—такъ и запахло въ театрѣ елеемъ, ладаномъ и лицемѣриемъ черной сутаны или коричневой верблюжьей власяницы. Ходить Лука по сценѣ шагомъ торжествен-

нымъ, точно Бальтазаръ въ «Фавориткѣ» или жрецъ Рамфисъ въ «Аидѣ», и вѣщаетъ каждое слово свое, будто съ кафедры собора какого нибудь средневѣковаго, тѣмъ разслабленно-умилненнымъ, дрожащимъ, полнымъ тошнотворной аффектаціи, голосомъ, какимъ любимые въ большомъ свѣтѣ «блестящіе» католическіе проповѣдники имѣютъ моду и считаютъ традиціоннымъ долгомъ произносить чувствительныя и ударныя мѣста своихъ проповѣдей. Неудивительно, что ватиканская критика влюбилась въ такого Луку! Отъ подобнаго старца не диво было бы услышать не только, что «и ложь во спасеніе», но и пресловутый девизъ учениковъ Лойолы, что «цѣль оправдываетъ средства»... И такъ какъ Калабрезі — первый актеръ въ труппѣ Вирджиліо Талли (Compagna Talli-Grammatica-Calabresi), то пьеса приспособлена режиссеромъ главнымъ образомъ къ роли Луки, остальные «подыгрываютъ!» Можете теперь себѣ представить, много ли Горькаго остается въ «На днѣ», когда центромъ драмы утверждается Лука, возведенный въ положительный типъ и въ жертву ему приносится, какъ фигура второстепенная, даже Сатинь! Этому послѣднему и роль повымарали на добрую половину, и отдали его играть отвратительно бездарному и глупому актеру. На всемъ протяженіи пьесы онъ не обмолвился ни одною сколько нибудь толковою интонаціей и твердилъ великолѣпные сатинскіе афоризмы, какъ попугай, видимо, не понимая въ нихъ ни слова. Почему-то вообразилъ, будто у Сатина нервный тикъ, кривлялся, дергался и поминутно плевалъ на полъ и на собственные сапоги... отличные смазные сапоги! О, если бы такіе сапоги завелись у Константина Сатина! Какъ бы лихо онъ, Діогенъ російскій, и кутнулъ, и метнулъ за ихъ счетъ, спустивъ «сію ненужную посуду» въ тотъ же самый день Михайлѣ Иванову Костылеву приблизительно этакъ за десять процентовъ стоимости!.. Вообще, какъ ни напрягались итальянцы вообразить нищету и распущен-

ность русскихъ «бывшихъ людей», фантазіи имъ не хватило. Режиссеръ даже рѣшилъ, что можно въ ночлежкѣ держать на столѣ постоянную «дежурную бутылку» съ водкою, и ея никто не тронетъ, кромѣ законнаго владѣльца... У «Парижскихъ нищихъ» оно, можетъ быть, бываетъ, но въ костылевскомъ подвалѣ уже одинъ Актеръ всю бы драгоценную влагу эту немедленно высосалъ. Безсапожными изобразить «босяковъ» актеры тоже не рѣшились—величественное понятіе «опорокъ», очевидно, свойственно только сѣверному, нашему русскому пролетариату; здѣшнему же, какъ ни жутко живется, а все-таки и въ самыя скверныя для себя минуты онъ больше близокъ къ Клецу, чѣмъ къ Барону и Сатину. Клеца игралъ актеръ молодой, горячій—и, по своему, очень хорошо. Даль отличный типъ—не Клеца, разумѣется, но честнаго и почтавашаго кое-что миланскаго рабочаго новой формациі, которому страшно не везетъ, и, озлобленный, онъ завтра будетъ въ Sciorero generale. Вышло не то, что у Горькаго, но все же нѣчто живое, умное, всѣмъ понятное. Отлично вель роль свою,—въ патологической ея части,—Актеръ (директоръ группы—г. Талли). Объ остальныхъ мужчинахъ не стоитъ и рассказывать: такъ это было слабо, глупо, чуждо, неумѣло. Васька Пепель загримировался, конечно, Максимомъ Горькимъ. Баронъ—какимъ-то длинноволосымъ послушникомъ самаго сумасшедшаго вида. Въ первомъ актѣ, по желанію Васьки Пепла, онъ бѣгалъ на четверенькахъ и лаялъ собакою. Алешка, очевидно, поставилъ режиссера втупикъ: что за бѣсенокъ съ гармоникой? Пристрастіе русскаго мастерового къ гармоникѣ совершенно чуждо Италіи, хотя гармоника и слыветъ у насъ «тальянкою». Поэтому—думали, гадали и изобрѣли сдѣлать Алешку... уличнымъ музыкантомъ неаполитанскаго типа, какіе шляются по закоулкамъ пригородовъ подъ Везувіемъ, и встрѣтятся съ ними подъ вечеръ въ глухомъ мѣстѣ для женщины или человѣка слабосильнаго—не весьма

безопасно. О Бубновѣ даже и говорить не хочется: въ такое блѣдное и бессмысленное пятно расплылся этотъ русскій простонародный Мефистофель, современный Еремка, живой Анчутка Безпятый. И одѣли его чортъ знаетъ какъ: средневѣковымъ чучеломъ какимъ-то. Хотѣлось, какъ Несчастливцеву, спросить его:

— Да ты кто? Оруженосецъ, пажъ, менестрель?

Не похожъ ни на русскаго, ни на итальянскаго рабочаго, ни вообще на какое либо живое и работающее существо современнаго міра. И это было тѣмъ противнѣе, что въ итальянской постановкѣ «На днѣ», вопреки обыкновенію, на этотъ разъ довольно мало курьезовъ по части *couleur locale*. Смѣшно было только однажды, когда молящійся татаринъ принялся усердно креститься. А то все болѣе или менѣе терпимо. Много фантастики въ костюмахъ, но, на примѣръ, —декорація ночежки приблизительно та же, что и въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Кстати сказать: въ римской постановкѣ, «На днѣ» проходитъ сплошь при одной декораціи, къ «ночлежкѣ» приспособлень —и чрезвычайно неудачно—даже и третій актъ, хотя ему авторъ опредѣлилъ мѣстомъ дѣйствія дворъ и пустырь предъ символическою кирпичною стѣною...

Странное впечатлѣніе производили женщины трупы. Всѣ—красавицы, одна другой лучше. Настя—прямо боттичеллиевскимъ ангеломъ какимъ-то вышла. Анна лучше Наташи, Василиса лучше Анны, и—ко всѣмъ этимъ эстетическимъ сюрпризамъ—финаль: Квашня выбѣгаетъ на сцену препикантною и бойкою *ingénue comique*, отъ которой—вопреки извѣстному монологу ея—не только какойнибудь Сатинъ не откажется, но, что называется, «всякому лестно познакомиться». Загадочность подобнаго превращенія, вынужденной покупать себѣ мужчинъ, Квашни въ кокетливаго мотылька объясняется очень просто. По афишѣ, Квашня—«*la rivendugliola*»: рыночная торговка, по преимуществу старымъ платьемъ. Ну, режиссеръ и пустилъ

ее на сцену одною изъ тѣхъ хорошенькихъ и зубастыхъ «rivendugliola», сказать по-хохлацки, «перекупокъ», что украшаютъ собою по пятницамъ римскій базаръ старья на Campo dei fiori... Но ужъ какая же бессмыслица водворилась чрезъ то въ пьесѣ: курьезная роль городского Медвѣдева исчезла, словно вычеркнутая! Красоты на сценѣ много, а смысла не остается никакого. Одна Василиса,— собственно говоря, наименѣ яркая и наиболѣе «условная» изъ четырехъ женщинъ пьесы,—удается хоть скольконибудь исполнительницѣ, «прекрасной, какъ ангелъ небесный, какъ демонъ, коварной и злой». Настѣ и хотѣлось сдѣлать что-то изъ роли, и вела она послѣднія сцены свои сильно, съ темпераментомъ, но—рѣшено было заранѣе, что она—una vittima, «жертва», поэтическая и страдающая Фантина, что ли, изъ «Les Misérables», и взяла эта предвзятая страдальческая поэтичность злополучную красавицу златокудрую по рукамъ, по ногамъ, и Богъ знаетъ, какую нелѣпою и ненужною, неестественною фигуροю мыкалась она по сценѣ...

Не знаю, какъ принималъ залъ пьесу на первомъ спектаклѣ, но вчера настроеніе было холодное. Слушали «На днѣ» съ тѣмъ неизмѣннымъ почтительнымъ вниманіемъ, какимъ встрѣчаются въ Италіи всѣ слова Максима Горькаго, но замѣтно недоумѣвали и чувствовали, что на сценѣ происходитъ что-то не то, не горьковское. И traduttore оказался traditore, а актеры—вдвое. Бездарность исполнителей, неумѣнье и нежеланіе режиссера мыслить—околожили колоссальную пьесу Горькаго такую густою атмосферою невѣроятности и скуки, что ея красоты, какъ сквозь сѣрый туманъ, едва-едва по-временамъ проблескивали. Честь являться предъ европейскою публикою не часто выпадаетъ русскимъ авторамъ. Но вчера, смотря «На днѣ», я находилъ честь эту незавидною и неоднократно думалъ, что бѣдному Максиму Горькому она достается на сей разъ въ такихъ непріятныхъ формахъ, что, если бы онъ могъ видѣть

свое любимое дѣтище на подмосткахъ театра Констанци, то навѣрное бы отъ нея наотрѣзъ отказался. Искажено, вывернуто наизнанку, поставлено вверхъ ногами все, рѣшительно все: типы, лица, идеи, слова... И это называется знакомить публику съ Россією, съ русскою литературою— знакомить съ Горькимъ!

---

## Французская барышня.

---

Талантливый, хотя порою черезчур парадоксальный, литературный отшельник Реми де-Гурмонъ, равно известнѣй теперь какъ поэтъ, романистъ, философъ, а всего удачнѣе и глубже — какъ критикъ, посвятилъ одну изъ удачнѣйшихъ статей своего превосходнаго сборника «Le Chemin de Velours» изслѣдованію типа современной французской «барышни», то есть молодой дѣвушки въ образованныхъ и зажиточныхъ классахъ общества, созданныхъ и охраняемыхъ буржуазною культурою минувшаго вѣка. Фактическимъ источникомъ и фундаментомъ этому блестящему этюду, не лишенному недостатковъ слишкомъ широкаго сатирическаго обобщенія, но въ цѣломъ полному правды и тонкаго, инстинктивнаго чутья, послужилъ солидный томъ Оливье де-Тревия: «Наши дѣвушки въ собственныхъ признаніяхъ» (*Les Jeunes Filles peintes par elles-mêmes*). Пользуясь матеріаломъ двухъ тысячъ шести опросовъ Тревия, котораго онъ остроумно называетъ «Донъ-Жуаномъ анкеты», Реми де-Гурмонъ написалъ весьма неутѣшительную картину французскаго «женскаго нестроенія» въ томъ раннемъ и подготовительномъ, коренномъ фазисѣ его, что обусловлено вліяніями школы, домашняго воспитанія и литературы.

По вѣрному историческому наблюденію Реми де-Гурмона, французская «барышня» («la jeune fille» — въ ка-

вычкахъ)—типъ сравнительно недавній: ему едва минуло сто лѣтъ. До великой революціи «барышень» не было. Были дѣвчонки, отроковицы (*fillettes*), жившія на дѣтскомъ положеніи до наступленія половой зрѣлости. И были молодыя дамы, вышедшія замужъ четырнадцати, пятнадцати лѣтъ. Того промежуточнаго, внѣ-замужняго состоянія, которое выражаетъ собою слово «барышня», и которое часто тянется десять и болѣе лѣтъ,—состоянія, такъ сказать, «длящейся невѣсты»,—XVIII вѣкъ не зналъ. Конечно, и тогда не всѣ дѣвственницы рано находили жениховъ, и многія подолгу ожидали замужества. Но, по литературѣ и историческимъ памятникамъ стараго режима, очень замѣтно, что между такою, «засидѣвшеюся въ дѣвкахъ», особою лѣтъ 18 — 30 и молодою замужнею дамою въ до-революціонномъ обществѣ не было той глубокой разницы быта и нравовъ, какую выростилъ XIX вѣкъ. Лишенная по какой либо причинѣ брачныхъ узъ, взрослая дѣвушка пользовалась довольно широкою свободою внѣ ихъ, и «дѣвичьи грѣшки», въ эпоху регентства и Людовика XV, не возбуждали ни общественнаго изумленія, ни, тѣмъ болѣе, негодованія. Донъ-Жуанъ XVIII вѣка—побѣдитель, по преимуществу, дѣвичьихъ сердець, соблазнитель и погубитель дѣвушекъ брачнаго возраста. Реми де-Гурмонъ справедливо замѣчаетъ, что въ нашъ вѣкъ пресловутый Казанова покорялъ бы только замужнихъ дамъ, ищущихъ приключеній адюльтера, развеселыхъ вдовиць, да продажныхъ женщинъ: современная французская барышня ограждена отъ подобныхъ господъ надежной стѣною личной и общественной морали. Сто лѣтъ назадъ было иначе. Въ дополненіе къ хвастливымъ анекдотамъ Казановы, *Restif de la Bretonne* оставилъ намъ характеристику той же легкой доступности для дѣвушекъ среднихъ классовъ общества, *Laclos*—для барышень придворной аристократіи. Паденіе дѣвушки разсматривалось XVIII вѣкомъ, какъ неизбѣжная уступка непобѣдимой

природѣ. Уклониться отъ рокового закона почитали возможнымъ лишь компромиссомъ ранняго брака, то есть— не давая женщинѣ времени быть «барышнею», переводя ее прямо отъ куколъ въ объятія законнаго супруга.

Въ психологіи раннихъ браковъ стараго режима явственно опредѣляются два рѣшающихъ мотива: со стороны родителей—желаніе поскорѣе отдѣлаться отъ обузы опекать добродѣтель дочери, со стороны жениховъ—желаніе обезпечить продленіе своего рода двумя, тремя первыми дѣтьми несомнѣнно законнаго происхожденія. Къ двадцати двумъ или тремъ годамъ роль замужней женщины, какъ производительницы рода, уже кончалась, и охладѣвшіе супруги начинали жить каждый своею личною жизнью. Женщинѣ XVIII вѣка не оставляли права выбирать мужа,— зато она впослѣдствіи выбирала себѣ любовника. На долю супружества доставалась пассивная чувственность только что не малолѣтней самки, на долю внѣбрачной связи—сознательная страсть созрѣвшей женщины, въ самомъ счастливомъ и разумномъ возрастѣ, когда прелесть красиваго чувства любви говорить въ человѣкѣ гораздо громче грубой половой потребности. Отсюда истекали единовременно и поразительная легкость нравовъ старинной французской семьи, и та изящная, то рыцарская, то пастушеская сантиментальность, въ которую эта легкость нравовъ облекалась.

За сто лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ тѣхъ временъ, не только бытовыя условія, но и самое чувство стыда у французской женщины измѣнило свой характеръ очень рѣзкою и глубокою эволюціей. Люди лѣтъ пятидесяти-шестидесяти помнятъ еще, изъ своихъ юношескихъ дней, величественныхъ старухъ, которыя родились въ двухъ послѣднихъ десятилѣтіяхъ XVIII в. или въ первомъ десятилѣтіи вѣка XIX и выходили замужъ по пятнадцатому, шестнадцатому году. Они вспоминали дѣтство, вспоминали впечатлѣнія супружества, но воспоминаній о дѣвической юно-

сти, воспоминаній «барышни», у нихъ не было. Не было у старухъ и того особаго спеціальнаго стыда, который характеризуетъ и наполняетъ переходный добрачный возрастъ современной женщины условною добродѣтелью житейскаго невѣдѣнія. Онѣ хорошо понимали стыдъ того или другого дѣтскаго порока, чутко воспринимали мотивы, вызывающіе стыдъ у замужней женщины, но тотъ стѣпой «стыдъ знать стыдное», что нынѣ почитается величайшимъ достоинствомъ хорошо воспитанной «барышни», оставался имъ чуждъ и незнакомъ: этимъ бабушкамъ казались смѣшными и жалкими кривляками двадцатилѣтнія внучки, цѣломудренно краснѣвшія отъ безцеремонныхъ анекдотовъ и откровенностей бераажеровскихъ старушекъ, съ ихъ допотопно наивною манерою называть всѣ вещи своими именами.

Итакъ, типъ «барышни», исторически — прежде всего, результатъ позднихъ браковъ, введенныхъ въ необходимость измѣнившимися экономическими условіями французскаго быта послѣ революціи. Его вызвала къ жизни ликвидація наслѣдственной дворянской собственности, упрочило и выростило торжество благопріобрѣтенныхъ буржуазныхъ капиталовъ. Нарожденіе типа можно опредѣлить хронологически съ большою точностью. Въ 1798 году Демутье издаетъ книгу для дѣвиць — «Письма къ Эмилиі о міеологіи», въ 1809 году выходятъ въ свѣтъ «Сказки для моей дочери» Буйльи. Между двумя этими произведеніями, обращенными, на разстояніи всего одиннадцати лѣтъ, къ одному и тому же возрасту — непроходимая нравственная пропасть. Демутье говоритъ еще съ молодою дѣвушкою стараго режима — юнымъ существомъ, предназначеннымъ волею всемогущей природы къ восторгамъ любви и жизнерадости. Книгу Демутье нельзя дать въ руки современной «барышнѣ»: ея лукавое, веселое, животное, почти языческое міросозерцаніе — школа сантиментальнаго сладострастія, — можетъ быть, пригодная, въ своемъ родѣ, для

женскаго поколѣнія, переходившаго непосредственно изъ дѣтской комнаты въ супружескую спальню, но совсѣмъ неудобная для поколѣнія, которому, въ ожиданіи брака, надо цѣломудренно заглушать въ себѣ голосъ инстинкта въ теченіе трехъ, пяти, семи, десяти и болѣе лѣтъ. Буйльи, Жанлисъ и прочіе авторы для юношества въ первую четверть XIX в. направляютъ всю свою дѣятельность, чтобы притупить инстинктъ въ его прямыхъ, натуральныхъ требованіяхъ, съ подмѣномъ ихъ идеалистическими суррогатами эфирной мечтательности, красивой сентиментальности, отвлеченныхъ порывовъ въ неизвѣстное, съ суровымъ противодѣйствіемъ имъ обновленными мотивами, заимствованными изъ прописей, забвенной было, аскетической морали: покорность Провидѣнію, скромность, послушаніе, чувство долга и пр. Такимъ образомъ, дата рожденія «барышни» падаетъ для Франціи, а слѣдовательно и для всѣхъ европейскихъ странъ, отражавшихъ ея культурную эволюцію, на первое десятилѣтіе XIX вѣка. У насъ, русскихъ, въ это время Наташѣ Ростовой было 7—9 лѣтъ, Татьяна Ларина только что родилась, будущія жены декабристовъ—«Русскія женщины»—едва умѣли лепетать и ходили пѣшкомъ подъ столъ, а Вѣра и княжна Мэри еще не начинались. Сопоставляя съ этими литературными образами первыхъ русскихъ «барышень» Софью изъ «Горе отъ ума», которая значительно старше ихъ всѣхъ, нельзя не убѣдиться и по роднымъ примѣрамъ, что хронологія Реми де-Гурмона построена остроумно и основательно: Татьяна, «Русскія женщины»,—это уже будущій XIX вѣкъ, воспитанницы Буйльи, тогда какъ «дочь! Софья Павловна, срамница!»\*)—вся еще въ прошломъ восемнадцатомъ,—ученица Демутье.

Во французскую жизнь и литературу «барышня» вошла, какъ вездѣсущій символъ показной цензуры нравовъ. Книга для барышень,—язвить Реми де-Гурмонъ,—важный пред-

---

\*) См. мою брошюру „Женщина въ общественныхъ движеніяхъ Россіи“, 1905, Женева.

меть торговли, ежегодно поощряемый къ производству Академіей и нѣкоторыми другими благотворительными обществами. Ради барышень переводятся безвкусно-добродѣтельные ханжескіе романы чопорныхъ англійскихъ лэди. Ради барышень классическая антологія противоестественно превращена въ руководство добрыхъ нравовъ. Ради барышень преслѣдовали судебнымъ порядкомъ автора «Мадамъ Бовари» (Г. Флобера), и услужливая критика замалчивала талантливыхъ беллетристовъ, не слишкомъ щепетильныхъ по части морали. Ради барышень не былъ допущенъ въ число «безсмертныхъ» академиковъ Эмиль Зола. Ради барышень правительственные театры изгнали со своихъ сценъ Шекспира. Ради барышень исторія сочинила изъ подлѣйшаго вѣка Людовика XIV героическую эпоху добродѣтели и рыцарскаго достоинства. Ради барышень — тысячи условныхъ лжей науки, искусства и литературы, въ которой умерла искренность слова такъ же, какъ въ жизни умерла откровенность темперамента, прямота чувства, ясный языкъ страстей.

Теченія реалистической литературы, начиная съ Теофиля Готье, Флобера въ романѣ, съ Бодлэра въ поэзіи, представляютъ собою какъ бы мужской бунтъ противъ тираннической опеки «барышни» надъ мыслью вѣка. До извѣстной степени, именно бунтомъ вызываются крайности натурализма, которая ввела въ моду французская беллетристика послѣ второй имперіи, усердствуя въ нихъ съ преувеличенною настойчивостью и часто, надо сказать правду, безъ особой въ томъ необходимости. Это крайности возстанія, крайности людей, мстительно разсвирѣпѣвшихъ на первопричины своего рабства. Реалисты, натуралисты сознательно и гнѣвно зачеркнули для себя семейную публику, гдѣ «барышня» — центръ, идолъ, конечная цѣль, термометръ и барометръ домашняго культа и строя. Они пишутъ только для мужчинъ и для тѣхъ, сравнительно очень немногихъ, французскихъ женщинъ, которыхъ идейная эмансипація вѣка успѣла поставить на точку мужского

миросозерцанія. Отсюда тѣ капризные бравады талантливаго Зола, едва ли не геніальнаго Гюи де Мопассана и др., что, при всемъ совершенствѣ ихъ творчества, все-таки, вотъ уже слишкомъ сорокъ лѣтъ, держатъ французскую «настоящую литературу» въ зыбкой пограничности съ литературою «непристойной». Вѣкъ идеалистическихъ лицемѣрій выработалъ предразсудокъ, что «знать все» — привилегія однихъ мужчинъ, и вотъ — литература, открывающая «все», тоже становится исключительно мужскимъ достояніемъ, запретнымъ въ силу обычая (по крайней мѣрѣ, официально!) для женскаго пола. Типъ «барышни» и брачныя метаморфозы, развивающіяся на подготовительной почвѣ этого типа, — злѣйшіе враги и тормозы прогресса французской литературы. Въ буржуазныхъ семьяхъ авторы дѣлятся на такихъ, чьи книги «можно забыть на столѣ въ гостиной» рядомъ съ цвѣтами, альбомами, бездѣлушками, и на такихъ, чью книгу оставить на столѣ добропорядочномъ и благонравномъ столѣ — чуть не уголовное преступленіе. Одинъ австріецъ французскаго воспитанія, путешествуя со мною по далматинскому побережью, усердно пряталъ отъ моей жены книги, взятыя имъ въ дорогу. Я думалъ, что эта потайная и, очевидно, стыдная литература — по меньшей мѣрѣ, какіе нибудь забубенные томы съ задворковъ порнографическаго издательства Оффенштадта или ему подобныхъ спекулянтовъ, и удивлялся охотѣ нашего умнаго и даровитаго спутника засорять свои мозги такою дребеденью. Каково же было мое изумленіе, когда запретныя книги оказались романами Флобера, съ «Саламбо» во главѣ, «Rouge et Noir» Стендаля и «Mademoiselle Maupin» Теофиля Готье! У русскихъ дамъ этотъ эпизодъ вызоветъ презрительныя, а можетъ быть, и не совсѣмъ довѣрчивыя улыбки, но — да! невѣроятно, а оно такъ: Стендаль, Флоберъ, Теофиль Готье, Бодлэръ, Зола, Гюи де Мопассанъ, Октавъ Мирбо и пр. заперты въ индексъ *librorum prohibitorum*, въ незримомъ, но всѣмъ извѣстномъ каталогѣ книгъ, которыя «нельзя за-

бывать въ гостиной» и о которыхъ еще болѣе нельзя спросить французскую барышню: читали ли вы?

Цензуюю постояннаго соображенія: годится ли для барышень?—объясняются низкій уровень и бѣдность выбора семейнаго чтенія во Франціи. «Настоящую литературу» добропорядочный буржуа не пускаетъ въ домъ, потому что ее неудобно забывать въ гостиной, а литература для барышень не нужна взрослымъ людямъ, ибо скучна выше всякаго терпѣнія, лишена правдоподобія и здраваго смысла. Французская провинціальная семья перестала читать, — говоритъ Реми де-Гурмонъ, — потому что г. Онэ глушь, а г. Поль Абданъ не имѣетъ нравственности. Идеаль провинціи: ахъ, еслибы къ генію Бальзака да чистоту Фенелона! Русскому читателю эти трагикомическія вождельнія напоминаютъ мечты Агафьи Тихоновны о женихахъ: вотъ кабы къ носу Подколесина да фигура Яичницы! Однако, подобныхъ желаній и разсужденій не чужды даже самыя передовыя семьи Франціи: я думаю, — уязвляетъ мимоходомъ Реми де Гурмонъ, — даже до семьи г. Жореса включительно!

Что же читаетъ французская барышня? Изъ 133 молодыхъ образованныхъ дѣвушекъ, опрошенныхъ Реми де-Гурмономъ о любимомъ ихъ авторѣ, объявили таковымъ: Расина—19, Корнеля—17, Боссюэта—11, Севинье—10, Мольера—9, Ламартина—8, Шатобриана—7, Буало—6, Лафонтена—5, Гюго—4, Фенелона—3, Мэнтенонъ—3, Малерба—3, Ронсара—2, Сталь—2, Жюля Верна—2, Мюссе—2, Ростана—2. По одному разу указаны: Вальтеръ Скоттъ, Эжени де Геренъ, m-me Сегюръ, Перро, Андерсенъ, Мишле, Монтанъ, Зинаида Флёріо, Толстой, Бюффонъ, Додэ, Сарсэ, Б. де Сень-Пьеръ Гонкуры, Жуанвиль, Коппе, Паскаль, Карль Орлеанскій, — и одинъ изъ новѣйшихъ поэтовъ, «недавно умершій», котораго Реми де Гурмонъ не называетъ, но, судя по намекамъ, вѣроятно, Поль Верленъ.

Не трудно видѣть изъ этого списка, что литературныя привязанности юныхъ французскихъ читательницъ сложились не по самостоятельному выбору, и подавляющее большинство ихъ — школьнаго происхожденія. Самое значительное число поклонницъ неожиданно оказывается у авторовъ XVII вѣка, усердно изучаемыхъ въ классахъ словесности; гораздо меньше симпатій на сторонѣ романтиковъ (Ламартинъ, Гюго, Мюссе), которыхъ школьная программа допускаетъ въ классы, но безъ особаго покровительства; самый плачевный недостатокъ почитательницъ — у авторовъ послѣ 1850 года, категорически отрицаемыхъ пуританскою критикою среднихъ учебныхъ заведеній.

Вторая, ярко замѣтная особенность списка — строго выдержанный націонализмъ симпатій: полное отсутствіе иностранныхъ именъ. За исключеніемъ сказочника Андерсена и уже полусказочника Вальтеръ Скотта, только одному Льву Толстому удалось проникнуть въ очарованный кругъ 133 дѣвичьихъ міросозерцаній, спящихъ въ глубокой родной старинѣ! Намъ, русскимъ, съ нашею международною энциклопедичностью, при огромной жаждѣ нашихъ дѣвушекъ къ чтенію, подобная узкость вкуса такъ же мало понятна, какъ и его поразительная архаичность. Вообразите себѣ русскую дѣвушку интеллигентнаго круга, откровенно признающуюся, что она незнакома съ Шекспиромъ, Шиллеромъ, Байрономъ, Гейне, Диккенсомъ, Сервантесомъ, Викторомъ Гюго, Гюи де Мопассаномъ, Мицкевичемъ! Вообразите себѣ, что она заявляетъ, будто «не любитъ» Чехова, Льва Толстого, Максима Горькаго, Тургенева, Достоевскаго и лишь съ грѣхомъ пополамъ допускаетъ Пушкина и Лермонтова, но зато упивается одами Державина, баснями Хемницера, повѣстями Карамзина и балладами Жуковскаго! Между тѣмъ, во французской параллели, результаты опроса Реми де-Гурмонъ именно таковы, и никого во Франціи это, казалось бы, очень плачевное показаніе не удивляетъ, очень немногихъ смущаетъ, а возму-

щастъ уже и совсѣмъ мало кого. Самъ Реми де-Гурмонъ, на примѣръ, лишь успѣваетъ высказать мимоходомъ сожалѣніе, что французская дѣвушка не знакомится съ классическими литературами античнаго міра, да наградить отечество совѣтомъ: «женщина не должна быть ретроградкою, — довольно, если она консервативна!» Такъ что и онъ къ французской программѣ женскаго чтенія относится, хотя и отрицательно, однако, безъ остраго негодованія и даже, пожалуй, безъ негодованія вовсе.

При націоналистической и архаической окраскѣ своего чтенія, французская барышня, понятно, должна оставаться очень вдалькѣ отъ социальныхъ идей своего вѣка. Возобновимъ сравненіе: часто ли можно встрѣтить въ русской интеллигенціи дѣвушку, которой чужды имена Бѣлинскаго, Добролюбова, Чернышевскаго, Герцена, Салтыкова, Михайловскаго, Владиміра Соловьева? Марксистокъ и народницъ у насъ было не меньше, чѣмъ марксистовъ и народниковъ; «идеалистокъ» чуть ли не больше, чѣмъ идеалистовъ. Во Франціи — ничего подобнаго. Изъ 133 барышень ни одна не обмолвилась имепами не только какихъ либо новыхъ свѣтилъ социальной философіи, вродѣ Фулье или покойваго Гюйо, но весьма очевидно, что для собесѣдницъ Реми де-Гурмонъ не существуютъ ни Прудонъ, ни Фурье, ни Огюсть Контъ, ни даже Вольтеръ и Руссо и энциклопедисты XVIII вѣка. Ихъ философскія симпатіи умирають съ Боссюэтомъ и Фенелономъ, чтобы воскреснуть въ Шатобріанѣ. Вѣкъ деизма — для нихъ мертвая точка прошлаго. А въ XX столѣтіи онѣ ухитряются жить, не зная и не нуждаясь знать Дарвина, Шопенгауэра, Карла Маркса, Спенсера, Ницше...

При всемъ отвратительномъ направленіи школьной науки, создающей литературное невѣжество французской барышни, нельзя не отдать справедливости этой школѣ въ томъ отношеніи, что ея нравы, методы и люди обладаютъ тайною привлекать къ ней любовь и слѣпое довѣ-

ріе питомиць. Ея умственная и нравственная дисциплина воспринимается съ пассивною готовностью, достойною лучшаго примѣненія, чѣмъ указываютъ педагоги, оставшіе отъ вѣка на добрыхъ двѣсти лѣтъ и, тѣмъ не менѣе, по какому-то чудесному мастерству, умѣющие и охранять свой авторитетъ, и навязывать юнымъ мозгамъ свои допотопные вкусы. Мы знаемъ слишкомъ хорошо, что въ русской школѣ лучшее средство сдѣлать автора ненавистнымъ для учениковъ, это—обратить его въ предметъ класснаго чтенія. Прекрасный трудъ г. Петрищева «Замѣтки учителя» даетъ прелюбопытныя иллюстраціи къ этому глубоко-прискорбному, но неопровержимому положенію. Всѣ авторы, которыхъ каедрa рекомендуетъ, какъ образцовыхъ представителей истинной литературы, презираются на партахъ, какъ не литература вовсе. Литература же начинается для партъ съ тѣхъ, на кого каедрa налагаетъ свое отлученіе. Такимъ образомъ, виѣ литературы остались Ломоносовъ, Державинъ, Фонвизинъ, Крыловъ, Карамзинъ, Жуковский. Г. Петрищевъ высказываетъ даже сожалѣніе—не безосновательное, хотя на первый взглядъ оно и кажется парадоксальнымъ: зачѣмъ школа включила въ свои программы Пушкина, Лермонтова и Гоголя? По его словамъ, даже и къ этимъ свѣтлымъ именамъ русскій школьникъ сталъ относиться теперь несравненно холоднѣе, чѣмъ раньше, когда читалъ «Демона» и «Онѣгина» контрабандою. Гаснетъ обаяніе, вянетъ довѣріе къ гевіямъ, увѣнчаннымъ въ Капитоліи русской официальной программы! Литература для русскаго школьника—Чеховъ, Горькій, Короленко, Гаршинъ, Надсонъ, Салтыковъ, Некрасовъ, Успенскій, Чернышевскій, Левъ Толстой, Тургеневъ, Бѣлинскій, Добролюбовъ: «отреченные» писатели, которыхъ школа или не хочетъ знать вовсе, или принимаетъ, скрѣпя сердце, съ подозрительнымъ долгимъ искусомъ и безжалостными ограниченіями. Не то у французовъ. Несостоятельная образованіемъ, ихъ

школа—совершенство воспитательнаго гипноза. Вкусы и внушенія своихъ классовъ словесности французенка уносить въ жизнь очень надолго, если не навсегда. Реми де-Гурмонъ собралъ любопытную коллекцію критическихъ мнѣній, высказанныхъ французскими барышнями и молодыми дамами. Они поражаютъ однообразіемъ мысли, общимъ шаблономъ симпатій и антипатій,—всѣ сужденія, какъ на подборъ, старомодны и выражены въ ходячихъ, явно внушенныхъ, фразахъ, лишенныхъ субъективной окраски, затрепанныхъ, какъ старый праздничный флагъ, и рѣшительно ничего не говорящихъ ни уму, ни сердцу современнаго человѣка. Умы, затянутые въ схемы Корнеля, Расина, Боссюэта, Шатобріана, какъ талии — въ корсетъ, какъ нога китаянки въ дѣтскій башмачокъ! И, какъ китаянка гордится ножкою, изуродованною въ дѣтскомъ башмакѣ, такъ французенка гордится своимъ образованіемъ въ ржавыхъ псевдо-классическихъ и романтическихъ оковахъ. Головы, работающія внѣ освященныхъ благословіемъ школы схемъ, ей кажутся столь же распущенными, непристойными и не должными быть, какъ талія безъ корсета! Французенка полна подозрѣніемъ и ненавистью къ литературнымъ новшествамъ:

— Прекрасное никогда не старится, — побѣдоносно увѣряють эти фанатическія старовѣрки,—зачѣмъ же пытаться его обновлять?

Самостоятельное критическое сужденіе—большая рѣдкость у французской женщины. Одна изъ собесѣдницъ Реми де-Гурмона высказала о братьяхъ Гонкурахъ мнѣніе очень умное, ясно, хорошо и полно формулированное, но—въ устахъ русской курсистки, даже не изъ очень бойкихъ, оно рѣшительно никому не показалось бы ни оригинальнымъ, ни выдающимся. Скорѣе, напротивъ, сказали бы: ну, еще бы иначе! экую Америку открыла! А Реми де-Гурмонъ до того изумленъ и обрадованъ своею рѣдкост-

ною находкою, что торжественно восклицаетъ по адресу столь счастливаго и исключительнаго «урода въ семьѣ»:

— Вамъ слѣдовало бы открыть для вашихъ учителей курсы добросовѣстности и здраваго смысла!

Нѣтъ сомнѣнія, что въ нѣкоторыхъ, быть можетъ, даже многихъ случаяхъ, отвѣты, полученные Реми де-Гурмономъ, грѣшатъ лицомъриемъ, по желанію барышень выставить себя въ наиболѣе красивомъ, приличномъ, серьезномъ свѣтѣ. Но тогда еще болѣе характерно то обстоятельство, что лицомъріе принуждено играть свою кокетливую комедію именно въ такомъ странномъ направленіи! Понятно невинное притворство иной русской барышни, авторитетно толкующей о Марксѣ или Владимірѣ Соловьевѣ, хотя она и въ глаза не выдывала ни «Капитала», ни «Оправданія Добра», но кому въ голову придетъ щеголять, въ свидѣтельство своей литературности, цитатами изъ Кантемира, Сумарокова, Новикова? Такъ что даже случаи лицомърныхъ отвѣтовъ подтверждаютъ все то же любопытное наблюденіе: только литература, рекомендованная школою, признается французскими барышнями за хорошую и достойную ихъ вниманія, только въ знаніи такой литературы имъ не стыдно сознаться; что осталось внѣ школы, — значить, запретно, неприлично, нехорошо...

Въ послѣдніе годы выдвинулся изъ рядовъ французскаго журнализма фельетонистъ, пишущій подъ всевднимомъ Вилли (Willy). Къ сожалѣнію, выдвинулся не надолго, такъ какъ успѣлъ уже и размѣняться въ порнографа очень мутной воды. Но первая его повѣсти о «Клодинѣ», какъ обличительныя разоблаченія быта французской женской школы, были талантливы и мѣтко попали въ цѣль: недаромъ же имя Claudine стало въ Парижѣ нарицательнымъ для пансіонерокъ-подростковъ, наканунѣ окончанія курса въ среднемъ учебномъ заведеніи! Вилли вывелъ на свѣжую воду множество грѣшковъ и учащаго, и учащагося женскаго поколѣнія, въ особенности ярко

подчеркнувъ недостатки той саптиментальной аффекціи, того институтскаго «обожанія», которыя во французской женской школѣ замѣняютъ товарищество и слишкомъ часто перерождаются въ самыя некрасивыя страсти и пороки... иногда на всю жизнь! Десятки французскихъ художниковъ слова, наблюдателей жизни, намекали публикѣ, что такъ называемая «лезбійская любовь»,—къ сожалѣнію, слишкомъ частый и чуть не національный порокъ французской женщины зажиточныхъ классовъ,—обыкновенно выносятся изъ монастырскихъ школъ и закрытыхъ пансіоновъ. Вилли—того же мнѣнія. Но ни этотъ бойкій обличитель, ни его безчисленные подражатели почти не касаются вопроса о запретномъ чтеніи, тогда какъ у описателей тайнъ русской школы онъ всегда и обязательно выступаетъ на первый планъ. Если героини Вилли читаютъ чтонибудь потихоньку отъ начальства, это, навѣрное, какая либо изъ ряду вонъ скабрѣзная книга, въ знакомствѣ съ которою и мужчинѣ-то не слишкомъ прилично сознаваться. Запретнаго чтенія для саморазвитія нѣтъ. Французская школьница не прячетъ подъ тюфякъ Ренана или Прудона, какъ русская—Писарева и Герцена, и не читаетъ ихъ воровски по ночамъ, при трепетномъ свѣтѣ припасеннаго огарка. Фабрикацію своей мысли и своего вкуса французженка, не только номинально, но и дѣйствительно, предоставляетъ, какъ нѣкую монополию, школѣ—съ непоколебимымъ убѣжденіемъ, что учебныя программы дадутъ ей и именно тѣ знанія, какія надо, и аккуратно столько знаній, сколько надо. Самой, значить, заботиться не о чемъ, кромѣ успѣшной сдачи экзаменовъ: ими школа провѣряетъ свою паству, а государство и нація—школу.

Пассивность воспріятія, воспитанная дрессировкою на «хорошій вкусъ», вырастаетъ во французской женщинѣ до суевѣрій изумительныхъ. Знакомыя барышни и дамы Реми де-Гурмона чистосердечно сознаются въ полной неспособности одолѣть болѣе десяти страницъ братьевъ

Гонкуръ; другимъ Шекспиръ кажется страшнымъ и темнымъ вродѣ дремучаго лѣса, куда лучше и не вступать, чтобы не заблудиться; третьи совершенно глухи къ красотамъ Верлэна, тогда какъ необыкновенно чутко и тонко разбираются въ самыхъ сокровенныхъ глубинахъ и оттѣнкахъ Расина и Корнеля... Расивъ! Корнель! О!... И всѣ декламируютъ:

— Rodrigue! As tu du coeug?

Единственная фраза, которая,—по ядовитому мнѣнію Реми де-Гурмонъ,—дожила бы до нашихъ дней изъ всего Корнеля, не будь на свѣтѣ французскихъ барышень и ихъ тетрадокъ для упражненій по словесности,—такъ какъ ее спасли бы игроки въ вистъ и червовная (coeug) карточная масть...

Сила можетъ навязать молодымъ умамъ ненужное знаніе, но не въ состояніи заставить молодые умы любить ненужное знаніе. Лучшій историческій примѣръ—наша пресловутая классическая система, пропитавшая нѣсколько русскихъ поколѣній ненавистью и недоувѣріемъ именно къ тѣмъ мертвымъ наукамъ, формальною гимнастикою по лѣстницамъ и трапеціямъ которыхъ обусловливался для нихъ аттестатъ зрѣлости. Если ненужное, мертвое знаніе, приобрѣтаемое молодыми французенками въ школахъ, не возбуждаетъ къ себѣ ненависти, но, напротивъ, хранится съ уваженіемъ и любовью на многіе годы, то виною тому, во-первыхъ, разумѣется, какъ уже сказано, искусные методы, нравы и люди французскаго преподаванія; а во-вторыхъ и въ-главныхъ,—полагаетъ Реми де-Гурмонъ,—тайное сочувствіе юныхъ женскихъ сердець къ красивому идеализму той старомодной литературы, которою питаетъ ихъ школа. Французенка едва ли не больше всѣхъ другихъ женщинъ Европы обладаетъ способностью и склонностью замкнуться всею полнотою жизни въ чувство любви. Предъ ея глазами—всегда идеаль матері семейства, созданнаго любовью. Она—жена и любовница, по пре-

имуществу. Не удивительно поэтому, что она так много слышитъ въ Корнелѣ, когда онъ говоритъ съ нею устами Химены, такъ много видитъ въ Расинѣ, когда онъ показываетъ ей, какъ нѣжныя тѣни старшихъ подругъ, Ифигенію и Беренику. Оливье де-Тревиль упросилъ нѣсколько десятковъ барышень написать, какъ онѣ воображаютъ свой житейскій идеаль. Изъ этого громаднаго матеріала Реми де-Гурмонъ выбираетъ нравственныя качества, на которыя предъявляются больше запросовъ и притязаній. Въ первой очереди—по 31 разу—оказываются: доброта, послушаніе, преданность, милосердіе, любовная нѣжность, чувствительность. Затѣмъ—по 30 разъ—заявлены: хорошее воспитаніе, почтительность, скромность, мягкость, простота. Въ третьемъ классѣ (по 19 разъ): любезность, грація, маленькое кокетство. Противъ религіи не высказалась ни одна дѣвушка, но только 14 выдвинули религіозность на первый планъ жизни: къ тому же съ оговоркою, что онѣ ищутъ религіи просвѣщенной и благочестія, прочно обоснованнаго. Почти столько же (13) партизанокъ у широкаго образованія, причемъ 7 тоже оговорились: но безъ педантизма! Претензій на энергію, силу воли, смѣлость, рѣшительность, самолюбіе, гордость высказано, сравнительно, немного: къ первому классу симпатій этотъ относится лишь какъ 13:31. Серьезный образъ мысли и возвышенные порывы понадобились 13. Развязность и веселость—11. Хорошо постичь домашнее хозяйство желаютъ 8. Способности къ наукѣ, критическій даръ, пытливость ума ставятъ выше всего 7. Любопытно, что съ тѣхъ поръ, какъ музыка ушла отъ простой звуковой иллюстраціи вѣчной любовной поэмы къ программамъ болѣе отвлеченнаго содержанія и часто даже философской окраски, симпатіи къ ней французской барышни значительно понизились. Мечту быть великою музыкальною артисткою выразили Оливье де-Тревиль только двѣ барышни, тогда какъ честолюбіе отличиться въ живописи

оказалось у четырехъ, а въ поэзіи—у шестерыхъ. Къ совершенству въ спортѣ вождельи двѣ, но также и двѣ сдѣлали къ своимъ показаніямъ приписку: не надо спорта!

— Въ этихъ признаніяхъ,—приводить списокъ де-Тревилья къ одному знаменателю Реми де-Гурмонъ,—такъ мало «революціи», что можно вообразить себя въ вѣкѣ королевы Амеліи или въ тѣ времена, когда королева Берта пряжу пряла!

Сказать по нашему: при царѣ Горохѣ!

Любить и быть любимой—весь смыслъ жизни для французской женщины буржуазнаго строя. Она обожаетъ житейскій комфортъ, но жажда богатства въ ней очень невелика, и пріобрѣтательный инстинктъ умолкаетъ, какъ скоро она видитъ своихъ любимыхъ близкихъ обеспеченными на безбѣдное существованіе, на возможность жить, что называется, не хуже людей: en bons bourgeois. Октавъ Мирбо очень умно и тонко поставилъ въ своей пьесѣ «Les affaires sont les affaires», рядомъ съ непамятнымъ хищникомъ-милліонеромъ, Изидоромъ Леша, фигуру его жены, которую въ ужасъ приводитъ почти машинальное нарастаніе ихъ несмѣтныхъ богатствъ.—замки, земли, кредитныя побѣды... Во французѣ-мужчинѣ вѣчно живъ темпераментъ воина: за упраздненіемъ «великихъ Конде», Тюренней, Неевъ, Наполеоновъ, этотъ темпераментъ, приспособляясь къ духу времени, бросаетъ Леша и Саккаровъ въ биржевыя кампаніи, съ битвами, хоть и безъ холоднаго и огнестрѣльнаго оружія, но тоже на жизнь и смерть, со всѣми ужасами и отвѣтственностями человѣческой взаимоненависти. Если живъ, хоть и перерядился на новый ладъ, исконный французскій боецъ—истинный галльскій пѣтухъ—весельчакъ, любезникъ, драчунъ и кавалья, то нѣтъ мудренаго сохраниться въ неприкосновенности и женѣ этого забіяки, la belle chate-laine—прекрасной, неможко игривой, но, въ концѣ концовъ, все-таки очень цѣломудренной блюстительницѣ

средневѣкового замка, и невѣстѣ, которая пряла въ башнѣ на золотой прялкѣ серебряныя нитки, въ влюбленномъ ожиданіи своего рыцаря: «Иль на щитѣ, иль со щитомъ вернусь къ тебѣ изъ Палестины»!.. Тѣмъ болѣе, что къ наилучшему консервированію сихъ антиковъ и общество и школа приложили, какъ мы видѣли, замѣчательно дружныя усилія.

1905.

---

## На днѣ Сициліи.

---

Осенью 1904 года я сдѣлалъ поѣздку по Сициліи, съ главною цѣлью—ознакомиться съ тайною организаціей той могущественной «великой мафіи», которая, по словамъ столькихъ путешественниковъ, охватываетъ весь полуостровъ романтической цѣпью преступнаго сообщества бездѣльниковъ, воровъ и убійць—противъ людей честныхъ, смиренныхъ и уважающихъ законъ. *La maffia*—такое же пугало для Сициліи, какъ въ Неаполѣ—каморра. Въ эффектныхъ разсказахъ о великой мафіи мнѣ всегда слышалось много фальшивыхъ нотъ, взятыхъ авторами не по живому наблюденію дѣйствительности, но по романтическому представленію, слишкомъ часто составленному заранѣе, изъ старыхъ книжекъ въ стихахъ и прозѣ, съ восторгамъ къ Этнѣ, развалинамъ Таормины, Палермитанскому заливу, легендамъ Сицилійской Вечерни, ко всѣмъ традиціоннымъ условностямъ мѣстной красоты въ природѣ и въ людяхъ. Итальянскіе изслѣдователи сицилійскаго быта дружно жалуются на иностранцевъ—описателей, что они заслоняютъ отъ міра реальную правду полуострова своими красивыми мечтами, подобранными одна къ одной въ уютной тиши лондонскаго, бостонскаго или мюнхенскаго кабинета, такъ что самое путешествіе по Сициліи для этихъ поэтовъ слова оказывается лишь формальностью вѣроятности, продѣлываемою ради диплома на «очевидца». Эти люди бываютъ въ Сици-

ліи, но ея не видять: они видять ту Сицилію и такъ, какъ имъ хочется видѣть, а эта Сицилія—не внѣ ихъ, но въ ихъ собственныхъ мозгахъ, и на ней положено клеймо: «made in Germany». Сициліи російскаго производства еще худшаго достоинства, такъ какъ русскій туристъ на подъемъ тяжель, а потому даже и формальности путешествія исполняетъ плохо, предпочитая починать прорѣхи наблюденія французскою, англійскою или нѣмецкою книжкою. Тонкія подробности сицилійскаго быта, сообщаемыя русскими литераторами и туристами, по ихъ личнымъ бесѣдамъ съ туземцами, обыкновенно представляютъ собою драматизированныя распространенія той или другой любившейся страницы изъ прежнихъ европейскихъ путешествій — до архаическихъ впечатлѣній Гете включительно. Насколько мнѣ извѣстно, ни одинъ изъ русскихъ описателей Сициліи не владѣетъ итальянскимъ языкомъ съ достаточною свободою. Я знаю итальянскій языкъ, могу даже посредственно писать на немъ, ибо случалось печатать итальянскія статьи, и редакторы не очень ругались. Тѣмъ не менѣе, въ Сициліи, на первыхъ порахъ, я оказался почти нѣмымъ и совершенно глухимъ человѣкомъ. Говоръ простонародья въ Палермо и по всей Сонса д'ого расходится съ итальянскимъ языкомъ и корнями, и произношеніемъ, и оборотами рѣчи рѣзче, чѣмъ, напримѣръ, даже малороссійская рѣчь удалена отъ русскаго литературнаго языка. Я началъ къ ней привыкать только въ концѣ третьей недѣли пребыванія въ Палермо, овладѣть же ею, разумѣется, не былъ бы въ состояніи и еще черезъ мѣсяць: нарѣчіе трудно дается и итальянцамъ. Между тѣмъ, всѣхъ, кто говоритъ иначе, сициліецъ считаетъ чужакомъ, а онъ и среди своихъ-то подозрителенъ, скрытенъ и предпочитаетъ держать языкъ за зубами. Такъ что въ сицилійскія интимности русскихъ, сомнительно владѣющихъ итальянскою рѣчью, я имѣю полное основаніе совершенно не вѣрить: это—одухотворенные пересказы печатныхъ страницъ или въ луч-

шемъ случаѣ, талантливые варианты сказокъ и басенъ хорошо оплаченныхъ гидовъ.

Я былъ въ Сициліи впервые десять лѣтъ тому назадъ, но «знатнымъ иностранцемъ» — посмотрѣть изъ Катаніи Этну въ полномъ изверженіи, съ семью огненными змѣями лавы. Это было очень величественно и красиво, но случилось нѣчто, заслонившее отъ меня прелести Этны. Въ маленькой деревушкѣ, — я уже не помню названія, — подъ дымящимся вулканомъ мы встрѣтили ревущую, плачущую, вопящую, размахивающую руками толпу мужиковъ и бабъ, а среди нихъ полицейскаго комиссара въ шарфѣ и дюжину солдатъ съ примкнутыми штыками.

— Что это?

Гидъ отвѣчаетъ равнодушно:

— Стачка зольфатаровъ (работниковъ въ сѣрныхъ копяхъ).

Протрубилъ сигнальный рожокъ, солдаты, оцетиняся штыками, пошли на толпу. Желтые, тощіе люди, съ пламенными глазами, отступали, выли и ругались. Понемногу, незамѣтно мужчины оказались въ заднихъ рядахъ, а впереди — однѣ женщины, почти всѣ съ грудными дѣтьми на рукахъ. Онѣ визжали такъ, что, я думаю, на кратерѣ Этны было слышно. Я не понималъ ни слова, но голодъ и злоба звучали въ ихъ вопляхъ, сверкали въ ихъ взглядахъ и жестахъ краснорѣчивѣе словъ. Солдаты напирали, хмурые, съ самоотвращеніемъ на лицахъ. Цѣль ихъ была — прогнать толпу съ площади, отъ фонтана, въ улицу, гдѣ демонстрація, раздробившись, растаяла бы по домамъ. Рабочіе пятились по площади то влѣво, то вправо, пока не очутились въ безвыходномъ углу. Штыки напирали. Тогда женщины стали бросать подъ ноги солдатамъ своихъ дѣтей. Солдаты остановились, какъ вкопанные. Рожокъ заигралъ отбой...

Съ впечатлѣніемъ этой Сициліи отплылъ я назавтра

въ Неаполь, и оно осталось тѣмъ болѣе неизгладимымъ, чѣмъ менѣе я былъ къ нему подготовленъ.

Сицилія — трагическій край. Она пикогда не знала мало-мальски хорошаго правительства, а послѣднее, сколько нибудь сносное, кареагенское, уничтожили римляне, слишкомъ двѣ тысячи лѣтъ назадъ. Политическій интересъ къ Сициліи умеръ въ Европѣ въ 1860 году, когда полуостровъ вошелъ въ составъ объединенной Италіи: право сравнительнаго покоя, выстраданное столѣтіями народныхъ скорбей! До 1860 года исторія Сициліи — сплошное мученичество самообороны лакомага куска, на который, какъ голодныя собаки, охотятся государства, династіи, расы, народы. Въ борьбѣ, правильнѣе — въ борьбахъ своихъ противъ всего политическаго средиземнаго міра, сициліецъ совершенно утратилъ самого себя — настолько глубоко схоронилъ свою первобытность подъ слоеніями греческимъ, кареагенскимъ, римскимъ, арабскимъ, норманскимъ, испанскимъ, что вопросъ объ античномъ сицилійцѣ теперь одинъ изъ самыхъ спорныхъ въ исторической этнографіи. Въ этомъ племени-помѣси, распадающемся на десятки типовъ, пестро говорящихъ о расовомъ разнообразіи предковъ, вѣковыя войны, смуты и государственные перевороты развили двѣ характерныя черты, которыя въ сицилійцѣ — какъ бы прирожденные идеи: глубокое недовѣріе и презрѣніе ко всякому правительству, каково бы оно ни было, и необычайную энергію личной самозащиты. На этихъ двухъ основахъ и строятся тѣ анархическія явленія, которыя въ Сициліи принято называть «мафіозными» (*maffiusu*), и частымъ повтореніемъ которыхъ, при очевидной къ нимъ симпатіи населенія, созданъ и поддерживался миѳъ о «великой мафіи» — таинственной организаціи для вражды съ обществомъ, универсальной разбойничьей шайки, прикосновенной своими нѣдрами ко всѣмъ гражданскимъ слоямъ Сициліи, а въ своемъ кодексѣ перепутавшей завѣты Карла Моора и средневѣковыхъ тайныхъ судовъ съ нравами

Ваньки Каина и червопныхъ валетовъ. Легенды «великой мафіи» держатся, главнымъ образомъ, тѣмъ условіемъ, что тысячамъ пріѣзжихъ людей хочется въ нихъ вѣрить. «Великая мафія»—первое, о чемъ, послѣ Этны, американецъ и англичанинъ спрашиваютъ сицилійскаго гида, и если этотъ послѣдній достаточно искушенъ опытомъ, то, въ угоду хорошо платящему туристу, онъ не только подтвердитъ всѣ старыя рассказы о мафіи и насочинитъ новыхъ, но, пожалуй, даже покажетъ путешественнику какого нибудь «царя мафіи», выбравъ въ толпѣ незнакомца поусатѣе, побородатѣе и посвирѣпѣе взглядомъ. О «царяхъ мафіи» повѣствуются самыя фантастическія чудеса. Это-де группа атамановъ, подчиненныхъ великому атаману, котораго, кромѣ нихъ, никто не знаетъ, а онъ знаетъ всѣхъ, управляя организаціей откуда-то изъ пространства, изъ неизвѣстнаго далека съ полномочіями неограниченной, даже деспотической власти. Достаточно атаману (саро) повелѣть, и осужденный имъ человекъ умретъ, хотя бы бѣжалъ на край свѣта: кинжалъ, бритва и револьверъ мафіи находятъ и настигаютъ преступниковъ, подлежащихъ казни, даже въ Австраліи и въ Южной Америкѣ. Мафія безжалостна. Она приказываетъ своему участнику разореніе, банкротство, преступленіе, развратъ, разлуку съ близкими людьми, чуть не Авраамову жертву—и членъ мафіи долженъ повиноваться безпрекословно. Иначе—кинжалъ, бритва или револьверъ.

— Знаете ли,—таинственно шепталъ мнѣ проводникъ,—лѣтъ тридцать тому назадъ, жилъ въ Палермо одинъ богатый баринъ—принципе и генераль королѣя. Ну, и поссорился съ мафіей. Получилъ приговоръ на смертную казнь. Человекъ былъ не изъ трусливыхъ, un uomo di onerta. Бѣжать не захотѣлъ, а только вдѣлъ стальную рубашку и окружилъ себя вѣрными матросами, чтобы ни на минуту отъ него не отлучались: куда онъ, туда и они. Проходитъ мѣсяць, другой: все спокойно, никакихъ по-

кушеній. Принчипе сталъ смѣлѣе. Вотъ—однажды идетъ онъ со своими матросами рощею подъ Монреале. Рошица—маленькая, рѣдкая, насквозь свѣтъ видно.—Подождите, ребята!—говорить принчипе матросамъ,—я сейчасъ... И зашелъ за кустъ, знаете, для маленькой нужды. Зашелъ, да и не выходитъ. Окликнули его матросы,—молчить. Смотрятъ: а принчипе лежитъ за кустомъ мертвый, и животъ у него распоротъ, а въ горлѣ торчитъ кинжалъ, и на рукояткѣ—приговоръ мафіи.

Исторія звучала бы весьма внушительно, если бы не была дословнымъ повтореніемъ легенды объ убійствѣ Фридриха Брауншвейгскаго, казненнаго, если не ошибаюсь, въ 1400 году, именно при такихъ обстоятельствахъ, палачомъ святой вемы за отказъ явиться ея тайному суду. Миоѣ прожилъ пятьсотъ лѣтъ и, перекатившись съ сѣвера на югъ, переодѣлъ своего героя изъ средневѣковаго герцога въ генерала савойской династіи.

Тѣмъ не менѣе, отрицая организацію мафіи, отрицая существованіе и могущество ея великаго атамана, я признаю охотно бытіе «королей», «царей» и «царьковъ» мафіи и даже имѣлъ честь нѣкоторыхъ изъ нихъ видѣть своими глазами и жать ихъ мужественныя руки. Но это—«царьки» безъ царствъ,—клички, обоснованныя личными качествами людей, которыми онѣ усвоены, а вовсе не властью ихъ надъ какимъ либо покорнымъ сообществомъ. «Царей мафіи» особенно много по деревнямъ, въ глубинѣ острова, и никто ихъ на царство не жалуетъ, кромѣ ихъ самихъ. Обыкновенно, это люди чрезвычайно почтенные, уважаемые, хорошо ведущіе свой домъ, семью и хозяйство, пожилые, серьезные и, главное, съ ярко выраженными національными свойствами сцилійца, о которыхъ говорено выше: съ отвращеніемъ ко всякому правительственному вмѣшательству въ жизнь человѣка, въ особенности же къ полиціи и къ суду, и съ постоянною могучею готовностью къ самозащитѣ. Великая мафія существуетъ, только

она не то, за что ее принимают. Она не общество, а духъ общества, способъ дѣйствія. «La maffia» присуща каждому сициліанцу, въ особенности въ Палермо, и составляетъ значительную долю сициліанскаго національнаго характера. Въ сициліанскомъ смыслѣ la maffia обозначаетъ рѣзко выраженную индивидуальность воли, нежеланіе, считаться съ общественными требованіями, жизнь на собственный свой рискъ и отчетъ и главное—съ ненавистью къ закону. Il maffioso (по-сициліански lu maffiusu)—существо, среднее между рыцаремъ, сверхчеловѣкомъ и анархистомъ. Это, конечно, въ идеалѣ. Въ дѣйствительности чаще всего просто—человѣкъ, не стѣсняющійся никакими средствами, чтобы устраивать свою жизнь такъ, какъ ему хочется. Своеволіе, слагающееся законодательно изъ самодѣятельности и самозащиты, судебно изъ самосуда по народному обычаю и инстинкту совѣсти, исполнительно изъ самоуправства,—нравственный идеалъ сицилійца. Это—та omerta (умѣнье быть человѣкомъ), что когда-то купила сердца сицилійцевъ для Гарибальди: могучій инстинктъ справедливости и широкое чувство нравственной отвѣтственности, вооруженное полною и твердою волею защищать свое дѣло хоть до убійства и отвоевывать свое право хоть до смерти. Иные находятъ, что omerta—плодъ испанскаго вліянія, кастильскій осадокъ въ сицилійскомъ характерѣ. Конечно, если взять, напримеръ, Донъ-Кихота, то это чистѣйшій кавалеръ d'omerta и—даже, пожалуй, уже maffioso—въ томъ самомъ преступномъ смыслѣ, какъ понимаютъ мафію законъ и полиція, и въ томъ молодецкомъ смыслѣ, какъ уважаетъ и одобряетъ ее народъ. Въ словарѣ сицилійскаго языка, для частнаго обихода, lu maffiusu употребляется, какъ порицаніе, очень рѣдко и только съ тѣми же ироническими интонаціями, какими и у насъ инныя клички похвалы обращаются въ кличку отвращенія. Обыкновенно lu maffiusu значитъ «молодчина», но можно произнести его и такъ, что будетъ

значить: молодчина, нечего сказать, — вот по комъ петля-то плачеть!.. Это произношеніе — полиціи и культурныхъ, господскихъ классовъ. Народъ крѣпко держится за «молодчину» просто. Парню сказали, что онъ человѣкъ безъ чести. Парень вынулъ ножъ и зарѣзалъ обидчика: молодчина! *il maffioso!* Нахаль присталъ къ порядочной дѣвушкѣ, а она, въ отвѣтъ на скверныя предложенія, угостила его такою увѣсистою пощечиною, что онъ и съ ногъ долой: молодчина! *la maffiosa!* съ характеромъ дѣвушка! *una ragazza di omerta!* Контрабандистъ провезъ подъ самымъ носомъ у таможенныхъ большой грузъ табака: *il maffioso!* Оппозиціонный депутатъ демонстраціонно отказался отъ ордена: *il maffioso!* Человѣку послали записку, что онъ будетъ не сегодня-завтра убитъ изъ-за угла, а онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, разгуливаетъ въ толпѣ по улицамъ: *il maffioso!* Адвокатъ выигралъ наскокомъ безнадѣжный процессъ! *il maffioso!* Хирургъ сдѣлалъ отчаянную операцію — тоже. Священникъ обругалъ съ церковной кафедрой правительство: *il maffioso!* Всякій актъ, гдѣ маленькая индивидуальная сила возстаетъ бунтомъ самостоятельности на силу большую и торжествующую, есть актъ мафіозный, и сицилиецъ ему рукоплещетъ, даже мало справляясь съ «направленіемъ» акта. Эта страсть къ молодечеству личности имѣетъ свои дурныя стороны — особенно въ политической жизни. Любовь къ мафіозному создаетъ въ народѣ неразборчивость симпатій, и весьма часто дерзкій и умный авантюристъ, хорошо понимающій психологію родной толпы, одною мафіозною минутою умѣетъ зачеркнуть цѣлые годы общественныхъ преступленій. Напримѣръ, Франческо Криспи былъ, несомнѣнно, вреднѣйшимъ для Италіи государственнымъ тормазомъ, и ненавидѣли его очень сильно. Но, въ качествѣ сицилійца, онъ былъ *uomo di omerta* и пропитанъ мафіозною дерзостью, и потому Сицилія, ругаясь, ворча, проклиная, угрожая, все-таки не лишала его своихъ симпатій и поддержки до конца: онъ умѣлъ очаровывать ее

молодецкимъ натискомъ, какъ молодецкимъ натискомъ палермитанскій *ricottaro* (хулиганъ) плѣняетъ сердце своей полудикой *ganza* и обращаетъ ее въ рабу, обязанную его кормить, поить, обувать, одѣвать, снабжать сигарами, окружать всею посильною роскошью—за счетъ своего злополучнаго, за гроши продающагося, тѣла!

И *ricottari*—дѣйствительно, опасный классъ, представляющій собою какъ бы подонки, вырожденіе мафіи и *omerta*, со всѣми ихъ недостатками и почти безъ единого изъ ихъ достоинствъ. Рикоттаро—«котъ», хулиганъ, сутенеръ, существующій на средства закабаленной имъ проститутки (*l'impamorata*). Низшіе слои рикотты слагаются изъ загулявшихъ рабочихъ, въ высшихъ не диво встрѣтить празднопатающихъ сыновей весьма хорошихъ буржуазныхъ фамилій и, къ сожалѣнію, изрядное количество студентовъ, убоявшихся бездны премудрости. Эти верхніе слои рикотты—бичъ театральнаго дѣла въ Сициліи: они слагаютъ всемогущую клаку, способную разорить любого антрепренера уже однѣми контрамарками, не говоря о вымогательствахъ и взяткахъ. Рикоттаро низшаго слоя—существо страшное. Ребята этихъ сразу легко признать даже по вѣншнему виду. Лѣтъ восемнадцати и никогда не старше тридцати, шляпа на бекрень, волосы тщательно намажены и расчесаны съ чубомъ на лобъ, усы стрѣлами вверхъ, идетъ въ раскатку, сигара въ зубахъ, въ рукахъ дубинка—очень часто съ скрытымъ кинжаломъ; другіе прячутъ ножъ сзади, на поясницѣ подъ пиджакомъ. Не бойтесь разозленнаго итальянца, когда онъ кричитъ, сыплетъ словами и дѣлаетъ страшные жесты передъ своимъ и вашимъ носомъ: это—такъ, вздорять, *disputano*; а вотъ—когда итальянецъ поблѣднѣлъ, замолчалъ и закинулъ руку за спину—тутъ надо держать ухо востро: это—уже не жесты, это—начало преступленія.

Все дико и противорѣчиво въ этомъ странномъ мірѣ. Рикоттаро находитъ себѣ любовницу-проститутку. Въ высшихъ слояхъ рикотты предпочитаютъ тайныхъ, въ низ-

ших—явныхъ. Не говоря уже о томъ безсовѣстномъ грабежѣ, которому подвергается изо дня въ день женщина, отдаваяся въ руки рикоттара, вся жизнь ея обращается этимъ милымъ рыцаремъ въ отвратительное, полное ужаса, принижающее рабство. Рикоттаро принципиально презираетъ женщину, которую онъ обираетъ. «*La mia casata*»—ходячая кличка рикоттаровъ для ихъ любовницъ, на русскій переводъ сего термина я не посягаю. Болѣе свинскаго обращенія, чѣмъ истинный рикоттаро ставитъ себѣ въ законъ по отношенію къ женщинѣ, его содержащей,—нельзя себѣ вообразить. И горе всякому, кто вздумаетъ заступиться... да, горе и той, за которую заступились—на бѣду ея!

Но сцена сразу мѣняется, какъ скоро любовницу рикоттаро (*la ganza*) обидѣлъ кто либо другой. Рикоттаро тогда идетъ на ножъ и самъ убиваетъ во всемъ величавомъ спокойствіи сициліанской *omerta*.—Это не любовь,—объясняли мнѣ;—это—рыцарство, *cavalleria*, *spirito di mafia*. Самъ онъ можетъ хоть кожу содрать съ своей женщины,—это ихъ двоихъ дѣло; но кто обижаетъ женщину рикоттара, оскорбляетъ его самого...—и вы понимаете: порядочный человекъ долженъ устраивать свои дѣла самъ.

Эти люди помѣшаны на самолюбіи и собственномъ достоинствѣ. Отъ рикоттаровъ въ Палермо никому житья бы не было, если бы, по выраженію Достоевскаго, одинъ гадъ не съѣдалъ другую гадину. Они вѣчно заняты сведеніемъ счетовъ между собою. Достаточно косога взгляда, презрительной улыбки, фразы, брошенной вскользь, чтобы *il ricottaro* уже потребовалъ у товарища объясненій. Женщины ихъ вѣчно ссорятся между собою и стараются втянуть въ ссоры и своихъ мужчинъ. А сициліанецъ понимаетъ ссору только съ кровавымъ концомъ. Дерутся и рѣжутся не за женщинъ, а за честь. У нихъ есть свои секунданты—притомъ не такіе, что кричатъ изъ-за куста: разъ! два! три!—но, подобно кавалерамъ эпохи Генриха III и

Людовика XIII, обязанные принимать вооруженное участие въ схваткѣ. Въ ночь на новый годъ палермитанская полиція подняла на улицѣ Кастра трехъ тяжело раненыхъ юношей. Изъ нихъ одинъ немедленно скончался... Удалось разузнать причину дуэли. Виновицею оказалась старая баба, продающая себя за 50 сантимовъ,—она пожаловалась своему *innamorato*, что его пріятель за нею ухаживаетъ. Въ результатѣ —трое молодыхъ людей рѣжутъ другъ друга, какъ бѣшеные черти...

Свободный бракъ, устанавлиющій отношенія рикоттара и проститутки, называется *ingarzamento* и празднуется хорошимъ пьянствомъ за счетъ «невѣсты». Онъ и она мѣняются кольцами въ знакъ налагаемыхъ узъ (*vincoli*). Первый пунктъ этихъ узъ —женщина можетъ продавать себя за деньги кому угодно, но отдаваться даромъ вправѣ только своему рикоттаро; знакомымъ же, друзьямъ и родственникамъ его она не имѣетъ права отдаваться и за деньги. Это разсматривается, какъ кровосмѣшеніе. Измѣна такого типа сводить рикоттаро съ ума и является самою частою причиною того постояннаго въ Сициліи преступленія, что носить техническое названіе «*sfregio*» (рубець).

Собственно говоря, *sfregio* — дѣйствительно рубецъ, шрамъ: властелинъ рубитъ измѣнившую женщину бритвою по лицу, оставляя ей памятку, всѣмъ видную, на всю жизнь. Въ Неаполѣ это —тоже частая штука, но тамъ *sfregio* имѣетъ другой смыслъ, и женщины простонародья гордятся подобными рубцами, какъ свидѣтельствомъ, сколько за ними ухаживаютъ и какія онѣ мастерицы заставить себя ревновать. Я лично знаю старуху въ *Torre del Greco*, которая хвасталась, что у нея на тѣлѣ пятнадцать ранъ—и все отъ одной и той же руки ея покойнаго, обожаемаго супруга. Любопытнѣе всего, что если не лжетъ, а лгать ей не зачѣмъ, то она ему никогда не измѣняла, но ей нравилось, чтобы онъ приходилъ въ бѣшенство отъ ревности, и она лгала на себя, рискуя жизнью.

Въ Сициліи дѣло обстоитъ иначе. Sfregio тамъ совсѣмъ не почетный знакъ, вродѣ шрама на щекѣ гейдельбергскаго студента. Sfregio мараешь на всю жизнь. И даже рикотта сжалилась надъ жертвами своими, позволивъ замѣнять фактическое рубцованіе символическими оскорбленіями, скоро преходящими и не оставляющими по себѣ слѣдовъ. Кутрера насчиталъ пять такихъ замѣнъ. Три послѣднія слишкомъ гнусны, чтобы о нихъ рассказывать. Двѣ первыя — женщинѣ рѣжутъ косу или сбываютъ брови. Это, конечно, арабское наслѣдство. Чтобы обрядъ совершился въ порядкѣ, необходимы свидѣтели, при которыхъ рикоттаро сперва излагаетъ вины своей возлюбленной, а уже затѣмъ, по ея выбору изъ пяти возможностей, производится экзекуція. Рыцари!!! Auch die Hölle hat ihre Rechte! — воскликнулъ когда-то Фаустъ.

Любопытно, что пословица «нѣтъ худа безъ добра» оправдывается даже въ этихъ ужасныхъ отношеніяхъ. Однимъ изъ условій d'ingarzamento, рикоттаро диктуетъ своей возлюбленной, что въ своемъ ремеслѣ она можетъ позволять своимъ посѣтителемъ, чего — нельзя. Палермитанскіе блюстители нравовъ имѣютъ гражданское мужество сознаться, что исключительно этому правилу рикотты, а отнюдь не ихъ бдительности, обязана Сицилія тѣмъ, что въ ней не разростается противоестественный развратъ Парижа, Лондона, Неаполя, Константинополя. За нарушение этого правила — «ti tagghiu a facci!.. Я тебѣ разрѣжу морду!»... То есть — опять-таки —sfregio! Равнымъ образомъ рикоттаро имѣетъ право наложить veto на гостя, если замѣчаетъ, что la ganza увлекается имъ уже не по ремеслу. Иначе — рѣзня и sfregio.

Освободить женщину отъ власти рикоттаро очень трудно, а насильно, противъ его воли, врядъ ли даже и возможно, развѣ что рѣзаться со всею его бандою. Если упрятать рикоттаро въ тюрьму, то именно въ это время жертва обязана особенно заботиться о немъ, и банда строго

слѣдить за исполненіемъ ею своего долга. Разводъ въ этомъ дикомъ, рабскомъ бракѣ допустимъ только по произволу рикоттара. И смотрите, какое крючкотворство уже въ такомъ первобытномъ *jus infernale!* Формула, которою рикоттарь долженъ отпустить свою *ganza* на волю, гласить:

— *Ti lascio franca e libera...*

Конецъ фразы неудобенъ къ печати. Эти же пять словъ, въ данномъ случаѣ, можно перевести по-русски:

— Ты свободна отъ постоя и сама себѣ госпожа.

Но рикоттаро можетъ остановиться на полужразѣ:

— *Ti lascio franca...*

И это освобождаетъ женщину отъ его прекрасной особы, но осуждаетъ ее на своеобразное вдовство: она не имѣетъ права сойтись съ кѣмъ либо въ прочную связь, такъ какъ она—только *franca*, но не *libera!* Иначе—*sfregio!*

Чтобы вымолить себѣ разводъ, женщина должна обладать неутомимою настойчивостью, рисковать не только величайшими скандалами и срамомъ, но иногда даже жизнью. Рикоттарь отпускаетъ свою жертву на свободу, только убѣжденный (обыкновенно товарищескими совѣтами), что баба окончательно отбилась отъ рукъ и ничего вельзя извлечь изъ нея. Но самолюбіе не позволяетъ ему терпѣть вблизи себя женщину, отказавшуюся отъ его «любви». Поэтому обыкновенное условіе развода—выѣздъ женщины въ другой городъ. Право остаться въ Палермо она можетъ купить лишь согласіемъ подвергнуться какому либо изъ пяти символическихъ позорныхъ *sfregio*.

Удивительнѣе всего, что, въ цѣпяхъ подобныхъ отношеній, женщины все-таки ухитряются обманывать своихъ свирѣпыхъ повелителей. По наивному ученію палермитанскаго «дна», дѣвица легкаго поведенія можетъ считать себя устроившеюся въ порядкѣ, когда у нея есть пять постоянныхъ друзей: два гласныхъ—*il ricottaro innamogato*, властелинъ жизни ея, и *lo sborsante*, тароватый кошелекъ, и три тайныхъ, тщательно скрываемыхъ и отъ *inna-*

morato, и отъ sborsante. I азумѣется, всѣ эти господа вѣчно подозреваютъ и ищутъ другъ друга, а когда находятъ— начинается рѣзня и пальба изъ револьверовъ.

Гораздо чаще освобождаетъ женщинъ отъ крѣпостной зависимости просто давность и годы рикоттара. Тридцать лѣтъ—предѣльный возрастъ рикотты. Къ этому сроку каждый рикоттаръ норовитъ остепениться, взявъ се ѣ законную супругу съ приданымъ, и превращается въ миргаго буржуа, il piccolo borghese. Полное перерождение! Бывали случаи, что изъ самыхъ буйныхъ и опасныхъ рикоттаровъ выходили столпы благонадежности...

Остается загадка:

— Женщины знаютъ, какую каторгу несетъ имъ «любовь» рикоттаро, — зачѣмъ же они идутъ на эту галеру?

Одинъ почтенный инокъ на такой вопросъ отвѣтилъ мнѣ аллегорически:

— Повѣрьте, что грѣшники въ аду тоже предпочитаютъ, чтобы ихъ мучилъ одинъ какойнибудь чортъ, а не все бѣсовское сонмище.

За спиною своего мучителя, чорта-рикоттара, проститутка чувствуетъ себя въ безопасности отъ другихъ чертей: хозяйки, ростовщицы (esattora), буйныхъ гостей, которые тоже одержимы духомъ мафіи... Кромѣ того, рикотта—старый, укоренившійся обычай. Считается «неприличнымъ», чтобы женщина не имѣла l'innamogato или чтобы онъ былъ не изъ рикотты. Такую женщину рикоттары замучаютъ насмѣшками, ругательствами, гнусными издѣвательствами, побоями. На свои протесты она получаетъ одинъ отвѣтъ:

— Молчи! Съ бабами не разговариваютъ. Если у тебя есть «мерзавецъ», высылай его на меня! (Mannami u to, schifiusu).

И, измученная десятками мерзавцевъ, женщина убѣждается, что единственный для нея исходъ—завести своего собственнаго «мерзавца» (schifoso, —schifufusu, по-сици-

ліански), чтобы онъ поставилъ между нею и остальнымъ міромъ дуло своего револьвера и лезвіе своего ножа.

Но уроды въ семьѣ не дѣлаютъ еще уродливою всю семью, и мафія за рикотту, хоть и близкая ей родственница, но не отвѣтчица. Въ сицилійской мафіи, правда, много индивидуальнаго буйства той старой вольницы, что устремилась нѣкогда съ сѣвера на югъ въ ладьяхъ скаandinavскихъ викинговъ и заставила всю Европу вопіять покаенныя молитвы:

— *A furore Normannorum libera nos, Domine!*

Правда, въ ней—въ дѣтищѣ волшебнаго острова, который такъ часто и такъ долго былъ любимую добычею норманнскихъ ушкуйниковъ—глухо кипятъ, странными пережитками, инстинкты и постоянно звучать завѣты Гаральда Гарфагара, Роберта Дьявола, Монреале, Фритъ-офа и нашего Васьки Буслаева:

А не вѣрую я Васька ни въ сонъ, ни въ чохъ.

Только вѣрую я Васька въ свой червленый вязъ...

Но столѣтія борьбы за существованіе, въ смѣлѣ правительствѣ, одно другого хуже, облагородили эту буслаевщину, сняли съ нея клеймо распущенности и ввели въ рамки рыцарскаго свободолубія, съ рыцарскимъ покровительствомъ всему, что слишкомъ слабо, чтобы самостоятельно защищать свою свободу. Я указаль уже, что для сицилійца Гарибальди и Донъ Кихотъ—*maffiosi*. Люди, для которыхъ идея религіи переходила въ идею свободы, и свобода становилась религіею, люди, какъ Фра-Дольчино или Мазаньелло, обожествляются въ Сициліи. Если бы народъ островитянь, древле потрясавшихъ могущество римской республики мистическими революціями рабовъ, зналъ о нашемъ Стенькѣ Разинѣ и протопѣ Аввакумѣ, онъ бы ихъ боготворилъ и сотнями тысячъ рисоваль на своихъ таратайкахъ, замѣняющихъ здѣсь лубочныя картинки, какъ теперь рисуетъ Мазаньелло, Гарибальди, Феличе Кавалотти... Потому что и

Стенька, и Аввакумъ—*maffiosi*, во всей полнотѣ и силѣ слова. Недаромъ же ихъ такъ любитъ Максимъ Горькій, который самъ — типическій и сильный *maffioso*, и въ которомъ Италия угадала это, симпатичное ей, отличіе и потому-то нигдѣ въ Европѣ общественная пріязнь къ Максиму Горькому не выразилась, въ трудные для него дни преслѣдованія русскою правительственною бюрократіей, съ болѣе громкою, дружескою и родственною энергіей, чѣмъ въ Италиі.

Эмиль Французъ написалъ когда-то въ романѣ «Борьба за правду» мощную славянскую фигуру гуцула Тараса; какъ онъ, отчаявшись въ австрійскомъ правосудіи, до императора включительно, сдѣлался разбойникомъ и наполнилъ Карпаты безпощаднымъ самосудомъ по началамъ библейскаго социализма. Этотъ Тарасъ—широкій прототипъ того, что представляютъ собою, въ миниатюрѣ, современные «цари мафіи» въ сицилійскихъ деревняхъ. Это — люди, столь прославленные твердою защитою своихъ правъ, что къ рыцарству ихъ прибѣгаютъ слабые: включи, молъ, мое право въ свое и защити, какъ свое! Антонино Кутрера, полицейскій инспекторъ въ Палермо, человѣкъ, посвятившій изученію сицилійскаго дна четырнадцать лѣтъ, и главный отрицатель мифа о «великой мафіи», рисуетъ такія картины. Положимъ, вы купили у сосѣда заглазно извѣстнаго вамъ хорошаго бычка. Заплатили деньги. Сосѣдъ приводитъ вамъ бычка, но не такого, какъ вы сторговали,—подмѣнилъ другимъ, съ изъяномъ. Вы не согласны принять обманнаго бычка, сосѣдъ увѣряетъ, что бычекъ—самый пастоящій, и не согласенъ вернуть деньги. Въ спорѣ вы, конечно, наговорили другъ другу множество непріятностей, поругались, чуть-чуть не подрались. Такъ какъ, по сицилійскимъ понятіямъ, къ суду въ такихъ случаяхъ обращаются только шпионы (*casci-tunni*), то остаются два обычные выхода изъ конфликта. Если вы человѣкъ сильный и способный постоять за себя,

вы говорите вашему противнику, какъ Альфіо въ «Сельской Чести»:

— Куманекъ Туридду, выйдемъ за виноградникъ, — я имѣю сказать вамъ два слова.

И, въ результатѣ двухъ словъ, ктонибудь —либо Альфіо, либо Туридду—останется лежать съ распоротымъ животомъ.

Но представимъ себѣ, что куманекъ Туридду имѣеть дѣло не съ Альфіо, а—ну, хоть съ матерью Сантуццы, дряхлую старою бабою, и та сама заступится за себя не въ состояніи. Въ такомъ случаѣ, въ одинъ прекрасный день, въ домъ Туридду входитъ очень почтенный и вѣжливый господинъ, и Туридду, безъ малѣйшаго удовольствія, узнаеть въ немъ мѣстнаго «царя мафіи».

— Добрый день, компаре Туридду!

— Добрый день, компаре Альфіо!

«Компаре» излагаетъ сконфуженному Туридду очень спокойно и очень обстоятельно причины посѣщенія. Вы обманули старуху бычкомъ и не хотите вернуть денегъ. Это нехорошо. Господь Богъ и святая Лючія велятъ платить долги и запрещаютъ обманывать беззащитныхъ людей. Вы, компаре Туридду, человѣкъ хорошій и, я увѣренъ, не платите только по капризу. Не упрямятесь же,—подурачились, показали свою волю, и довольно. Заплатите. Въ противномъ случаѣ, вамъ придется имѣть дѣло со мною. Старуха мнѣ жаловалась, и я принимаю ея дѣло, какъ свое. Я знаю васъ, вы знаете меня. Не будемъ ссориться, компаре Туридду, и покончимъ эту маленькую размолвку добрымъ миромъ.

Компаре Туридду очень хорошо знаетъ, что съ гостемъ шутки плохи: у него желѣзныя руки, мѣткое ружье и мистическіе глаза, вполне убѣжденные: мы посланы Богомъ смотрѣть на міръ, чтобы не торжествовала неправда въ мірѣ. Компаре Туридду отлично понимаетъ, что если гость рѣшилъ споръ противъ него, и если у него нѣтъ никакихъ

возраженій, способныхъ переубѣдить «царя мафіи», то не найдется въ мірѣ силы—воспрепятствовать этому стальному человѣку зарѣзать его, какъ цыпленка. Поэтому онъ либо смиряется и платитъ, либо проситъ отсрочки.

— Очень хорошо, компаре Туридду. Когда вы въ состояніи заплатить?

Сроки назначаются довольно долгіе: мѣсяца два, три, полгода, и, обыкновенно, приспособленные къ какому либо мѣстному празднику или ярмаркѣ.

— Вы говорите, куманекъ Туридду: къ Успенью? Очень хорошо. Въ Успенье я увижусь съ нашею общео кумою и узнаю, какъ вы сдержали свое слово.

И — если Туридду заплатилъ, онъ, вмѣстѣ съ «царемъ мафіи», сидитъ въ Успенье въ деревенскомъ трактирѣ, и оба дружески пьютъ черное, сладкое, крѣпкое вино. Если же опять обмануль, совершается какъ-разъ тотъ финаль, что всѣмъ знакомъ по «Сельской Чести»: бѣгутъ по улицѣ испуганные люди и кричатъ:

— Тамъ, за оврагомъ, убили Туридду!

Нѣтъ ничего труднѣе, какъ раскрыть мафіозное преступленіе, совершенное по такому соломонову приговору, сливающему въ «царѣ мафіи» судью и палача. Эта трудность, конечно, также поддерживала вѣру въ широкія организациі «великой мафіи», будто бы помогающей убійцѣ прятать концы въ воду и сбивать судъ и полицію съ прямого слѣда многообразнымъ и единодушнымъ сообщничествомъ. Однако, и Кутрера, и Аллонджи, и анонимный пьемонтскій соціологъ, издавшій о Сициліи преумную и полную живыхъ наблюденій книгу въ 1892 году, въ одинъ голосъ признаютъ, что сообщническія организациі никогда, нигдѣ, ни въ одномъ мафіозномъ дѣлѣ не обнаружались хотя бы краешкомъ уха своего, но зато нравственное сообщничество населенія съ убійцею, откровенное ему доброжелательство и посильная помощь несомнѣнны почти въ каждомъ случаѣ сельскаго самосуда. Если даже нѣтъ

прямого сочувствія и соучастничества, то есть убѣжденное попустительство, истекающее изъ инстинкта все той же omerta:

— Устраивай самъ свои дѣла, не пускай въ нихъ никого чужого и не суй носа въ чужія дѣла; пусть ихъ устраиваютъ между собою тѣ, кого они касаются.

Допросъ свидѣтелей въ Сицилиі—злѣйшая мука для судебного слѣдователя. Люди моментально глупѣютъ до ідіотизма, ничего не знаютъ, ничего не видѣли, ничего не слышали.

— Позвольте! но вѣдь доказано, что вы были въ такомъ-то часу на такой-то улицѣ.

— Былъ.

— Единственно мимо васъ могъ пройти убійца. Видѣли вы кого нибудь съ ружьемъ?

— Какъ будто видѣлъ.

— Вы его признали?

— Нѣтъ.

— Какимъ онъ вамъ показался?

— Никакимъ не показался. Совсѣмъ неизвѣстный мнѣ человѣкъ.

— Опишите его наружность.

— Не разглядѣлъ. Неизвѣстный человѣкъ.

— Развѣ въ вашей деревнѣ такъ много бываетъ неизвѣстныхъ людей, что вы даже не обращаете на нихъ вниманія?

— Я былъ занятъ работою.

— Вамъ не показалось страннымъ, что неизвѣстный человѣкъ разгуливаетъ по вашей деревнѣ съ ружьемъ?

— Я думалъ: охотникъ изъ города.

— Развѣ на немъ было городское платье?

— Не разглядѣлъ. Я былъ занятъ работою.

— Почему же вы думали?

— Такъ.

Это—образчикъ, съ натуры, сравнительно удачнаго

допроса, когда свидѣтель «болтаетъ». Другіе либо молчать, какъ рыбы, либо, наоборотъ, усиленно городяты чепуху, чтобы путать данныя времени и мѣста, приплетаютъ къ дѣлу лицъ, которыхъ alibi имъ завѣдомо, обращаютъ слѣдствіе въ хаосъ, а слѣдователя доводятъ до отчаянія—волосы дыбомъ!

И изъ всѣхъ свидѣтелей самый безнадежный—Туридду, потерпѣвшій, если Альфіо не уложилъ его наповаль и осталось ему время поговорить съ духовникомъ, врачомъ и полицейскимъ. Честь обязываетъ сицилійца умереть молча, не назвавъ своего убійцы ни предъ свѣтскою, ни предъ духовною властью міра сего:

Si campu, t'allampu,  
Si moru, ti pirdugnu!—

Таковъ завѣтъ палермитанской рикотты, которая представляетъ собю хулиганскій отбросъ, худшую часть мафіи—притомъ городской мафіи, утратившей и на мелочи размѣнявшей патріархальную свою суровость. Это значитъ:

Буду живъ—тебя убью,  
А умру—тебя прощу!

Антонино Кутрера, на вѣку своемъ, поднималъ въ темныхъ переулкахъ Палермо десятки юношей, съ разрѣзанными животами и прострѣленными легкими. Обливаясь и захлебываясь кровью, «рикоктаръ» думаетъ только объ одномъ: какъ бы не осрамить своей рыцарской чести, не проговориться объ убійцѣ, и, на вопросъ слѣдователя, лепечетъ косившимъ языкомъ:

— Не знаю... Неизвѣстный человѣкъ... Набѣжалъ въ темпотѣ и ударилъ... Неизвѣстный человѣкъ...

— Кого вы подозрѣваете?

— Никого не подозрѣваю... У меня нѣтъ враговъ... Набѣжалъ впотьмахъ и ударилъ... Неизвѣстный человѣкъ...

Одна палермитанская уличная пѣсня рисуетъ такую картину. Застрѣленнаго рикоттара отвезли въ больницу.

На улицѣ—два его друга, товарищи по рикоттѣ. Одинъ сталъ другому на плечи, засматриваетъ въ окно пріемнаго покоя.

— Что видишь?

— Лежить на столѣ. Докторъ вынулъ пулю, выполо-  
скалъ кишки и теперь зашиваетъ брюхо.

— Что слышишь?

— Докторъ спрашиваетъ:—Вы бы признались, молодой человекъ, кто нанесъ вамъ скверную рану, которая такъ рано уводитъ васъ съ веселой земли?

— Ишь ты!.. А онъ?

— Эхъ, докторъ, мнѣ заботиться объ этомъ поздно, а вамъ не къ чему... Мало ли по улицѣ ходить людей? Какъ угадать изъ нихъ того, кто васъ застрѣлитъ?

— Славный парень! (Giuvinì d'onurì).

— Законъ отомстилъ бы за васъ,—говорить ему докторъ.

— А онъ?

— Ну, что беспокоиться такой важной особѣ, какъ законъ, изъ-за меня, маленькаго человекъ? У меня есть друзья, у друзей есть ножи, а у того, кто меня убилъ, бока не изъ желѣза...

— Славный парень! Пойдемъ, отомстимъ за него!

Рикоттары, если они одной компаніи между собою, идеальнѣйшіе друзья въ мірѣ. За товарища рикоттарь дастъ разнять себя на части. Мщеніе за убитаго товарища—первый долгъ рикотты, столь же настоятельный, какъ «канла» у насъ въ Закавказьи. Обязанность кровной мести не искупается никакими компромиссами: жизнь—за жизнь, кровь—за кровь! Il sangue si seonta col sangue! И—конечно, чѣмъ скорѣе преступленіе находитъ свое наказаніе, тѣмъ больше чести мстителю. Но бываютъ такіе случаи. Джанни убилъ Чезаре. Другъ Чезаре, Карло, ищетъ убить Джанни и подстерегаетъ его въ узкомъ переулкѣ. За Джанни по пятамъ гонится полиція, и, между карабиньерами и Карло, онъ—

какъ крыса въ западнѣ. Но достаточно Джанни дать понять Карло, что его ловятъ, и Карло не только свободно пропустить врага мимо себя, но еще и постарается указать ему дорогу къ вѣрному убѣжищу, а карабиньеровъ сбить съ пути, задержать, навести на фальшивый слѣдъ... Но старыхъ счетовъ подобныя великодушія отнюдь не погашаютъ. Одинъ уличный рыцарь помогъ другому рыцарю противъ «сволочи», отъ коей рыцарямъ непристойно погибать,—un giuvinì d'onugì (человѣкъ чести) исполнилъ свою общественную обязанность по отношенію къ другому такому же, и оба они—ничѣмъ другъ другу не должны. Завтра, при удобныхъ обстоятельствахъ, Карло сочтетъ своимъ долгомъ пристрѣлить наканунѣ спасеннаго имъ Джанни, если только Джанни не успѣетъ раньше воткнуть ножъ въ горло своему вчерашнему спасителю Карло. Когда между рикоттарами разыгрываются ихъ страшныя дуэли, въ которыхъ сохранились еще средневѣковые обычаи и нравы, и секунданты противниковъ рѣжутся между собою съ неменьшимъ озлобленіемъ, чѣмъ сами дуэлянты, — то, въ случаѣ полицейскаго переполоха, первая, единственная и общая забота—чтобы никто не попался. Убитыхъ и раненыхъ бросаютъ на мѣстѣ, гдѣ они упали, и удираютъ вразсыпную—и друзья, и враги, кто куда гораздъ.

— Когда покойникъ сдѣланъ, надо думать о живыхъ!

— Мертвые просятъ могилы, а живые хотятъ жить!

— Если я умру, меня похоронятъ, если останусь живъ, похоронятъ моего врага.

— Не хорони мертваго, отмсти за него!

Таковы пословицы изъ кодекса мафіи. Ненависть мафіозовъ къ правительственному вмѣшательству въ бытательскіе нравы настолько энергична, что, по мнѣнію большинства, отъ клятвы молчанія не избавляетъ даже смерть: за гробомъ, въ качествѣ привидѣнія, *giuvinì d'onugì* связанъ ею столько же крѣпко и безповоротно, какъ живой. Въ одной народной балладѣ плачущая и жаждущая мести мать чарами

оживляетъ трупъ убитаго сына, чтобы опъ подтвердилъ, что человѣкъ, арестованный по подозрѣнію въ его убійствѣ,—дѣйствительно, тотъ самый, кто его зарѣзалъ. Но мертвецъ оказался настоящимъ *giuvinì d'onuri* и *galantuomo di omerta*.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ покойникъ,—этого парня напрасно забрали. Кто меня убилъ, это знаетъ Богъ. А меня не спрашивайте: я ничего не знаю.

— Очень часто,—говорить Кутрера,—карабиньеры, заглянувъ въ какую нибудь остерію, слышатъ шумъ и видятъ молодыхъ людей, съ примѣтами рикоттаровъ, за бутылками вина и жестяными кружками. Мы очень хорошо соображаемъ, въ чемъ дѣло: это прелюдія къ дуэли, т. е. къ рѣзнѣ. Оскорбленный *maffioso* очень рѣдко сводитъ счеты съ оскорбителемъ тутъ же, на мѣстѣ оскорбленія. Это—дурной тонъ, манера неаполитанскихъ каморристовъ, приемъ каторжниковъ. Палермитанскій *giuvinì d'onuri*, прежде всего, отдастъ оскорбленіе на судъ своихъ друзей. И вотъ—обычай требуетъ, чтобы обиженный и обидчикъ сошлись поговорить, за виномъ, въ присутствіи секундантовъ—обсудить дѣла (*ragionare*). Это пустая формальность, которая никогда не ведетъ къ примиренію. Во-первыхъ, каждый изъ противниковъ дѣлаетъ все отъ него зависящее, чтобы помѣшать примиренію, потому что больше всего на свѣтѣ боится, не сочли бы его трусомъ, не заподозрили бы, что жизнь для него дороже чести. Во-вторыхъ, рассуждая, компанія пьетъ много вина и отъ *ragionare* переходятъ къ *disputare*, т. е. начинаютъ горячиться, снова ругаются и оскорбляютъ другъ друга. Тогда секунданты или, по нашему, кумовья, *compagni*, объявляютъ вооруженное столкновение неизбѣжнымъ:

— Честь требуетъ крови. Деритесь!

— Вы верхомъ?—вѣжливо спрашиваетъ оскорбленный оскорбителя.

Быть верхомъ (*a cavallo*) значитъ—имѣть при себѣ

оружіе, равное съ противникомъ. Если оба верхомъ, смертный бой происходитъ немедленно, въ первомъ удобномъ закоулкѣ. Если нѣтъ, рыцарскій законъ мафіи, которой юношеское и городское отдѣленіе есть рикотта, велитъ отложить дуэль до условленной встрѣчи въ такой-то часъ, въ такомъ-то мѣстѣ. Не считается нисколько позорнымъ также просить отсрочки, хотя бы и довольно продолжительной, для устройства своихъ дѣлъ, особенно, если вызванный имѣетъ на рукахъ какія либо чужія порученія, не исполнить которыхъ или не сдать, на случай смерти, кому нибудь изъ вѣрныхъ друзей было бы въ ущербъ его чести и доброй памяти. Эти правила, впрочемъ, соблюдаютъ между собою и парижскіе «апаши». Но, какъ скоро срокъ установленъ, не явиться къ мѣсту и часу рѣзни—для рикоттара нравственная смерть: онъ опозоренъ, онъ объявляется внѣ закона мафіи, каждый оскорбляетъ его, какъ хочетъ, и онъ уже не имѣетъ права требовать удовлетворенія. Онъ уже не *giuvinì d'onori*, не челоуѣкъ чести, а просто *schifusù*: «мерзавецъ». Въ концѣ концовъ, воспользовавшись замѣшательствомъ какой нибудь вертепной драки, несчастнаго пришибаютъ, какъ собаку, и—по немъ нѣтъ мщенія. Еще болѣе плачевна, разумѣется, участь тѣхъ трусливыхъ предателей, которые, чтобы предотвратить опасность дуэли, предупреждаютъ полицію и вообще берутъ мѣры увильнуть отъ принятаго поединка. Такимъ горемыкамъ единственное средство спастись отъ позорной казни (мафія умѣетъ убивать скандально и вычурно)—спѣшная эмиграція за океанъ. Но въ этотъ грѣшокъ, весьма частый у дуэлистовъ высшаго общества, сицилійскіе мафіозы впадаютъ крайне рѣдко (чего нельзя сказать о парижскихъ апашахъ), настолько рѣдко, что онъ почитается въ ихъ средѣ почти неслыханнымъ и баснословнымъ.

Итакъ, группа рикоттаровъ сидитъ и разсуждаетъ. Слова дышать злобою, рѣчи ненавистны, жесты ужасны. Противники уже укусили другъ друга за ухо и условливаются:

ножь или револьверъ? Но вотъ кто нибудь изъ компаніи замѣтилъ треуголку, плюмажъ, либо просто тѣнь карабиньера или стража общественной безопасности. Мгновенно вся сцена мѣняется. Въ остерію—ни одного злобнаго лица, ни одного крупнаго слова. Враги, только что кусавшіе другъ друга за ухо, сидятъ, обнявшись, объясняются въ любви, даже цѣлуются. Guardia очень чувствуетъ, что его надувають, но—привязаться не къ чему. Онъ отходитъ, не солоно хлебавъ, а *giuvinì d'opugì* возвращаются къ прерваннымъ проектамъ взаимной рѣзни.

Борются съ этими безобразіями мафіи и рикотты полиція совершенно безсильна—какъ явная, такъ и тайная. Вѣрнѣе будетъ, впрочемъ, сказать, что тайной полиціи, т. е. сыскной для уголовныхъ дѣлъ, въ Сициліи нѣтъ и быть не можетъ: иностранецъ-полицейскій, хотя бы и съ Апеннинскаго полуострова, слишкомъ чужакъ для островитянъ, чтобы оказаться въ ихъ средѣ удачнымъ сыщикомъ. А что касается самихъ сицилійцевъ, то *omerta* съ сыскомъ не вяжется: люди, обзывающіе шпионами (*cascitunni*) даже тѣхъ, кто лишь предпочитаетъ самоуправству жалобу въ законный судъ, разумѣется, въ шпионы не годятся. Полиція и туземное населеніе Сициліи—открыто враждебныя стороны. Тѣ «благонамѣренные элементы» мелкой буржуазіи, на которые опирается полицейскій сыскъ въ большихъ городахъ Европы: кабатчики, трактирные слуги, дворники и т. п., въ Палермо ему не помощники. Они сами, въ большинствѣ, недавно были въ рикоттѣ, и всѣ ихъ симпатіи на сторонѣ мафіозной анархіи. Да и страхъ къ мафіи гораздо больше страха къ государству. Въ Парижѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, Петербургѣ, Лондонѣ однимъ изъ важнѣйшихъ орудій сыска являются публичныя женщины. Въ Палермо—наоборотъ: преслѣдуемый рикоттаръ часто бросается въ первый попавшійся ему на пути, хотя бы и незнакомый, притонъ, и никогда не ошибется въ расчетѣ найти самую энергическую помощь и вѣрное убѣжище. Самое важное для рикоттара, въ такихъ

условіяхъ, чтобы облава не взяла его съ оружіемъ, — и вотъ, по скриванію оружія-то отъ обысковъ, проститутки Палермо — чуть ли не первая въ мірѣ специалистки. Пяти минутъ не прошло, какъ рикоттаръ ворвался въ притонъ, а полиція застаётъ его уже переодѣтымъ, спокойнымъ, мирно курящимъ сигару среди погибшихъ, но милыхъ созданий, и тѣ встрѣчаютъ представителей власти наивно изумленными взорами. Съ Кутрера былъ такой случай. Одинъ рикоттаръ подстерегъ другого при выходѣ изъ вертепа и нанесъ ему смертельную рану огромнымъ хлѣбнымъ ножомъ, украденнымъ изъ общественной пекарни: это — широчайшая желѣзная полоса, настоящій топоръ гильотины. Полиція схватила убійцу почти на мѣстѣ преступленія: онъ лишь на минутку вошелъ въ тотъ самый вертепъ, у дверей котораго разыгралась кровавая драма. И вотъ этого короткаго перерыва въ облавѣ было достаточно, чтобы огромный ножиче пропаль, какъ булавка въ стогу сѣна, а убійца, строя невинное лицо, восклицалъ:

— Я умертвилъ Джиджи?! О, святая Лючія! О, святая Розалія! Да чѣмъ же, наконецъ? Хоть всего меня выверните наружу, вы не найдете на мнѣ ни кусочка стали...

Обыскъ въ притонѣ, хотя и самый лютый, не привелъ ни къ чему. Въ обыска полицейскіе оставили только одну женщину — любовницу убитаго Джиджи, потому что она обожала покойнаго и теперь была въ полномъ отчаяніи: бѣсновалась, терзала на себѣ платье, взывала о мести, рвалась выдрать глаза убійцѣ. И все это вполне искренно, потому что впоследствии она ему, дѣйствительно, жестоко отомстила. Ну, а во время обыска роковой ножъ-то былъ все-таки у нея.

Что касается политики, то анархическій принципъ мафіи — не признавать никакого правительства, собственно говоря, ставитъ ее внѣ всякой политики. Но, къ сожалѣнію, подонки палермитанскихъ улицъ часто толкуютъ этотъ гордый отрицательный принципъ навыворотъ, въ положительной

верси: всѣ правительства никуда не годятся,—значить, по мѣрѣ выгоды, можно служить каждой политикѣ безъ стѣсненія и безъ разбора. Поэтому мафіозные элементы играютъ очень значительную роль при муниципальныхъ и парламентскихъ выборахъ, и кандидаты на общественныя должности очень ищутъ симпатій и у королей мафіи, и у буйной рикотты, съ ея горластою молодежью, неустрашимою, безцеремонною и, при случаѣ, кровожадною. Но такъ какъ сицилиецъ всегда недоволенъ тою партіей, которая беретъ верхъ и становится правительствомъ, то зыбкость политическихъ симпатій мафіи поразительна. Самымъ яркимъ историческимъ ея примѣромъ можетъ служить эпоха освободительной войны, когда однѣ и тѣ же толпы попеременно оказывались то подъ знаменами Гарибальди, то подъ знаменами Бурбоновъ, отливая и приливая въ соотвѣтствіи успѣху. Это—римская международная чернь пополамъ съ «переметными сумами» нашего Тушина.

Вопросъ о политическомъ значеніи мафіи—обычная, но очень искусственная игрушка, побывавшая въ рукахъ всевозможныхъ партій. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, поскольку на политикѣ страны отзывается народная психологія, постольку и духъ мафіи играетъ роль въ судьбахъ Сицилии. Но приписывать мафіи политическую организацію еще нелѣпѣе, чѣмъ уголовную. Не-политическій, чисто бытовой характеръ городской мафіи слишкомъ очевиденъ, и на его опасностяхъ сицилійскіе политиканы не такъ упорно настаиваютъ. Но сельская мафія, съ ея патріархами-королями, уважаемыми и вліятельными въ населеніи, внушаетъ имъ большой страхъ. Сицилія—страна латифундій. Аристократія, ими владѣющая, выродилась до столь жалкаго ничтожества, что въ хорошемъ итальянскомъ обществѣ кличка «сицилійскій баронъ» равносильна нашему «пошехонцу». Экономическая рознь землевладѣльческаго класса съ безземельнымъ крестьянствомъ остра и велика, взаимоненависть беспредѣльна. Жизнь «сицилійскаго барона»,

если онъ обитаетъ въ своемъ имѣніи, — цѣпь дикихъ страховъ, порождаемыхъ нечистою совѣстью слишкомъ сытаго среди слишкомъ голодныхъ. И, притомъ еще, — поразительный фактъ вырожденія расы средневѣковыхъ конквистадоровъ: насколько храбръ и независимъ сициліецъ въ низшихъ слояхъ общества, настолько онъ трусъ въ высшемъ дворянствѣ. Въ вѣчной боязни своихъ, фактически полукрѣпостныхъ, земленанимателей и рабочихъ, подъ постоянною угрозою мафіознаго самосуда. Эти господа, первые, изобрѣли мифъ о «великой мафіи», какъ о какомъ-то таинственномъ заговорѣ преступныхъ нищихъ противъ собственности и жизни богатыхъ. Наибольшимъ успѣхомъ мифъ о «великой мафіи» пользовался въ концѣ шестидесятихъ годовъ. Но, раздувая легенды его, синьоры-миѳологи переусердствовали: они компрометировали страну въ глазахъ иностранцевъ, солидные туристы струсили и стали избѣгать Сициліи, а эксцентрики изъ англичанъ и американцевъ, наоборотъ, схватились за «великую мафію», какъ за красивую романтическую находку, и наплели по ея канвѣ самыхъ невѣроятныхъ кружевъ. Взаимодѣйствіемъ всѣхъ этихъ вольныхъ и невольныхъ лжей вышло, что мифъ получилъ реализацію: люди такъ долго пользовались легендами о мафіи и разбойничествѣ для политической игры, что, въ концѣ концовъ, сами въ нихъ повѣрили.

— Нѣтъ ничего смѣшнѣе нашихъ феодаловъ, — говоритъ Кутрера, — когда гдѣ нибудь по близости къ ихъ владѣніямъ приключится что либо мафіозное... un caso di mafia. Имъ уже мерещатся возстанія, убійства, поджоги, жакерія. Они бьютъ тревогу, бомбардируютъ Палермо и Римъ телеграммами, просятъ присылки войскъ. Дайте волю этимъ господамъ, и каждый изъ нихъ потребуетъ отъ правительства два полка солдатъ для охраны своей драгоценной особы.

Напоминаю, что это презрительное мнѣніе — отзывъ не социалиста и не анархиста какого нибудь, но, напротивъ,

правительственнаго делегата общественной безопасности, т. е., по нашему, участковаго пристава. Жалкую аристократію латифундій презираетъ даже полиція, призванная ее охранять. Мало-по-малу, сицилійская буржуазія постигла всю нелѣпность, неудобство и невыгодность систематической диффамациі своего полуострова предъ цѣлымъ свѣтомъ, какъ пріюта какой-то безсмысленной, безпредметной, отвлеченной анархіи для анархіи, и, съ конца восьмидесятыхъ годовъ, цѣлый рядъ мѣстныхъ авторовъ и итальянскихъ путешественниковъ усиленно борется съ аристократическими сказками о «великой мафіи». Къ первымъ девяностымъ годамъ относится та анонимная «*Sicilia*» пьемонтскаго путешественника-депутата, гдѣ я впервые встрѣтился съ умными и рѣшительными доказательствами баснословія мафіи, впоследствии основательно подтвержденными и Кутрера, и Аллонджи, и личнымъ опытомъ. Въ Сициліи за миею о мафіи хватается всякій, кому нужно оружіе для политической полемики. Духовенство кричитъ, что мафія—родъ простонароднаго франкмасонства и держится масонскимъ покровительствомъ. Масоны утверждаютъ, что мафія—тайный клерикальный заговоръ, способный вырѣть въ новую вареоломеевскую ночь. Радикалы клянутся, что мафію организуютъ сельскіе кулаки, при негласной терпимости правительства, чтобы сплотить крестьянство въ неподвижно-консервативную силу. Реакціонеры проклинаяютъ мафію, какъ Панургово стадо, слѣпо идущее на поводу радикальныхъ демагоговъ. Словомъ, нѣтъ такого оттѣнка въ призмѣ политическихъ свѣтовъ, который не укладывался бы въ футляръ мафіи и не приходился бы ей, какъ по Сенькѣ шапка.

Буржуазія, разрушившая аристократическій миею о мафіи, однако, сама схватилась за него, какъ скоро показалось ей выгодно. Девяностые годы были очень бѣдственны для Сициліи. Неурожаи, филлоксера, изверженіе Этны и кризисъ сѣрныхъ добычъ добибли благосостояніе народа, и

безъ того уже съ трудомъ влачившаго существованіе. Какъ утопающій за соломинку, схватился сицилійскій крестьянинъ за социалистическія надежды—за поддержку рабочихъ и аграрныхъ союзовъ (fasci). Призракъ социализма встревожилъ испуганныхъ буржуа, и быстро развивающійся ростъ fasci былъ немедленно приписанъ коварному соучастію «великой мафіи». И—въ то время, какъ социалисты объявляли мафіей сельское кулачество, буржуазія рисовала мафію, какъ типъ социалистическаго заговора. Слова «мафія» и «разбойничество» золотыя для всѣхъ, кто нуждается въ охранѣ своего благосостоянія правительственными средствами, потому что правительство въ мафію вѣрить, или дѣлаетъ видъ, будто вѣрить,— по крайней мѣрѣ, на зовы укрощать мафію откликается достаточно охотно. Бываютъ эпидеміи мафіознаго страха, когда вся внутренность Сициліи покрывается крошечными солдатскими патрулями, долженствующими ловить неуловимое. О разбойничествѣ сицилійскомъ я поговорю особо въ другой разъ, потому что этотъ трагикомическій институтъ мѣстной жизни существуетъ отдѣльно отъ мафіи и не на ея почвѣ развивается. Онъ только сосѣдній съ нею. Здѣсь скажу лишь, что сицилійское разбойничество болѣе жалко, чѣмъ страшно, и не заключаетъ въ себѣ ни капли романтической красоты, какая предполагается, да, пожалуй, отчасти и въ самомъ дѣлѣ есть у—тоже очень рѣдкихъ—калабрійскихъ рыцарей ущелій, вродѣ знаменитаго Музолино, нынѣ умирающаго въ Болонѣ въ домѣ умалишенныхъ. Что касается мафіи, то не было ни одного процесса подтвердившаго возможность ея существованія, не исключая знаменитаго дѣла въ Марсалѣ, съ 109 подсудимыми. Тамъ полиція до такой степени старалась открыть мафіозную организацію, что сама принялась устраивать и провоцировать мафіозные акты. Но гласное разбирательство дѣла выяснило всѣ подлоги обвиненія, вольные и невольные, и общественному мнѣнію Италіи было надъ чѣмъ посмѣяться,

было отчего негодовать. Нѣкоторые мелкіе мафіозные процессы выяснили преступныя «организаціи»,—вѣрнѣе сказать, шайки мальчишекъ, человѣкъ по девяти, которые, наслушавшись сказокъ о великой мафіи и, не находя къ ней путей, сочиняли сами свою собственную мафію и начинали играть въ атамановъ просто и въ великаго атамана. Самый продолжительный срокъ подобной игры—три недѣли: затѣмъ атаманъ обязательно сидятъ за рѣшеткою и искупаютъ свои шалости принудительнымъ трудомъ не на слишкомъ, впрочемъ, долгое время. Взрослыхъ, за тридцать лѣтъ, участниковъ въ подобныхъ «организаціяхъ» никогда не бываетъ. Это—наилучшая характеристика, что въ нихъ общество встрѣчается не съ мафіей, а только съ шутками рикотты, такъ какъ, —я говорилъ уже,—тридцать лѣтъ считаются предѣльнымъ возрастомъ для рикоттара, когда надлежитъ ему остепениться и изъ хулигана высокаго или низкаго полета обратиться въ мирнаго обывателя, устрояющаго домъ свой. Мнѣ показывали въ Палермо богатаго и очень моднаго адвоката, который, въ свои студенческіе годы, былъ однимъ изъ самыхъ наглыхъ и буйныхъ рикоттаровъ—грозою падшихъ женщинъ и дурнымъ сномъ полиціи. А въ тридцать лѣтъ—какъ отрѣзалъ: легъ спать рикоттаромъ, всталъ поутру порядочнымъ человѣкомъ и теперь, по достоинству, считается однимъ изъ лучшихъ общественныхъ дѣятелей палермитанской муниципалитетіи. Для множества сицилійскихъ юношей рикотта, при всѣхъ ея скверныхъ сторонахъ, не болѣе, какъ видъ дурно направленнаго, но скоро преходящаго буршества.

Любопытно, что мафія имѣетъ очень ясно выраженныя географическія границы. Ея столица Палермо и Сопра д'ого, затѣмъ она распространяется по западному берегу Сициліи, обостряясь въ Марсалѣ, и уходитъ внутрь полуострова. Столица сельской мафіи—Чефалу. На восточномъ берегу—въ Катаніи, Мессинѣ, Сиракузахъ мафіи нѣтъ. Словомъ, этнографически выходитъ такъ, что мафія—не-

премѣнное достояніе тѣхъ пунктовъ Сициліи, гдѣ преобладали арабы, норманны и кастильцы, и отсутствуетъ тамъ, гдѣ до сихъ поръ рѣзко выражень и господствуетъ греческій типъ.

1905.

---

## Эрнестъ Поссартъ.

---

Для Петербурга Эрнестъ Поссартъ— имя мертвое. Да и въ Москвѣ младшія поколѣнія его уже не помнятъ. Онъ волновалъ воображеніе и былъ царемъ молодой мысли тѣхъ москвичей, кому теперь около сорока и выше лѣтъ. Объ этомъ же московскомъ поколѣніи — надо прямо сказать: если театр, вообще, можетъ имѣть воспитательное значеніе, то у насъ было трое воспитателей, въ лучшемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова: Ермолова, Эрнесто Росси и Эрнестъ Поссартъ. Выбираю послѣднія два имени изъ безчисленной череды заграничныхъ гастролеровъ не только по исключительной силѣ ихъ дарованій, но и по продолжительности ихъ вліянія на московскую публику. Гастролеровъ талантливыхъ, вдохновенныхъ, часто таже геніальныхъ, мы пересмотрѣли великое множество, но огромное большинство ихъ пронеслось метеорами, и послѣ нихъ въ памяти остались скорѣе блестящіе миѳы, чѣмъ реальныя впечатлѣнія. Эрнесто Росси очень любилъ Россію и русскую публику, находя ее самую чуткою и интеллигентною въ театральномъ смыслѣ на всемъ земномъ шарѣ. Поэтому, на старости лѣтъ,—когда его артистическія поѣздки устраивались уже не столько для денежной прибыли, сколько по органической невозможности для старика разстаться со сценою, на которой онъ проработалъ пятьдесятъ лѣтъ, не уставая и идя все впередъ и впередъ,—

Эрнесто Росси часто отклонялъ гораздо болѣе выгодныя предложенія, чтобы еще разъ проѣхать по Россіи. Нѣкоторые театральныя дѣльгешефт-махеры пронюхали эту слабость стараго великана и эксплуатировали ее ловко и нахально. Послѣдняя поѣздка Эрнесто Росси по Россіи— это мартирологъ... Особенно — на югѣ, гдѣ старикъ, замученный приступами сердечной болѣзни, для всѣхъ очевидной, но въ которую онъ одинъ не хотѣлъ вѣрить, игралъ до полного переутомленія, а его подбадривали убивать себя то лестью и восторгами, то пунктами контракта. Кончилось это тѣмъ, что на пути изъ Россіи Эрнесто Росси умеръ въ Анконѣ отъ разрыва сердца и упокоился на *Campro santo* во Флоренціи, подъ мраморомъ и цвѣтами... «Покойной ночи, милый принцъ!»

Другой иноземный воспитатель Москвы восьмидесятыхъ годовъ—Эрнестъ Поссартъ, слава Богу, благополучно здравствующій, былъ у насъ такимъ частымъ гостемъ, что одно время безъ Поссарта выходилъ какъ-то ужъ и сезонъ не въ сезонъ. Онъ былъ для Москвы настолько же своимъ, какъ, на примѣръ, для Петербурга свой—Адольфъ Клейнъ—если не ошибаюсь, ученикъ Поссарта. Необходимо мнѣ опять немного отвлечься, чтобы помянуть добрымъ словомъ одного очень скромнаго сценическаго дѣятеля, сыгравшаго, однако, громадную роль въ эстетическомъ развитіи тѣхъ русскихъ поколѣній, которыя я указалъ. Я говорю о покойномъ Георгѣ Парадизѣ. Было два Парадиза: одного—жалкаго, больнаго, бросающагося чуть не въ кафешантанныя предпріятія, лишь бы заткнуть глотки кредиторамъ,—хорошо помнятъ всѣ театралы. Другого—великолѣпнаго «директора» Парадиза, полнаго широкихъ эстетическихъ задачъ, носившагося съ идеей «всеевропейскаго театра», помѣшаннаго на классикахъ и великихъ актерахъ для классиковъ,—всѣ позабыли. А, между тѣмъ, именно этотъ чловѣкъ, въ восьмидесятыхъ годахъ, явился начинателемъ возрожденія долго потерянныхъ сношеній русскаго искусства

съ западнымъ. Хазе, Поссартъ, Барнай, Миттервурперъ, Зонненталь, Росси, Эмануэль, молодой Сальвини, Маджи, Кокленъ, Сара Бернаръ, Дузэ были впервые привезены въ Россію именно Георгомъ Парадизомъ. Особенно важны его заслуги, какъ impressario нѣмецкихъ трагиковъ, которыхъ онъ показывалъ въ отлично дрессированной и часто даже талантливой, собственной труппѣ. Я помню, напри- мѣръ, какъ вслѣдъ за Поссартомъ, въ гастролы котораго входила роль Яго въ «Отелло», гастролировалъ Барнай,— въ то время еще великолѣпнѣйшій Отелло, въ своемъ родѣ врядь ли уступавшій даже Томазо Сальвини,—и Яго, игравшій съ нимъ, все-таки, съ честью вышелъ изъ трудной задачи недавняго сравненія съ изумительнымъ Яго-Поссар- томъ. Правда, и ухитрился же этотъ актеръ (звали его Отмаръ) копировать своего великаго предшественника! Москва, улыбаясь, ѣздила смотрѣть не столько самый спектакль, сколько—какъ Отмаръ будетъ играть не Яго, но Поссарта въ роли Яго. Яго Поссарта былъ откровеніемъ для европейской сцены, какъ надо играть эту роль. До Пос- сарта Яго былъ извивающійся подлець, который уже одною гнусностью фигуры своей и шипомъ голоса своего давалъ на сто верстъ окружности предостереженія: вотъ идетъ архимощенникъ, коему нельзя повѣрить даже фальшиваго двугривеннаго.

Покойный С. А. Юрьевъ говорилъ о русскихъ испол- нителяхъ Яго:

— Смотришь и изумляешься: гдѣ же у Отелло глаза, что можетъ онъ не то что довѣрять подобному господину, а просто держать его вблизи себя... Очевидно, какъ бываетъ со многими полковниками, при производствѣ въ генералы, мавръ внезапно поглупѣлъ...

И вдругъ—Яго-Поссартъ. На сцену вышелъ краса- вецъ-мужчина, съ открытымъ лицомъ, съ прямымъ взгля- домъ, съ голосомъ, полнымъ честнѣйшихъ интонацій, сол- датъ, рубака, товарищъ, всѣмъ такъ и рѣжетъ въ глаза

правду - матку... человѣкъ, которому не то что наивный Отелло, а, какой хотите, знатокъ подлости человѣческой повѣрить по первому взгляду свои капиталы, домъ, жену, дѣтей. Рубаха-парень! Широчайшая натура! Что ни скажетъ, такъ вамъ прямо въ душу и просится. Ну, конечно, не очень-то онъ уменъ, бѣдняга, не очень-то воспитанъ, грубовать, учился на мѣдныхъ деньги, но, зато, душа! душа!.. И вотъ, когда, бывало, просмотришь пять актовъ этакого Яго-Поссарта, тогда понимаешь, почему Отелло—передъ самоубійствомъ—нагнулся осмотрѣть ноги своего лейтенанта: нѣтъ ли на нихъ дьявольскихъ копытъ?

Поссартъ! Поссартъ! Сколько воспоминаній!.. Былъ сезонъ, когда я смотрѣлъ Поссарта сорокъ два вечера подъ рядъ, въ двадцати роляхъ. Невѣрно считать Поссарта трагикомъ. Трагизмъ входитъ въ составъ его пестраго и гибкаго таланта, какъ одна изъ важнѣйшихъ сторонъ, но, по преимуществу, Поссартъ—актеръ сильныхъ и умныхъ настроеній, безразлично въ трагедіи ли, въ драмѣ ли, въ комедіи, актеръ характера, актеръ-публицистъ и философъ. Его лучшія роли въ классическомъ репертуарѣ—Ричардъ III, Мефистофель, Натанъ Мудрый (кажется, предѣльная точка его таланта), Яго, Манфредъ, Шейлокъ, въ современномъ—рабби Зихель, графъ Трасть («Честь»). Это актеръ не столько дѣйствія, сколько слова—слова, воплощающаго большую общественную идею, и мало мастеровъ на сценахъ всего міра, способныхъ состязаться съ Поссартомъ въ искусствѣ растолковать публикѣ все, что осталось подразумѣваемымъ между авторскими строками. Я не поклонникъ Эрнста Поссарта въ роли Гамлета, которую онъ играетъ съ декламационными приѣмами, вытьемъ и жестами старой романтической нѣмецкой школы. Но я не пропустилъ ни разу «Гамлета», когда его игралъ Поссартъ, потому что никто, какъ Поссартъ, не умѣлъ дать лучшихъ совѣтовъ актерамъ, никто не велъ тоньше и глубже сцены съ флейтою, никто грознѣе не уходилъ со сцены къ сви-

данію съ преступною матерью и никто не разъяснилъ такъ умно и трогательно, зачѣмъ Шекспиру понадобился философскій эпизодъ на кладбищѣ—съ отвлеченностями Гамлета, съ глубокомысленными пошлостями могильщиковъ. И зачѣмъ былъ еще изумительный моментъ: смерть Гамлета—столь прекрасная, многозначительная, великая въ молчаніи своемъ смерть, что болѣе красиваго и трогательнаго момента я не запомню въ своихъ театральныхъ впечатлѣніяхъ. Однажды я говорилъ съ Поссартомъ о натуралистическихъ изображеніяхъ смерти, введенныхъ на сцену Сарою Бернаръ.

— Ахъ,—возразилъ артистъ,—я не спору, можетъ быть, это и нужно... но дѣло-то все-таки не въ томъ, чтобы публика видѣла, что Гамлетъ умираетъ отъ растительнаго яда,—надо показать публикѣ, что человекъ, умирающій предъ нею отъ яда,—Гамлетъ.

И вотъ, смертей отъ мышьяка, опиума, нашатыря, синильной кислоты видалъ я на сценахъ европейскихъ много и, часто, гораздо подробнѣйшихъ, чѣмъ у Поссарта, но—какъ умираетъ Гамлетъ, показывалъ массѣ едва ли не только онъ одинъ,—кромѣ, развѣ Эрнесто Росси въ послѣдніе годы его жизни... раньше онъ слишкомъ внѣшне понималъ Гамлета, слишкомъ позировалъ, слишкомъ «танцевалъ роль»; но, придя къ глубокому проникновенію въ Гамлета уже старикомъ, Росси, на закатѣ карьеры и жизни, больше удивлялъ философскимъ чтеніемъ Шекспирова текста, чѣмъ «игрою»: для воплощенія Гамлета въ поэтическое явленіе сцены у великаго артиста уже не было физическихъ средствъ... То же самое въ Лирѣ—самомъ мощномъ и удачномъ изъ *трагическихъ* созданій Поссарта. Упрекъ ему за эту роль дѣлался въ томъ направленіи, что Поссартъ былъ всегда слишкомъ Лиромъ, безъ *короля* Лира, и что семейная трагедія, такимъ образомъ, выступала на первый планъ, заслоня общечеловѣческое распространеніе характера. Но королевскаго величія не доставало Эрнсту Пос-

сарту только въ первой сценѣ, да и то развѣ по сравненію съ такимъ царственнымъ львомъ, какъ опять-таки Эрнесто Росси, величайшимъ изъ всѣхъ знаменитыхъ Лировъ: съ нимъ, можно сказать, король Лиръ умеръ для европейскихъ сцѣнъ и — покуда—не воскресъ. А несправедливость второго упрека ясна уже изъ того, что лучшими мѣстами роли были у Поссарта монологъ «Вы, бѣдные нагіе несчастливцы!» и сцена сумасшедшаго Лира со слѣпымъ Глостеромъ, то есть наиболѣе глубокіе философско-публицистическіе моменты трагедіи. Тотъ же семейный оттѣнокъ, что не нравится инымъ въ Лирѣ-Поссартѣ, помогаль, однако, артисту дѣлать какъ-то особенно необычайно трогательною сцену свиданія Лира съ Корделіей: ни у кого изъ трагиковъ, исключая Эрнесто. Росси, публика не проливала столько слезъ во время этой сцены, какъ у Поссарта—да! у этого логическаго и разсудочнаго Эрнеста Поссарта, ославленнаго актеромъ необычайно умнымъ и искреннимъ, но столько же холоднымъ, великимъ виртуозомъ безъ нутра! Вызывать слезы онъ, впрочемъ, вообще, былъ великій волшебникъ! Помню сантиментальную пьесу «Die Tochter des Herrn Fabricius», гдѣ Поссартъ играетъ роль человѣка, только что вышедшаго изъ одиночнаго заключенія... Первый выходъ его на сцену—безмолвный, съ огромною паузою... И вотъ—раньше, чѣмъ Поссартъ произнесъ хотя бы одно слово, театръ уже рыдалъ: такое глубокое впечатлѣніе расшибленной, уничтоженной заживо жизни вносилъ онъ на сцену одною фигурою своею, однимъ мертвеннымъ гримомъ своимъ.

Эрнстъ Поссартъ—послѣднее слово германскаго сценическаго искусства, имъ закончился романтическій періодъ германской сцены, въ немъ начался періодъ реалистическій, котораго звѣздою сіялъ намъ повсемѣстный и постоянный соперникъ Поссарта, нынѣ, къ сожалѣнію, уже слишкомъ устарѣвшій Людвигъ Барнай. Въ противоположность послѣднему, Эрнстъ Поссартъ былъ не богато одаренъ

физическими данными, за исключеніемъ голоса, богатѣйшаго тенороваго баритона, который желѣзною энергіею въ постоянныхъ упражненіяхъ онъ развилъ въ діапазонъ и гибкость почти невѣроятные.

Онъ — первый декламаторъ и мелодекламаторъ въ Германіи, да, вѣроятно, и въ Европѣ. Для характеристики его въ послѣднемъ отношеніи достаточно указать, что однимъ изъ *chef-d'oeuvre* овъ Поссарта справедливо считается «Манфредъ» Байрона, съ музыкою Шумана, столь плачевно не дающійся равно нашимъ опернымъ и драматическимъ звѣздамъ, не исключая и Шаляпина... Я голосъ Эрнста Поссарта въ «Манфредѣ» и сейчасъ, чуть ли не черезъ пятнадцать лѣтъ, помню! Вообще, «Манфредъ» — одно изъ самыхъ поэтическихъ воспоминаній моихъ объ этомъ артистѣ. Здѣсь онъ достигалъ вершинъ романтической красоты. Это незабываемо!.. Это — что-то на границѣ говора и пѣнія. Это — декламация античной трагедіи.

Мнѣ вспоминается смѣшной случай, какъ къ Поссарту пришелъ одинъ русскій актеръ изучать роль Гамлета. Тотъ выслушалъ чтеніе молодого человѣка и говоритъ:

— Это не глупо, но куда не годится.

— А что же нужно?

— Прежде всего надо знать, на какихъ нотахъ вы говорите... *Sein oder nicht sein!* — воскликнулъ онъ и, подойдя къ піанино, взялъ аккордъ: вы слышите? вся фраза — уже тутъ она... Ну, и публика ее слышитъ..

Виртуозность и вышколенность Поссарта создавали ему много недоброжелателей въ эпоху, когда «нутро» обожалось столь высоко, что въ истерической Стрепетовой думали видѣть воскресеніе русской сцены, новые мочаловскіе дни. У Поссарта была привычка — забираться въ театръ чуть не за три часа до спектакля. Гримы его — нѣчто столь сложное, долгое, кропотливое, что — покуда Поссартъ дѣлаетъ себѣ лицо, покойный Айвазовскій написалъ бы

изрядную картину. Но зато — по гримамъ Поссарта Грютцнеръ создалъ цѣлую галерею Шекспировыхъ героевъ. Изъ уборной выходить уже не Эрнстъ Поссартъ въ такой-то роли, но Шейлокъ, Манфредъ, Фальстафъ, Лиръ. У Поссарта была привычка упражнять голосъ гаммами и декламаціей въ пустомъ театрѣ, при открытой сценѣ. Все это, пятнадцать-двадцать лѣтъ назадъ, было настолько чуждо русскому театру, что въ актерской массѣ возбуждало недоумѣніе и антипатію.

— Это онъ для рекламы!—увѣрялъ меня, напримѣръ, даже такой дѣльный человѣкъ и, вполнѣдствіи, самъ актеръ со школою, какъ покойный Н. Н. Соловцовъ.

Но именно—уже если кто не заботился о рекламѣ изъ наѣзжихъ гастролеровъ, такъ это Эрнстъ Поссартъ. Разнюхать нужныхъ для успѣха людей и сыграть на чьи либо вкусы было совершенно не въ его характерѣ. Извѣстно курьезное *qui pro quo* по этой части съ нимъ въ Москвѣ, когда злая и нехорошая шутка одного изъ пріятелей, выдавшаго Поссарту покойнаго критика «Московскихъ Вѣдомостей», С. В. Васильева-Флерова, за великаго русскаго писателя и новаго Вольтера, заставила трагика произнести на обѣдѣ, данномъ ему москвичами, очень неловкую рѣчь, преглупо поссорившую безъ вины виноватаго артиста именно съ тою передовою группою интеллигенціи, отъ которой зависѣло въ Москвѣ признаніе артиста обществомъ: съ кружкомъ С. А. Юрьева и др.

Въ этомъ бѣгломъ очеркѣ я, конечно, не могу претендовать на критическую оцѣнку всей дѣятельности Эрнста Поссарта, но мнѣ хотѣлось бы отмѣтить хоть главнѣйшія свѣтоточія пятна на этой большой картинѣ. Въ ряду специальныхъ особенностей Поссарта не должно быть забыто его вдохновенное мастерство на классическія роли евреевъ: Натанъ Мудрый, Шейлокъ, рабби Зихель. Изъ всѣхъ Шейлоковъ, какихъ я видалъ, а имъ числа нѣтъ, Шейлокъ Поссарта наиболѣе силенъ и ярокъ публицисти-

ческимъ протестомъ противъ гонителей семитической расы. Знаменитый рассказъ Натана о трехъ кольцахъ, — проповѣдь вѣротерпимости, быть можетъ, самое лучшее и глубокое, что создалъ Поссартъ за всю свою артистическую жизнь... Это—актеръ-мыслитель, актеръ-публицистъ въ полномъ смыслѣ слова. Оттого-то такъ богатъ онъ юморомъ, часто переходящимъ въ убійственную иронию. Есть роли, для меня истощенныя впечатлѣніемъ какого либо актера настолько, что другого въ нихъ уже не хочется и смотрѣть, какъ бы ни громка была его слава. Такъ исчерпанъ для меня Отелло — Томазо Сальвини и Барнаемъ, Ромео, Лиръ, Макбетъ, скупой рыцарь — Эрнесто Росси, Иоанна д'Аркъ и Марія Стюартъ—Ермоловой, рядъ драматическихъ ролей — Элеонорою Дузэ, Эдипъ и Сидъ—Мунэ Сюлли, а Мефистофель, Ричардъ III, Яго и Шейлокъ—Эрнстомъ Поссартомъ. Не могу я, по милости того же Эрнста Поссарта, принимать безъ большого критическаго предубѣжденія такихъ резонерскихъ ролей въ современномъ репертуарѣ, какъ графъ Трастъ въ «Чести» или адвокатъ Берендъ въ «Банкротъ». Изъ русскихъ Трастовъ къ ироническому типу Поссарта успѣшно приближался только одинъ—воистину блестящій и преждевременно погибшій — русскій талантъ: покойный Н. П. Рощинъ-Инсаровъ \*). Изъ русскихъ знаменитостей прошлаго Поссартъ ближе всего къ С. В. Шумскому. Кто-то, чуть ли не Юрьевъ, такъ и звалъ его: Шумскій съ голосомъ...

1904.

---

\*) См. мон „Курганы“.

## Номо Sapiens.

---

Только долго живя за границек, познаешь во всю глубину привязанность къ русской книгѣ. Потребность читать по-русски загорается иногда съ такою страстностью, что за новую русскую книгу радъ отдать деньги, если имѣются наличныя въ карманѣ, хоть впятеро. Въ Римѣ по этой части ужасно бѣдно. У Модеса и Менделя—агентура заграничныхъ русскихъ изданій: «Освобожденіе», «Реалистъ», «Впередъ», «Свободное Слово», иногда «Искра» и «Революціонная Россія» и соответственныя брошюры. Но журналы—читаешь въ редакціи итальянскаго «Avanti», изъ брошюрь же все, что сильно и дѣльно, знакомо давно и хорошо, а на берлинскія и лейпцигскія спекулятивно-лубочныя изданья ловятся лишь новички «за границы». Теперь въ Европѣ расплодилось много фирмъ, спекулирующихъ фальсификаціями русской «нелегалщины», но въ дѣйствительности, ничего общаго не имѣющихъ ни съ кружками, ни съ печатными органами русской политической эмиграціи. Въ фальсификаціяхъ этихъ, подъ хлесткими названіями и громкими именами, сходятъ съ рукъ ужасная сѣрота и безграмотность. Это очень жаль, особенно когда на прокатъ берется вліятельное имя—напримѣръ, Л. Н. Толстого. Льву Николаевичу, положительно, слѣдовало бы опубликовать точный списокъ своихъ произведеній, потому что, вслѣдствіе

многочисленных поддѣлокъ, простодушный російскій туристъ, не особенно заботливый насчетъ критики, часто, подъ флагомъ «великаго писателя земли русской», приобрѣтаетъ только что не прутковщину какого нибудь случайнаго Кифы Мокіевича, изъ которой, будучи безсиленъ бороться съ авторитетомъ обложки, напитывается идеями, менѣе всего толстовскими. Впрочемъ, новое лондонское собраніе сочиненій Л. Н. Толстого, издаваемое В. Г. Чертковымъ, должно дать обстоятельный кодексъ къ такому необходимому руководству, хотя довольно высокая цѣна (12—15 р. за первые десять томовъ) и сравнительная медленность изданія дѣлають этотъ будущій кодексъ мало доступнымъ для «большой публики», не столько путешествующей, сколько скользящей по Европѣ, когда вырвутся изъ русскихъ предѣловъ.

Другой римскій книжный магазинъ, торгующій русскими книгами, старинный, великолѣпный и хаотическій Лешеръ, напротивъ, никакой «нелегалщины» на угрюмыхъ полкахъ своихъ не хранитъ, а выборъ новостей изъ Россіи имѣетъ очень бѣдный, отсталый, не вышедшій изъ тургеневскаго періода. Изъ авторовъ послѣдняго десятилѣтія я нашелъ только Чехова, первые томики Горькаго, «Прологъ» Юшкевича, «Вѣчный Городъ» Боборыкина, моихъ «Викторію Павловну» и «Марью Лусьеву» и нѣсколько изданій «Скорпіона». Въ числѣ ихъ меня заинтересовалъ томикъ, на обложкѣ котораго какой-то красногубый господинъ уводитъ въ кусты красноволосую дѣвицу. Оказалось — «Ното Sapiens» Ст. Пшибышевскаго. Я обрадовался этой находкѣ. Вотъ уже года четыре, какъ о Пшибышевскомъ кричатъ необычайно много, а я, къ стыду моему, до сихъ поръ ничего изъ его сочиненій не удосужился прочитать. Получить Пшибышевскаго въ Римѣ по-русски — это ужъ прямо, въ нѣкоторомъ родѣ, перстъ судьбы, указующій: купи и прочти! Заплатилъ десять франковъ и изучилъ...

Г. Шибышевскій для значительной части русской и польской молодежи — имя очень большое и авторитетное. Это не удивительно, потому что онъ несомнѣнно талантливъ и умѣетъ хорошо и красиво говорить слова громкія и страстныя, въ позахъ эффектныхъ и грозно-романтическихъ. «Номо Sapiens», по отзывамъ поклонниковъ г. Шибышевскаго, есть какъ бы его евангеліе жизни, а герой его, пресловутый Фалькъ, — гениальный сверхчеловѣкъ, идеаль къ достиженію, предложенный слабымъ смертнымъ: могій вмѣстити да вмѣстить... Съ другой стороны, у г. Шибышевскаго много антагонистовъ, утверждающихъ, будто «Номо Sapiens» — произведеніе глубоко безнравственное, а Фалькъ — просто мерзавецъ, одержимый сатириазисомъ въ острой формѣ и насилующій женщинъ при всякомъ удобномъ къ тому случаѣ. Авторъ же — человѣкъ дурной морали, ибо очень доволенъ своимъ героемъ и пытается его поступки гнусныя оправдать своими рѣчами искусными.

Я долженъ сознаться искренно, что не могу раздѣлать ни перваго взгляда, ни втораго. О г. Фалькѣ, требующемъ серьезнаго вниманія, потому что подражать ему нравится многимъ, я скажу два слова ниже, а покуда — о безнравственности романа. Это послѣднее обвиненіе — совершеннѣйшая клевета. Напротивъ, мое конечное впечатлѣніе — что г. Шибышевскому удалось создать, — хотя бы и нечаянно, — одинъ изъ самыхъ высоконравственныхъ образцовъ дидактической беллетристики. И настолько въ совершенствѣ, что «Номо Sapiens» слѣдовало бы включить въ бібліотеки обществъ трезвости и продавать на ларяхъ вмѣстѣ съ поучительными брошюрами о «Первомъ Винокурѣ» и — «Сердце пьяницы есть жилище сатаны». Оставимъ ницшеанцамъ доказывать, что «Номо Sapiens» есть евангеліе сверхчеловѣчества, оставимъ пуристамъ-старовѣрамъ вопіять, что «Номо Sapiens» есть апоѳеозъ бездѣльничества и лѣниваго свинства. И въ ту и въ другую сторону можно построить много болѣе или

менѣе убѣдительныхъ силлогизмовъ. Но не будемъ состязаться о спорномъ, остановимся на несомнѣнномъ: оснуемся на предлагаемой романомъ почвѣ осязательной, твердой и практической, станемъ на точку здраваго смысла. Тогда, равно отрѣшившись отъ миражей сверхчеловѣчества и отъ миражей торжествующаго свинства, мы сразу увидимъ скрытую авторомъ въ символическихъ цвѣтахъ краснорѣчія прикладную цѣль романа. «Номо Sapiens» г. Станислава Пшибышевскаго есть произведеніе антиалкоголическое и преслѣдуетъ совершенно тѣ же задачи и по тому же воспитательному методу, какъ спартанскіе педагоги показывали юношеству пьяныхъ илотовъ:

— Другъ мой! удивляйся, но не подражай!

Можетъ показаться легкомысленнымъ и самонадѣяннымъ мое обѣщаніе отдѣлаться отъ сложной природы Фалька «двумя словами ниже». Но дѣло въ томъ, что г. Фалькъ поставленъ авторомъ въ романѣ такъ странно, что не можетъ быть характеризованъ ни въ качествѣ сложной, ни въ качествѣ простой природы. Всякая характеристика Фалька по роману «Номо Sapiens» незаконна и подлежитъ опротестованію. Несправедливо судить Фалька въ совершаемыхъ имъ дѣяніяхъ и произносимыхъ словахъ, ибо на 416 страницахъ романа онъ ни разу не является читателю въ состояніи полной вмѣняемости. Вся его жизнь въ романѣ разлагается на три фазиса: или онъ напивается, или онъ пьянъ, или, протрезвясь, страдаетъ тяжелымъ похмѣльемъ. Какое же право имѣемъ мы составлять психологическія заключенія о г. Фалькѣ, никогда не видавъ его въ своемъ видѣ? Единственное вполнѣ логическое заключеніе, которое читатель можетъ сдѣлать о Фалькѣ по даннымъ Пшибышевскаго съ полнымъ основаніемъ, это—что Фалькъ—«мужчина пьющій» (вотъ они и пришли «два слова ниже»!). А эта характеристика естественно отнимаетъ у Фалька его индивидуальность и отвѣтственность за оную, потому что—кому же неизвѣстно, что «сердце пьяницы

есть жилище сатаны», а въ домахъ своихъ сатана распоряжается по шаблонамъ весьма общимъ и хорошо изученнымъ не только психіатрами, но даже батюшками, лечащими отъ запоя.

Дабы не остаться голословнымъ, прошу позволенія сдѣлать точный подсчетъ горячимъ напиткамъ, поглощеннымъ г. Фалькомъ на 416 страницахъ романа. Запилъ онъ на

Стр. 11. Чего ты хочешь? Пива? водки? Постой—мысль! У меня есть превосходное токайское.

Стр. 13. За здоровье твоей невѣсты! Осушили бутылку... Въ токайскомъ 16 проц. алкоголя!

Стр. 15. Вы всегда пьете коньякъ. Налить вамъ? Вѣдь у васъ, говорятъ, обычай пить коньякъ литрами... Въ коньякѣ, самомъ скверномъ, 60 проц. алкоголя!

Стр. 16. Фалькъ занимается даму, которой только что представленъ, повѣстью, какъ «мы пропьянствовали цѣлую ночь».

Стр. 17. Фалькъ констатируетъ фактъ, что — «публика даже не можетъ представить себѣ, какъ это (всеночное пьянство) часто случается съ жрецами искусства».

Стр. 20. «А не отправиться ли намъ, Микита, въ ресторанъ «Зеленаго Соловья»?»

Стр. 21. Фалькъ въ сомнѣніи: влюбленъ онъ въ Изу или просто много выпилъ?

Стр. 21—31. Пивопитіе въ «Зеленомъ Соловьѣ» съ четырьмя отмѣченными авторомъ чоканьями. (Въ пивѣ отъ 8—12 проц. алкоголя).

Стр. 31—45. Нервное разстройство, половое раздраженіе и влеченіе къ Янинѣ; затѣмъ—реакція, путаница въ мысляхъ, глупые анекдоты... Опытные питухи увѣряютъ, что именно таковы послѣдствія смѣшенія напитковъ, а Фалькъ, начавъ свой день токайскимъ, кончилъ пивомъ.

Стр. 45—51. Фалькъ не участвуетъ, и, гдѣ и сколько пьетъ,—поэтому,—неизвѣстно.

Стр. 53. Фалькъ пьетъ пиво. И, такъ какъ дѣйствіе происходитъ на танцевальномъ вечерѣ, то, конечно, не одинъ стаканъ—до

Стр. 63, когда онъ сидитъ съ Изою въ ресторанѣ и пьетъ бургундское (на трехъ страницахъ! Въ бургундскихъ винахъ 16 проц. алкоголя!).

Стр. 67—76. Фалькъ блуждаетъ по городу и бредитъ, потому что «ничего не ѣлъ, только пилъ и пилъ...» Сомнѣнія Фалька, вовсе онъ пьянъ или еще нѣкоторая искра живая въ немъ теплится, разрѣшаются тѣмъ, что на стр. 76 его выводятъ изъ кафе «за неприличное поведеніе».

Стр. 76—90. Фалька нѣтъ. Антрактъ, чтобы про-спаться и вытрезвиться.

Стр. 90—96. Фалькъ и Иза пьютъ вино въ ресторанѣ. Марка неизвѣстна. Отмѣтки автора: «жадно выпилъ», «жадно выпилъ». Трогательное воспоминаніе Фалька, какъ однажды онъ напоилъ жениха знакомой дѣвушки.

Стр. 96—105. Фалькъ съ Микитою въ ресторанѣ. Микита «дуетъ» абсентъ; что вливаетъ въ себя Фалькъ—не указано, но затѣмъ онъ опять блуждаетъ по городу, не отдавая себѣ отчета, «гдѣ онъ собственно находится?»

Стр. 106. «Онъ выпилъ бы пива».

Стр. 107. Онъ выпилъ пива.

Стр. 111. Опять потребность освѣдомиться, «гдѣ онъ собственно находится и не сошелъ ли онъ съ ума».

Стр. 112—122. Фалька нѣтъ.

Стр. 122. Фалькъ даже во снѣ видитъ, что они пьютъ съ Микитою!

Стр. 127—133. Фалька нѣтъ. О причинахъ смотри ниже, стр. 149.

Стр. 142. Подали вино. Марка опять неизвѣстна, но Фалькъ «выпилъ всю бутылку» уже къ—

Стр. 148. !!!...

Стр. 149. Фалькъ объясняетъ Маритъ, что вчера былъ пьянъ до безчувствія и не помнитъ, что говорилъ.

Стр. 150—164. Фалька мутитъ со вчерашняго, и—о чемъ бы онъ ни началъ говорить, все свернетъ на какойнибудь пьяный скандалъ: исторія о пьяномъ въ гробу, исторія объ истребленіи портера (15 проц. алкоголя!), «какъ умѣемъ пить только мы, европейцы!»

Стр. 165. «Послушай, мама, есть у тебя коньякъ?»... Мать разсудительно напоминаетъ Фальку скотницу, которая допилась до бѣлой горячки... Фалькъ, смѣясь, «выпилъ стаканъ коньяку», чего, конечно, совершенно достаточно для галлюцинацій на яву, которыя затѣмъ мучаютъ его до—

Стр. 174. На этой же страницѣ онъ опять выпилъ коньяку, сталъ сладострастно мечтать о Маритъ, «пилъ и становился все сантиментальнѣе».

Стр. 175—176. Забылъ, какъ зовутъ его жену!!!

Стр. 177. Заснулъ, сидя за коньякомъ.

Стр. 188—199. Фалька нѣтъ.

Стр. 200. Отецъ Маритъ сожалѣетъ, что Фалькъ «эти дни страшно пьеть. Будетъ жаль, если онъ погубитъ себя этимъ пьянствомъ».

Стр. 201—219. Обѣдъ у ландрата, послѣ котораго (обѣда) «Фалькъ былъ немного возбужденъ» и находился подъ давленіемъ «напряженной чувственной атмосферы»... Поцѣлуи съ Маритъ...

Стр. 214—229. Чувственный бредъ того же вечера.

Стр. 230. «Не выпить ли еще стаканчикъ пунша у Флаума?».

Стр. 231—237. Пьянство на цѣлую ночь! «Пили очень много».

Стр. 238. «Маритъ, нѣтъ ли у васъ чегонибудь выпить?».

Стр. 239—249. Напился, обезчестилъ Маритъ, шлялся подъ бурей...

Стр. 250. «Жадно выпилъ большой стаканъ коньяку».

Стр. 251. «Налей мнѣ еще коньяку!».

Стр. 251—260. Фалька нѣтъ.

Стр. 261. «Тебѣ нельзя пить такъ много грога, Эрикъ!»

Стр. 262. «Такъ хорошо сидѣть и пить одинъ стаканъ за другимъ...»

Довольно продолжительный антрактъ въ спиртныхъ напиткахъ, вызываемый присутствіемъ анархиста Черскаго, который, повидимому, человѣкъ серьезный и «не потребляетъ...» Но уже на—

Стр. 288. «Налилъ себѣ большій стаканъ коньяку и выпилъ его залпомъ».

Стр. 290. «Позвольте мнѣ освѣжить свое горло коньякомъ!».

Стр. 292. «Снова выпилъ полный стаканъ».

Стр. 293. «Можетъ быть, стаканъ коньяку?».

Стр. 295. «Неужели вы серьезно не хотите коньяку?».

Стр. 296. «Не выношу людей, которые не пьютъ!».

Стр. 296—300. Бредъ послѣ кошьяку.

Стр. 306—314. Фалька нѣтъ.

Затѣмъ, какъ опредѣляетъ г. Шибышевскій, для Фалька начинается «Мальстремъ»—водоворотъ «безстыднаго мозга...» «Мальстремъ»—это слова искусныя, которыя призываются покрывать факты гнусные: въ обществѣ состояніе Фалька называется гораздо проще: по-русски—бѣлю горячкою, а по-латыни—*delirium tremens*. Сознывая себя полубезумнымъ, Фалькъ, все-таки, на—

Стр. 338. Пьетъ пиво.

Стр. 342. «Принеси бутылку коньяку!».

Стр. 343. «Мы предавались ужасному распутству и много пили».

Стр. 346. «Мы сидѣли совсѣмъ тихо и пили».

Стр. 351. «Фалькъ заказалъ вина».

Стр. 357. «У него ежеминутно темнѣло въ глазахъ, и онъ каждый разъ хватался за стаканъ съ виномъ».

Стр. 378—379. Пьютъ вино съ Изой...

Всѣхъ страницъ въ романѣ, повторяю, 416... Sapientii

sat! Пропьянствовавъ 380 страницъ, мудрено дѣйствовать трезво на остальныхъ 36!

Если прибавить къ этому, что Фальку всего 26 лѣтъ, то, я полагаю, читателю будетъ вполне ясно, почему я отказываюсь видѣть въ Фалькѣ «характеръ», обреченный восторгамъ ли, поношенію ли: въ такіе молодые годы и при такомъ страшномъ количествѣ поглощаемаго алкоголя, могутъ ли быть рѣчи о вмѣняемости поступковъ Фалька? Предъ нами просто спившійся съ круга мальчикъ, у котораго непробудное пьянство отнимаетъ способность владѣть своими мыслями, своею волею, своими нервами, своею половую систему... Состояніе Фалька патологическое и опредѣляется очень точно «алкоголическою неврастеніей», которой результатами весьма часто бывають именно тѣ «необъяснимые» капризы и бѣшеные порывы скоро переходящаго полового неистовства, въ какихъ проводить свое «поэтическое», но пьяное существованіе г. Фалькъ.

Состояніе этихъ порывовъ и капризовъ описано г. Пшибшевскимъ съ большимъ талантомъ и знаніемъ дѣла, такъ что впечатлѣніе получается потрясающее: пьяный илоть вырастаетъ огромнымъ призракомъ, и сквозь покровы его тѣла испуганный читатель ясно видитъ страшно раздутую печень (есть такая картинка для народа — «Внутренности пьяницы!») и бычье, пивное сердце, которое есть жилище сатаны.

Откровенно говоря, я не совсѣмъ вѣрю въ амурныя преступленія г. Фалька. По тремъ причинамъ.

Первая: на страницѣ 155—онъ самъ предупреждаетъ:

— Вы не должны придавать значенія абсолютно ничему, что я говорю въ пьяномъ видѣ; тогда именно я имѣю обыкновеніе сочинять.

Существуетъ такой спеціальный типъ пьяницъ съ половымъ бредомъ самообвиненія. Вдругъ человѣкъ ни съ того, ни съ сего сплететъ вамъ коснѣющимъ языкомъ, что онъ изнасиловалъ малолѣтнюю нищую, живетъ съ родною се-

строю, обольстил невѣсту друга, у котораго былъ шаферомъ... А по точномъ изслѣдованіи оказывается, что малолѣтней нищей лѣтъ 35, и совсѣмъ она не нищая, а собственная экономка рассказчика на ежемѣсячномъ его иждивеніи и съ ключами по хозяйству; что сестеръ у рассказчика никогда не бывало, а это у персидскаго царя Камбиза была сестра, въ которую тотъ, дѣйствительно, влюбился, тоже съ большого перепоя; и что, наконецъ, мнимая невѣста друга fait la pose только въ специальномъ парижскомъ смыслѣ слова, ибо спокойно жительствоетъ въ «пансіонѣ безъ древнихъ языковъ...» Любопытно, что психіатры, какъ Крафтъ-Эбингъ, видятъ въ этой самообвиняющей болтовнѣ результаты... слабой половой дѣятельности пьющихъ людей! Фантазія пополняетъ ихъ жизнь воображаемыми пороками, на которые не способно тѣло. Сильно сомнѣваюсь я, не того ли же фантастическаго происхожденія криминальныя побѣды Фалька? Есть одна маленькая фізіологическая черточка, которая укрѣпляетъ мой скептицизмъ, и это—причина вторая.

Мужчины, пьющіе коньякъ и пиво въ столь неограниченномъ количествѣ, какъ уничтожаетъ ихъ Фалькъ, обыкновенно въ самомъ скоромъ времени пропитываются спиртнымъ запахомъ настолько, что дамъ, которая сама не дура выпить, какъ Иза, они, пожалуй еще, куда ни шло, могутъ быть иногда не противны; но къ дѣвицамъ, столь чистымъ и благоуханнымъ, какъ Маритъ, имъ лучше не приближаться: «винищемъ отшибаетъ!» Барышни рѣдко любятъ, чтобы въ лицо имъ дышали перегорѣлымъ спиртомъ.

Причина третья:

Съ Фалькомъ ли было все, что о немъ рассказывается? Дѣло въ томъ, что у Фалька, какъ у многихъ образованныхъ пьяницъ, сильно обострена литературная память, и поэтому онъ постоянно видитъ себя въ позиціяхъ разныхъ героевъ старой беллетристики, хотя г. Шибышевскій и забываетъ назвать ихъ по имени. Особенно

богато начитался Фалькъ «Бѣсовъ», «Преступленія и наказанія» и «Братьевъ Карамазовыхъ»... Ставрогинская дуэль, знаменитая подпись самоубійцы-Кириллова «un citoyen cosmopolite, un citoyen du monde entier», ожиданіе Верховенскимъ, какъ застрѣлится Кирилловъ, діалоги Раскольникова съ Свидригайловымъ, Ивана Карамазова съ чортомъ, сцена Раскольникова, когда внезапно вырастаетъ передъ нимъ пришедшій просить прощенія обличитель-мѣщанинъ, Смердяковщина и пр.—продѣлываются Фалькомъ и сопутствующими ему Гродскими, Черскими, Незнакомцами съ такою добросовѣстною начитанностью, съ такою рабскою точностью, что иногда кажется, будто читаешь не оригинальный романъ г-на Пшибышевскаго, но просто изложенный короткими, обрывистыми фразами стенографической *compendium* трехъ знаменитыхъ романовъ Достоевскаго. Впрочемъ, это роковое и невыгодное для автора сходство выступаетъ ярко только въ третьей части (Мальстремъ); ею, судя по предисловію, г. Пшибышевскій остался самъ недоволенъ и сократилъ ее для польскаго изданія противъ первоначальнаго нѣмецкаго оригинала.

Но, будучи послушнымъ подражателемъ Достоевскаго въ анализѣ психическихъ аномалій, Станиславъ Пшибышевскій упустилъ изъ виду, что каждая изъ аномалій, изображенныхъ Достоевскимъ, имѣетъ интересъ общественной загадки, которую долженъ разрѣшить читатель по даннымъ и намекамъ автора, тогда какъ аномаліи Фалька проявляются въ печальномъ и искусственномъ состояніи, дающемъ, уже само-по-себѣ, полнѣйшую ихъ физическую разгадку. Герои Достоевскаго—люди больной, но трезвой мысли, отравленной жизнью. Фалькъ — человекъ мысли, большой пьянствомъ, органически «отравленной алкоголемъ», какъ говоритъ Актеръ въ «На днѣ» Горькаго. «*Nomo Sapiens*» — патологическій этюдъ изъ правовъ лечебницы для алкоголиковъ. Продолживъ нѣсколько черты рисунка, насмѣшливая рука каррика-

туриста или пародиста, въ самомъ дѣлѣ, можетъ очень легко превратить романъ Пшибышевскаго въ нравоученіе о жилищѣ сатаны. Въ одномъ мѣстѣ самъ Пшибышевскій подчеркиваетъ саркастическій смыслъ заголовка «Homo Sapiens», что и естественно: какъ художникъ по натурѣ, авторъ не можетъ не замѣчать фальши въ романтическомъ ореолѣ, какимъ онъ окружилъ было эксцессы своего героя, и не понимать истиннаго ихъ происхожденія. «Homo Sapiens» — кличка ироническая. Положительнымъ же заголовкомъ, обстоятельно выражающимъ содержаніе и смыслъ этого произведенія, могъ бы явиться такой титулъ, во вкусѣ англійскихъ сатирическихъ романовъ XVIII вѣка:

*Жизнь и похождения по пьяному дѣлу дворянина Эрика Фалька, съ присовокупленіемъ точнѣйшаго прейсъ-куранта поглощенныхъ имъ напитковъ, съ описаніемъ всѣхъ его излишествъ и скандаловъ и.*

н а к о н е ц ѣ ,

*печальнаго умственнаго разслабленія подѣ вліяніемъ алкоголя.*

Таковъ психологическій капиталъ романа. Что касается приписываемаго ему общественнаго значенія, то какую же общественную идею можно построить на почвѣ столь ярко и опредѣленно выраженаго патологическаго недуга? Единственнымъ общественнымъ указаніемъ, которое фигура Фалька даетъ читателю, становится вполне справедливая рекомендація, принятая, какъ девизъ, всѣми обществами трезвости:

— Братіе, не упивайтесь виномъ, въ немъ-бо есть блудъ!

Но это воззваніе много раньше г. Пшибышевскаго уже обратилъ къ обществу апостоль Павелъ. И много короче и выразительнѣе!

## Парижскія преданія.

---

Въ грозныхъ стѣнахъ собора Парижской Богоматери незримо дышатъ вѣчныя тайны. Въ цвѣтномъ сумракѣ ладана, не умирая, трепещутъ старыя чудеса и, какъ дѣти, рождаются отъ нихъ и плывутъ въ задумчивый мѣръ новыя лукавыя сказки. И, внимая имъ, каменные чудовища средневѣковыхъ башенъ хитро улыбаются дряхлыми веселыми мордами, точно демоны-прадѣды, дождавшіеся достойныхъ себя внуковъ.

### I.

#### Искупленіе Іуды.

Въ двадцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія среди клира собора Парижской Богоматери выдѣлялся умомъ, благочестіемъ и аскетическимъ образомъ жизни викарій А.—священникъ, чрезвычайно уважаемый въ народѣ. Достигнувъ уже довольно пожилого возраста, онъ имѣлъ несчастье увлечься входившимъ тогда въ моду снова, послѣ долгаго перерыва, магнетизмомъ. Частые сеансы черезчуръ усердное чтеніе мистиковъ, а въ особенности головоломнаго Сведенборга, разстроили здоровье викарія. Онъ нажилъ себѣ жестокія бессонницы. Чтобы успокоить лихорадочную дѣятельность воспламененнаго мозга, священникъ убивалъ свои ночи за научными

трусами. Если же голова худо работала, онъ бралъ ключъ и, черезъ «красную дверцу», уходилъ въ храмъ. Тамъ, въ притворѣ, озаренномъ лишь слабымъ мерцаніемъ одинокой лампы предъ главнымъ алтаремъ, викарій находилъ свои кресла и сидѣлъ до утра, погруженный въ молитвы и глубокія размышленія.

Въ одну такую ночь онъ задумался о божественной угрозѣ вѣчнаго проклятія.

«Число избранныхъ,—сказано,—будетъ очень мало». Какимъ же образомъ примирить эту суровую исключительность, отталкивающую отъ себя большинство человѣчества, съ безконечною благодатью божіей? Вѣдь священное писаніе учитъ насъ, что Богъ хочетъ, чтобы всѣ люди спаслись и весь родъ человѣческій пришелъ бы къ познанію истины! И, притомъ, эти ужасныя огненные муки! На землѣ даже самый злобный тиранъ врядъ ли въ состояніи терзать ими хотя бы и лютейшаго своего врага въ теченіе цѣлыхъ сутокъ! А насъ увѣряютъ, будто всеблагой Богъ пошлетъ въ огонь на всю вѣчность большую часть людей, когда либо жившихъ на землѣ!

Такъ думалъ викарій, и сомнѣнія со всѣхъ сторонъ крались въ его человѣколюбивое сердце. И сталъ онъ рыться въ своей ученой памяти, выискивая въ богословіи смягчающія ограниченія и толкованія.

— Положимъ, что церковь не опредѣляетъ, что есть адскій огонь. По евангелію, онъ вѣченъ, но нигдѣ не написано, что большая часть человѣчества будетъ осуждена горѣть въ немъ вѣчно. По всей вѣроятности, множество грѣшниковъ подвергнется казни не болѣе, какъ лишеніемъ созерцанія божества. Богъ накажетъ ихъ тѣмъ, что они останутся безъ Бога. Наконецъ, сама церковь рѣшительно запрещаетъ отчаяніе въ чемъ бы то ни было спасеніи; ей противно предполагать, что кто бы то ни было осужденъ и проклятъ безповоротно. Умирающимъ въ язычествѣ она создала возможность спастись въ крещеніи

желаніемъ. Самыхъ отчаянныхъ грѣшниковъ искупаетъ внезапное и совершенное раскаяніе. Намъ вѣрно уповать за всѣхъ и молиться за всѣхъ. За всѣхъ—кромѣ одного: кромѣ того, о комъ самъ Спаситель сказалъ, что лучше бы человѣку сему вовсе не родиться на свѣтъ.

И поразила смятенный умъ викарія эта мысль—мысль о человѣкѣ, который одинъ изъ всѣхъ людей во всѣ вѣка и отъ всѣхъ народовъ оставленъ безъ надежды на прощеніе и осужденъ нести тяжесть проклятія изъ вѣка въ вѣкъ и до конца вѣка.

— Однако,—работала безсонная мысль священника,—однако, Іуда Искаріотъ,—потому что вѣдь это о немъ такъ грозно гласить писаніе!—однако, Іуда Искаріотъ раскаялся. Въ отчаяніи отъ своего преступленія, онъ даже убилъ себя. И—послѣ смерти? Онъ увидаль, что онъ—одинъ. Человѣчество распалось на двѣ части. Здѣсь—люди, омытые кровью Христовою, живые въ надеждѣ раскаянія и милости. Тамъ—одинъ человѣкъ, для котораго нѣтъ ни милости, ни раскаянія, ни надежды, котораго кровь Христова обошла, не коснувшись его ни каплею, ни брызгомъ... И онъ одинъ остается въ казни, уготованной для міра! Онъ одинъ навсегда согбенъ подъ гнетомъ мукъ, обрушенныхъ на плечи всѣхъ живыхъ и мертвыхъ! Онъ—козель отпущенія за все человѣчество! Но это же—Атлантъ ада! это—Прометей вѣчнаго проклятія! И кто же онъ? Человѣкъ, котораго Спаситель, уже готовясь къ смерти, еще называлъ своимъ другомъ!

И полились слезы изъ глазъ викарія, и показалось ему, что не было и искупленія міра, если внѣ искупленія остался Іуда.

— Если бы я былъ Спасителемъ,—воскликнулъ онъ въ экстазѣ,—то ради одного этого неискупленнаго грѣшника, ради лишь одного его я пошелъ бы на вторыя муки, на новую смерть. Я! А развѣ Іисусъ Христосъ не добрѣ меня въ тысячу разъ? О, Господи! Ты, возсѣдающій

на небеси, одесную Отца, слышишь ли ты, какъ я здѣсь, на землѣ, оплакиваю твоего несчастнаго апостола?

И все жарче и жарче разгорался больнымъ своимъ сердцемъ взволнованный священникъ.

— Да! Я увѣренъ: ты слышишь меня, тебѣ жаль меня, ты уже готовъ открыться мнѣ великимъ утѣшеніемъ. Я чувствую, сердце говоритъ мнѣ, что тобою спасенъ и онъ, отверженецъ, евангельскій парія! И въ долгой мукѣ проклятія, которое влечется вѣками за его памятью, онъ выстрадалъ свое преображеніе: искупленный, онъ станетъ самъ искупителемъ—искупителемъ всѣхъ отверженцевъ, всѣхъ парій земли!..

— О, если такъ,—какое огромное будущее! какое блаженство! какая красота! Смотри: міру настанетъ новый вѣкъ, и новое евангеліе вѣщаетъ людямъ... Евангеліе безконечнаго милосердія, всеобъемлющей благодати, евангеліе отъ возрожденнаго Іуды!.. О, Боже мой! Что со мною? Я сбился съ праваго пути, я заблудился въ силлогизмахъ, я еретикъ, я нечестивецъ... Нѣтъ! нѣтъ!.. Это—такъ!.. Я вѣрю, я умѣю вѣрить, и нѣтъ во мнѣ ереси: вѣра, да, вѣра кричитъ во мнѣ, что это—такъ!

И, сложивъ руки на молитву, воскликнулъ священникъ отъ всей своей пылающей души, отъ всего страстнаго помышленія:

— Господи! Пошли мнѣ силу, въ которой нѣкогда ты не отказывалъ пылкой вѣрѣ, не отказываешь еще и въ наши дни... Сотвори чудо, чтобы укрѣпить мое убѣжденіе и увѣрить въ истинѣ! Знаменія, знаменія молю у тебя! знаменіе дай мнѣ, какъ залогъ моего новаго служенія!..

И мертво пѣма, и мрачна, накрытая необъятною тьмою, глухая, слѣпая громада собора. И грозно клубится молчаливая ночь у подножія алтарей. А онъ—викарій—стоитъ на хорахъ и, видѣ себя, сотрясаясь, громкимъ голосомъ, медленно и торжественно выкликаетъ слова заклія:

— Услышь меня, ты, проклинаемый восемнадцатью вѣками,—но я, я плачу о тебѣ, потому что мнѣ кажется, что ты выбралъ адъ для одного себя лишь за тѣмъ, чтобы сохранить рай для всѣхъ насъ! Услышь меня, ты, несчастный Иуда! Если правда, что кровь твоего учителя омыла и тебя, если ты спасенъ, приди возложить на меня руки, приди посвятить меня въ іереи состраданія и любви!

Отголоски воплей покатались по разбуженнымъ сводамъ, а священникъ упалъ, колѣнопреклоненный, на ступеняхъ предъ главнымъ алтаремъ, въ тихомъ, тускломъ свѣтѣ паникадила.

— И вотъ все стихло... и вотъ—на мою голову легли двѣ руки... да! двѣ руки, двѣ теплыя, живыя руки, сложенные такъ, какъ подобаешь возлагать руки епископу, совершающему обрядъ посвященія... Я не спалъ, я не былъ въ изступленіи,—я ихъ чувствовалъ, эти руки! я ихъ осязалъ! Это было настоящее, живое прикосновеніе... оно продолжалось нѣсколько минутъ. Богъ услышалъ меня! чудо совершилось!—И долгъ новыхъ, глубокихъ таинствъ могущественно осѣнилъ меня! Для меня началась новая жизнь... Возстающее утро звало меня: встань и будь новымъ человѣкомъ.

---

Къ сожалѣнію, слова викарія, что для него началась новая жизнь, оправдались самымъ печальнымъ житейскимъ каламбуромъ: утромъ сторожа собора нашли будущаго проповѣдника «евангелія отъ возрожденнаго Іуды», предъ главнымъ алтаремъ, въ припадкѣ безумія, и несчастнаго «новаго человѣка» пришлось надолго помѣстить на «новую жизнь»—въ домъ умалишенныхъ. Впослѣдствіи онъ оправился, выздоровѣлъ, возвратился къ обязанностямъ своего сана и несъ ихъ съ прежнимъ достоинствомъ, полный той постоянной тихой и свѣтлой грусти, что кладетъ свою неизмѣнную и неизгладимую печать на всѣхъ очень вѣ-

рующихъ священниковъ. Онъ скончался въ глубокой старости, и увѣренность, что въ ту, роковую для него, ночь въ соборѣ онъ, дѣйствительно, имѣлъ видѣніе, твердо жила въ немъ до самой смерти, равно какъ и умиленная радость, что, въ полнотѣ искупленія, Христосъ не забылъ и своего предателя—Иуду. Въ 1859 году разсказъ викарія А., съ собственныхъ его словъ, записаль и опубликоваль въ своей «Исторіи магіи» знаменитый мистагогъ Элифасъ Леви, почитаемый многими, какъ — если не отецъ, то первый догматизаторъ оккультическихъ ученій новѣйшей формаціи, столь обильныхъ во второй половинѣ XIX вѣка. Парижскій книгоиздатель Альканъ воскресилъ забытые было темы Элифаса Леви: «Догму и ритуальъ высшей магіи», «Исторію магіи», «Ключъ къ великимъ тайнствамъ» «Наука о духахъ». Любопытнѣйшая смѣсь убѣжденія и шарлатанства, начитанности и невѣжества, вдохновенія и плутовской декламации, нечаяннаго глубокомыслія и несноснѣйшаго самодовольнаго пустословія, ханжества и кощунства, смѣлой пытливости мысли и самаго наивнаго суевѣрія. Книги эти добрыми католиками почитаются за дьявольскія, но ихъ порочная репутація много громче дѣйствительности: никакихъ адскихъ страстей по страницамъ ихъ не разлито. Но, конечно, онѣ — лукавыя и плутоватыя книги, и когда Элифасъ Леви выдаетъ свои творенія за «opus hierarchicum et catholicum», то онъ, пожалуй, дѣйствительно, напоминаетъ тѣхъ двусмысленныхъ католическихъ патеровъ, которыхъ каррикатуристы реформаціи рисовали съ пушистымъ хвостомъ изъ-подъ сутаны и на козьихъ ножкахъ. Иезуитъ, мистикъ, колдунъ и аферистъ переплетены въ этомъ авторѣ самую фантастическою путаницею, но на рѣкахъ его шарлатанскаго веле-рѣчія, часто бессмысленнаго, какъ болтовня, которою морскіе коты забавляли Фауста и Мефистофеля на кухнѣ вѣдьмы, попадаются островки мрачной поэзіи. Вотъ, на-примѣръ, одна изъ его притчъ:

## Человѣкъ и Высшая Справедливость.

— Трудись, чтобы владѣть,—и будь счастливъ! говоритъ Человѣку Высшая Справедливость.

— Я хочу владѣть, я хочу наслаждаться жизнью,— не заставляй же меня изнемогать въ трудѣ!

— Кто не хочетъ труда—обреченъ стать воромъ и пострадаетъ, какъ воръ.

— Я возстану на тебя бунтомъ.

— Тогда ты разобьешься, какъ стекло, и страданія твои станутъ еще острѣе!

— Я возстану еще и еще! Я буду бунтовать вѣчно!

— Ты возстанешь еще и еще? Страдай же еще и еще! Ты хочешь бунтовать вѣчно? Страдай же вѣчно!

1905.

---

## Патронъ революціи.

---

### I.

Приемные часы тюрьмы Sante кончились. Мой другъ, заключенный антимилитаристъ Э., прощаясь, держаль меня за руку и говорилъ, говорилъ, говорилъ съ поспѣшностью и страстностью человѣка, которому затѣмъ предстоитъ замолчать на нѣсколько дней.

— Ханжи, зовутъ насъ, революціонеровъ.. Tiens! На здоровье! Мы мало тѣмъ•обезпокоены. Но они увѣряютъ, будто мы такъ основательно прокляты на небесахъ, что о насъ тамъ даже и слышать не хотятъ! Будто самъ кроткій Христосъ, радующійся одному раскаянному грѣшнику болѣе, чѣмъ десяти праведникамъ, презрительно отвращаетъ лицо свое, когда ему называютъ имя революціонера. Одна старуха-буржуазка въ Пикардіи доказывала мнѣ нелѣпость революцій тѣмъ могущественнымъ аргументомъ, что у насъ нѣтъ даже святого покровителя. Посмотрите, говорила мнѣ она, какіе вы отвратительные люди. Всѣ промыслы, даже самые низкіе, грязные, позорные, имѣютъ своихъ патроновъ, а у васъ—нѣтъ никого: ни одинъ святой не взялся защищать васъ предъ Богомъ. Проститутка можетъ, смѣетъ, имѣетъ право молиться о предствательствѣ за себя св. Маріи Магдалинѣ, разбойникъ — св. Демасу, убійца—св. Маріи Ненавидящей (Notre Dame de la Haine):

у всѣхъ, у всѣхъ есть на небѣ заступники, кромѣ васъ, — вы паріи, выброшенные за кругъ... Но—представьте себѣ, мой другъ: какъ ни основательны, повидимому, сердитыя слова моей благочестивой старушки, а вѣдь она была не права. И, какъ сіе ни удивительно и сколь ни мало мы съ вами заботимся о томъ, есть ли у насъ заступники на небесахъ, но—вообразите: они есть! И еще какіе могучіе и знаменитые—скажу я вамъ! всѣмъ на зависть! Иногда полезно читать старыя, странныя книги. То, что я вамъ рассказываю, я нашелъ въ «Исторіи магіи» Элифаса Леви alias, монаха Констана, основателя современнаго оккультизма, писавшаго въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія. Онъ увѣряетъ, будто если не всѣ революціи, то, по крайней мѣрѣ, великая французская революція стояла подъ прямымъ покровительствомъ святого — настоящаго святого, съ видѣніями, чудесами и пророчествами, и, какъ вы увидите, весьма высоко поставленнаго въ іерархіи, не только католическаго, но и, вообще христіанскаго рая.

Слушайте.

Въ 1772 году нѣкто Луазо, парижанинъ, обитавшій въ предмѣстьи Сень-Мандэ слушалъ мессу въ своей приходской церкви. Вдругъ онъ замѣчаетъ близъ себя—стоящаго на колѣняхъ—удивительнаго человѣка: смуглый, бородатый, всклокоченные, курчавые волосы, и—что всего страннѣе—онъ былъ почти совсѣмъ голый: весь костюмъ его состоялъ лишь изъ овчины, обмотанной вокругъ бедеръ. Шею незнакомца обвивалъ широкій ярко красный рубецъ, — кровавый шрамъ отъ старой, ужасной раны. Въ рукахъ человѣкъ этотъ имѣлъ огромную книгу, и на ея корешкѣ золотыми буквами сіяла надпись: Се—agneцъ Божій... Ессе Agnus Dei! .

Луазо очень удивился, откуда въ скромной церкви мѣщанскаго, чопорнаго прихода могло появиться такое необыкновенное существо? Еще больше смущало его, что другіе богомольцы, повидимому, совершенно не замѣчали

незнакомца, — по крайней мѣрѣ, не обращали на него никакого вниманія, точно его и не было въ церкви, или будто онъ оставался видимъ одному лишь Луазо. Сконфуженный и встревоженный буржуа даже не осмѣлился никого спросить о всѣхъ этихъ странностяхъ, поторопился кончить свою молитву и, очень разстроенный, отправился домой. Но, едва онъ отворилъ двери своей квартиры, какъ съ изумленіемъ и ужасомъ увидалъ предъ собою все того же незнакомца, котораго только что оставилъ въ церкви. Станный человекъ смотрѣлъ на Луазо въ упоръ и, казалось, поджидалъ его. Взволнованный хозяинъ приближается и спрашиваетъ:

— Кто вы? Что вамъ отъ меня угодно?

Но незнакомецъ исчезаетъ, будто растаявъ въ воздухѣ. Тогда Луазо небезосновательно рѣшилъ, что у него начинается горячка съ бредомъ и легъ въ постель. Но сонъ бѣжалъ отъ его глазъ, и только къ поздней ночи удалось ему заснуть. Вдругъ его разбудило внезапное сотрясеніе, будто страшный толчокъ, отъ котораго затрепетало все его тѣло. Онъ открываетъ глаза: комната густо залита яркимъ краснымъ свѣтомъ. Пожаръ?! Луазо вскакиваетъ съ постели и — посреди комнаты — на своемъ рабочемъ столѣ видитъ золотое блюдо, а на блюдѣ, всю въ крови, отрубленную голову незнакомца, посѣтившаго его наканунѣ. Отъ нея-то, этой страшной, вращающей мертвыми очами, головы — и лилось краснымъ потокомъ зловѣщее пожарное зарево. Голова остановила на Луазо цѣпящій взглядъ, искривила ротъ стономъ жестокой муки, и голосъ, задушенный и шипящій, произнесъ:

— Се — жду короля и льстецовъ короля, жду Ирода съ Иродіадой!

И — зарево потухло, видѣніе исчезло, а больной потерялъ сознание.

Луазо проболѣлъ довольно долго. Оправившись, онъ опять принялся за свои торговья дѣла, не мало озабочен-

ный тѣмъ, что пришлось ихъ позапустить во время недуга. Однажды, спѣша куда-то, переходитъ онъ площадь Людовика XV — ту самую, что впоследствии получила славное и многозначительное имя площади Согласія. Какой-то нищій окликаетъ его, просить милостыни. Луазо, не глядя, бросилъ въ протянутую шляпу первую монету, которая попала въ руку въ карманѣ, и хотѣлъ идти дальше.

— Спасибо,—сказалъ ему нищій. На твоей монетѣ тоже королевская голова, но на этомъ мѣстѣ скоро упадетъ другая, ея-то я здѣсь ожидаю.

Изумленный Луазо поднялъ глаза и... завопилъ отъ ужаса: простирая изсохшую руку и указывая на средину площади, предъ нимъ стоялъ все тотъ же таинственный незнакомецъ его недавнихъ больныхъ видѣній.

— Молчи,—остановилъ его нищій,—тебя примутъ за сумасшедшаго: вѣдь никто не видитъ меня кромѣ тебя. Я вижу: ты узналъ меня, наконецъ. Да, я, дѣйствительно, святой Іоаннъ креститель, Христовъ предтеча, и пришелъ возвѣстить міру, чрезъ тебя, казнь преемниковъ Ирода и наслѣдниковъ Каіафы. Можешь повторять и рассказывать людямъ все, что я тебѣ открою!

Съ того времени, Луазо видѣлъ Іоанна крестителя близъ себя по цѣлымъ днямъ, почти постоянно. Видѣніе подолгу бесѣдовало съ нимъ о близкихъ бѣдствіяхъ, ожидающихъ французское королевство и историческую церковь.

Луазо сообщилъ свои видѣнія нѣсколькимъ близкимъ лицамъ. Они были потрясены его рассказами. Недугъ духовидѣнія эпидемически распространился и на нихъ: Іоаннъ креститель не замедлилъ явиться новымъ своимъ адептамъ. Тогда всѣ эти люди составили мистическое общество, впоследствии извѣстное подъ именемъ *іоаннитовъ*. Ихъ собранія были окружены глубокою тайною. На радѣніяхъ своихъ іоанниты соединялись руками въ кругъ и, въ мертвомъ молчаніи, ждали откровеній и вдохновеній. Ожиданіе часто продолжалось по нѣскольку часовъ. Наконецъ, кому либо

чудилось, будто призракъ Іоанна крестителя—здѣсь, въ центрѣ ихъ магическаго круга. Тогда всѣ они или нѣкото-рые впадали въ магнетическій сонъ и, въ немъ, бредили картинами будущей революціи и идущей къ ней на оче-редную смѣну монархической реакціей.

Луазо управлялъ этимъ таинственнымъ союзомъ шест-надцать лѣтъ. До революціи онъ не дожилъ, умеръ въ ея преддверіи, въ 1788 году. По смерти Луазо, главенство надъ іоаннитами принялъ монахъ, по имени dom Gerle, ярый республиканецъ. Но съ торжествомъ революціи, секта раскололась на двѣ вѣтви: республиканскую, во главѣ которой остался dom Gerle, съ полуслѣпною пророчицею сон-намбулою, старухою Катериною Тео (Catherine Theot), и роялистскую, вдохновляемую главною пророчицею іоаннит-скаго круга, сестрой Франсуазою Андре. Эта вторая фрак-ція секты приняла названіе *нео-іоаннитовъ*.

Катерина Тео, пророчица старыхъ іоаннитовъ, была женщина вдохновенная и замѣчательная, одаренная, какъ многія истерички, рѣдкимъ даромъ интуиціи,—поэтому, отличная угадчица людей, ловкая толковательница ихъ прошлаго и настоящаго, и,—послѣдовательно,—довольно искусная предсказательница будущаго,—конечно, въ тѣхъ общихъ туманныхъ намекахъ и фразахъ, которыми подоб-ныя профессиональныя пиѳіи всегда захватываютъ вообра-женіе суевѣровъ, охочихъ знать свою судьбу настолько страстно, что и сами не замѣчаютъ, какъ безсознательно суфлируютъ гадателю данныя для болѣе или менѣе правдо-подобныхъ комбинацій требуемаго предсказанія. Въ нашъ вѣкъ, изучившій чудеса гипнотическаго вліянія, не пока-жется баснею, что Катерина Тео испѣляла многія болѣзни, которыя медицина XVIII вѣка признавала неизлѣчимыми. Повидимому, и она, и домъ Жерль были люди довольно искренніе и типическіе иллюминаты. Жили они—въ фаль-шивой или настоящей, но суровой бѣдности, ютятся на чер-дакѣ, хотя, съ легкой руки Месмера и Калиостро, магне-

тизмъ тогда былъ въ большой модѣ, и знаменитости по части магнетическихъ чаръ должны были зарабатывать хорошія деньги. Республиканскій пылъ Катерины Тео увлекъ секту отъ обожанія Іоанна крестителя къ обожанію Максимилиана Робеспьера. Катерина Тео проповѣдывала его, какъ «таинственнаго избранника Провидѣнія», «ангела революціи», «спасителя и жертву», «царя разрушенія и возрожденія», «преемника Іоанна крестителя», «агнца-искупителя, должнаго умереть за грѣхи своихъ убійць», поваго Моисея и Орфея и т. д. Сохранилось преданіе, будто Робеспьеръ *incognito* проникъ на одно изъ радѣній Катерины Тео, но пророчица, хотя никогда не выдававшая его въ лицо, мгновенно узнала его и осыпала восторженными предсказаніями, блистательными, потому что она сулила Робеспьеру всемірное величіе, и зловѣщими, потому что она не скрыла отъ него рокового конца Робеспьеръ, смущенный неожиданностью, заподозрилъ въ экстазѣ Тео грубую провокацію, подстроенную его политическими врагами, чтобы обвинить его въ стремленія къ диктатурѣ, и удалился съ угрозою вывести іоаннитскія плутни на чистую воду предъ комитетомъ общественнаго спасенія. Онъ воздержался осуществить свою угрозу, но, когда робеспьероманія іоаннитовъ сдѣлалась предметомъ всеобщей огласки и, какъ притча во языцѣхъ, дѣйствительно, вызвала запросъ въ комитетъ, великій республиканецъ не ударилъ пальцемъ о палецъ, чтобы спасти своихъ сумасшедшихъ обожателей. Онъ боялся, чтобы прикосновенность къ дѣлу стараго юродиваго монаха и такой же старой блаженной не сдѣлала его смѣшнымъ въ глазахъ общества, а ихъ пышныя общанія не набросили бы тѣнь на репутацію его неподкупности. Іоанниты, домъ Жерль и Катерина Тео, сложили головы подъ топоромъ гильотины. Они приняли смерть безропотно, вѣруя, что Робеспьеръ есть царь и первосвященникъ будущаго вѣка; «если онъ казнитъ насъ, это, значить, самъ Богъ насъ казнитъ; намъ остается лишь

подставить шею подъ мечъ Провидѣнія». Между предсказаніями Катерины Тео Робеспьера самое замѣчательное, что онъ возстановитъ культъ единому Богу и вскорѣ затѣмъ погибнетъ, «чтобы исправить міровое равновѣсіе, нарушенное слишкомъ большою тяжестью головы Людовика XVI». Иоанниты утверждали впослѣдствіи, будто пророчество исполнилось чрезъ учрежденіе культа Верховному Существоу и, вслѣдъ затѣмъ, чрезъ стремительный и смертельный для Робеспьера переворотъ Термидора.

У нео-іоаннитовъ, съ ихъ легитимистскими симпатіями, мнѣ объ Іоаннѣ крестителѣ скоро уступилъ мѣсто столь же мифической, но болѣе современной легендѣ о Людовикѣ XVII, «сиротѣ Храма» (мистическая игра словъ: Temple — тюрьма, гдѣ содержался державный отрокъ), какъ будущемъ спасителѣ міра. По старымъ пророчествамъ, тронъ Франціи долженъ былъ достаться «молодому чело-вѣку, который ранѣе былъ узникомъ»; бѣдные іоанниты не предвидѣли и не предчувствовали, что современемъ предсказаніе будетъ оправдано, съ самою оскорбительною для нихъ насмѣшкою судьбы, Наполеономъ III. Они твердо вѣрили, что Людовикъ XVII спасенъ, и никогда не имѣли недостатка въ самозванцахъ его имени. Такихъ авантюристовъ было семь или восемь послѣдовательно,—всѣ очень похожіе другъ на друга. Нѣкоторые были обманщики наголо; другіе—искренніе галлюцинаты,—чрезъ взаимную экзальтацію въ общеніи съ членами іоаннитской секты дошедшіе до самовнушенія своей тождественности съ Людовикомъ XVII. Замѣчательнѣйшимъ изъ этихъ вторыхъ, убѣжденныхъ лже-Людовиковъ, былъ извѣстный женевецъ Наундорфъ, экстаикъ и духовидецъ, повторявшій въ XIX вѣкѣ бредовыя мечтанія и настроенія шведа Сведенборга. Этотъ чело-вѣкъ, разительнымъ сходствомъ и постояннымъ изученіемъ обстоятельствъ короткой жизни злополучнаго «Капета», поклоненіемъ восторженныхъ легитимистовъ и экстаическими пророчествами іоаннитовъ, былъ

доведень до столь исключительной степени самовнушенія, что представлялъ собою какъ бы сплошной ходячій «самообманъ личности». Любопытно, что Наундорфъ имѣлъ даже родимыя пятна и шрамы Людовика XVII. Такъ что, быть можетъ, мы въ данномъ случаѣ наблюдаемъ даже нѣчто вродѣ «стигматизаціи»,—явленія, подобнаго тому, какъ у средневѣковыхъ аскетовъ и аскетокъ, отъ сосредоточеннаго вниманія къ распятію, появлялись на тѣлѣ кровавыя язвы, соотвѣтственныя язвамъ Иисуса Христа

Нео-іоаннитская секта дожила до сороковыхъ годовъ XIX столѣтія. Послѣ сестры Андре, ея главою былъ нѣкто Легро, кончившій жизнь въ Шарантонѣ. Любопытно, что, встрѣтивъ, въ сумасшедшемъ домѣ нѣкоего Мартина, простого мужика изъ Веансе, который, совсѣмъ не кстати, пришелъ проповѣдывать королю Людовику XVIII царствіе его воскресшаго племянника, Легро сразу призналъ въ новомъ пришельцѣ товарища по вдохновенію и привѣтствовалъ его, какъ пророка. Мартинъ былъ,—какъ французы называютъ,—*raucge diablé*, въ полномъ смыслѣ слова. Для характеристики его достаточно сказать, что ангела, вѣщавшаго ему государственныя откровенія, бѣдняга не умѣлъ вообразить иначе, какъ въ ливреѣ придворнаго лакея. Несмотря на всѣ, переполнявшія ее, нелѣпости, секта «спасителей Людовика XVII» держала свои фантастическія хоругви долго и съ поразительнымъ фанатизмомъ. Уже въ тридцатыхъ годахъ Элифасъ Леви, хотя и самъ глубокій мистикъ, дерзнулъ высказать одному «истинному легитимисту», какъ они себя называли, что вѣра его въ Людовика XVII напрасна и не цѣлесообразна, такъ какъ, за сорокъ лѣтъ послѣ своего заключенія въ Тамплѣ, Людовикъ несомнѣнно уже умеръ.

— Такъ что же, милостивый государь? — возразилъ истинный легитимистъ,—неужели вы думаете, что Богу будетъ трудно воскресить его изъ мертвыхъ для насъ, если не трудно было спасти его изъ тюрьмы для отцовъ нашихъ?

Въ Россіи эта пелѣная и рабская секта имѣла очень печальные отголоски. Одна изъ преемницъ сестры Андре, сестра Соломея или, просто, m-me Vouche имѣла большое вліяніе на императора Александра I и дала ему ту мистическую подготовку, которая впоследствии сперва отдала этого государя въ опасныя руки знаменитой г-жи Крюднеръ, а потомъ создала Фотіевщину и Аракчеевщину, столь дорого стоившія нашему отечеству и такъ жестоко и надолго затормозившія его прогрессъ.

Но вернемся къ «святому революціи», къ Іоанну крестителю, какъ патрону гильотины. Откуда взялся этотъ любопытный миоѡ? Что онъ легко воспринимается житейски, по суевѣрью сближеній, по біографическимъ совпаденіямъ и сходствамъ—это понятно. Суровый эссеѡ, бичъ богатыхъ и духовенства, безстрашный обличитель Ирода и Иродіады, воплощенный «гласъ вопіющаго въ пустынь», нищій, изнуренный темницами и обезглавленный по капризу деспотизма пророкъ—дѣйствительно, долженъ былъ поражать людей революціи необычайною современностью своей колоссальной фигуры. Понятно и то, что святой, отъ топора погибшій, сталъ покровителемъ казнящаго топора. Это—совершенно, какъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи пильщиковъ зовутъ «Исайками»—въ воспоминаніе о деревянной пилѣ, которою былъ разрѣзанъ пополамъ библейскій пророкъ Исаѡ. Но французскіе клерикалы увѣряютъ, будто революціонный патронажъ Іоанна крестителя выращенъ на болѣе солидныхъ историческихъ основаніяхъ, чѣмъ простыя созвучія и внѣшнія сходства. Суевѣрная католическая легенда разсматриваетъ всю подготовку и организацію великихъ трагедій французской революціи, какъ конечные акты мщенія великихъ мистическихъ орденовъ средневѣковья, погашенныхъ властолюбіемъ папства и христіаннѣйшихъ французскихъ королей. Эти ордена—тамплиеровъ и іоаннитовъ—будто бы никогда не прекращали своего существованія, четыре вѣка работая въ подпольѣ на разру-

шеніе королевской власти во Франціи и папскаго авторитета въ Европѣ. Іоаннъ былъ и остался патрономъ тайныхъ іоаннитовъ. Патрономъ тайныхъ тамплиеровъ сдѣлался Жакъ де Молэ, послѣдній ихъ явный гроссмейстеръ, сожженный въ Парижѣ королемъ Филиппомъ Красивымъ, съ разрѣшенія и благословенія папы Климента V въ 1314 г. «Жакъ» — національная и сословная кличка французскаго крестьянина, — совпадающая съ именемъ трагически погибшаго гроссмейстера тамплиеровъ, — сыграла большую роль въ предъ-революціонныхъ народныхъ движеніяхъ шестидесятыхъ, семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ XVIII вѣка. Французскія пугачевщины носятъ названія «жакерій». Въ то время, какъ мы видимъ въ революціонномъ «Жакѣ» то, что онъ собою представлялъ въ реальности, а именно возставшаго мужика, — напуганное казуистическое воображеніе католическихъ поповъ надумало искать въ революціонномъ «Жакѣ» символъ старыхъ мстительныхъ тайнствъ, тѣнь и имя несправедливо погубленнаго Жака Молэ и лозунгъ четырехсотлѣтняго возмездія. Революція, какъ нарочно, подсунула имъ и еще нѣсколько соблазнительныхъ и суетвѣрныхъ совпаденій. Такъ, наиболѣе враждебная духовенству революціонная партія приняла названіе якобинцевъ, отъ древней церкви св. Іакова (St. Jacques), гдѣ помѣщался ея клубъ. Элифасъ Леви совершенно серьезно указываетъ на мистическое сліяніе враждебныхъ церкви и королевской власти именъ Іоанна и Іакова въ имени Жанъ-Жака Руссо, философа, чье ученіе наиболѣе способствовало гибели авторитетовъ стараго режима и, такимъ образомъ, какъ бы содѣйствовало мести іоаннитовъ и тамплиеровъ — якобинцевъ.

Революціонные парижскіе дни знали одну, очень странную, почти фантастическую фигуру, являвшуюся всюду, гдѣ особенно безпошаденъ былъ возставшій народъ, мстя властямъ и духовенству за свое вѣковое порабощеніе и невѣжество. То былъ гигантъ пожилыхъ лѣтъ, мрачнаго

вида, съ длинною по грудь бородою. Онъ стоялъ во главѣ толпы, перерѣзавшей аристократическое духовенство, укрытое въ l'Abbaye. Страшный бородачъ убивалъ безъ перерыва — саблею, кортикомъ, дубиною, — разилъ, какъ машина, только мѣняя орудія смерти по мѣрѣ того, какъ они тупились или ломались. Обагранный кровью съ головы до ногъ, онъ убивалъ одного священника за другимъ, восклицая при каждомъ ударѣ.

— Вотъ тебѣ за альбигойцевъ и вальденцевъ! вотъ тебѣ за тамплиеровъ! вотъ тебѣ за Варѣоломеевскую ночь! вотъ тебѣ за севеннскія проскрипціи!

Такъ поминалъ этотъ грозный мститель всѣ историческія насилія французскаго католицизма надъ свободной мыслью и совѣстью народовъ.

Ему говорили:

— У тебя борода склеилась отъ крови.

Онъ отвѣчалъ съ проклятіемъ:

— Кровь ее и размочить!

Именно этотъ странный человѣкъ предложилъ кровавый тостъ братства—за націю! — мадмуазель де-Сомбрейль, дочери аббата Казота, автора романа «Влюбленный дьяволъ» и замѣчательнаго мистика, прославленнаго своимъ пророческимъ видѣніемъ: на одномъ обѣдѣ — задолго до революціи—онъ предсказалъ присутствующимъ первымъ людямъ королевской Франціи смерть на эшафотѣ отъ топора. Онъ сдѣлалъ исключеніе только для двоихъ гостей, которые впослѣдствіи, дѣйствительно, счастливо эмигрировали. Когда Казота спросили, на какомъ основаніи онъ пророчествуетъ такъ мрачно, онъ, все еще въ страшномъ волненіи и блѣдный, отвѣтилъ:

— Я только что видѣлъ васъ всѣхъ—безъ головъ...

Нѣчто подобное имѣется и въ русскихъ лѣтописяхъ: такъ точно, по соловецкой легендѣ, игумень Зосима, сидя за почетнымъ столомъ у знаменитой Марфы Посадницы, вдругъ увидѣлъ обезглавленными всѣхъ, пировавшихъ съ

нимъ, новгородскихъ боярь: предчувствіе близкаго разгрома господина Великаго Новгорода Иваномъ III и гибели вѣчевыхъ вольностей!

М-Пе де Сомбрель приняла роковой тостъ и тѣмъ спасла жизнь свою и своего отца.

Третье грозное появленіе таинственнаго мстителя совершилось на эшафотѣ Людовика XVI. Когда упала голова казненнаго короля, у гильотины выросло все то же длинное, бородатое привидѣніе,—все тотъ же, какъ прозвали его, Агасферъ революціи. Онъ зачерпнулъ въ обѣ пригоршни льющуюся изъ трупа кровь и, брызгая ею въ толпу, вопилъ страшнымъ голосомъ:

— Народъ французскій, крещу тебя во имя *Жака* и свободы!

Неудивительно, что загадочный и картинный образъ неизвѣстнаго,—вѣроятно, нервно больного, потрясеннаго ужасными напряженіями революціонной эпохи,—остался жить въ народной памяти и приобрѣлъ легендарную окраску... Въ разказѣ одного анонимнаго мистика и клерикала, анекдотъ этотъ заключается суевѣрнымъ восклицаніемъ:

— Можно было подумать, что самъ Жакъ де Мола всталъ изъ могилы, чтобы торжествовать свое роковое отмщеніе!

А если бы видѣлъ «Агасфера революціи» бѣдный, больной, экстагическій, суевѣрный Луазо, то, конечно, кровавый фантомъ на эшафотѣ представился бы ему не чѣмъ другимъ, какъ героемъ его мучительныхъ, революціонно-мистическихъ видѣній—мстителемъ Ироду и Иродіадѣ, королю и лстецамъ королевскимъ—Іоанномъ крестителемъ. Неправедно казненный пророкъ снова пришелъ въ міръ, чтобы получить, въ отплату за свою отрубленную голову, отрубленную голову Людовика XVI и видѣть, какъ въ возмездіе за его поруганный и погибшій орденъ погибають въ поруганіи виновное католичество и папство.

## Римскій университетъ.

---

Въ теоріи, русское движеніе въ высшія учебныя заведенія Италіи всегда представлялось мнѣ превосходнымъ суррогатомъ высшаго образованія, напрасно закрытаго для столькихъ въ Россіи. Молодой публицистъ, Вл. Ж., уже довольно давній и пламенный сторонникъ итальянскихъ университетовъ, обстоятельно выяснилъ бытовыя и политическія причины, почему они удобнѣе для русскаго студента, чѣмъ германскіе и швейцарскіе, гдѣ наши учащіеся сразу встрѣчаются съ враждебными предубѣжденіями крайне буржуазной среды; и побѣдить эту предвзятую мнительность очень трудно, а работать въ ея атмосферѣ для многихъ невыносимо.

Изучивъ вопросъ этотъ практическимъ наблюденіемъ, я вполнѣ соглашаюсь, что по дешевизнѣ жизни и добродушію товарищей итальянскія высшія школы чрезвычайно удобны для невольныхъ «изгоевъ» русской науки. Но вотъ въ чемъ бѣда: учиться-то въ нихъ есть ли чему? Сами итальянцы о своихъ университетахъ крайне дурного мнѣнія. Люди мало-мальски со средствами проводятъ дѣтей своихъ на родинѣ чрезъ коллегію и лицей, а для университетскаго курса предпочитаютъ отсылать ихъ въ Германію, потому что—

— Наши университеты—высшія школы ничегонедѣланія.

Боюсь, что люди эти правы. Римскій университетъ— столичный. Однако, постановка дѣла въ немъ даетъ основанія очень сомнѣваться въ доброкачественности предлагаемыхъ имъ знаній. Начать съ краткости и безпорядочности курсовъ. Лекціи начинаются 7—9 декабря, прерываются рождественскими праздниками, съ возобновленіемъ официально 4 января, на самомъ дѣлѣ 9—12, потомъ новый перерывъ дней на 15—18 сезономъ карнавала, потомъ Пасха, а потомъ уже и не до лекцій: экзамены. Такимъ образомъ, практически академическій годъ, изъ официальныхъ семи (университетъ считается закрытымъ 1 іюля) мѣсяцевъ, сводится къ четыремъ— дай Богъ, чтобы съ днями. Это, конечно, не мало сравнительно съ нашими, совсѣмъ не работающими и по цѣлымъ семестрамъ запертыми университетами, но вѣдь Россія переживаетъ революцію, а Италія обрѣтается во вполне нормальныхъ условіяхъ государственнаго строя и общественнаго быта. Въ чтеніяхъ своихъ итальянскіе профессора не могутъ похвалиться аккуратностью, что и нельзя ставить имъ строго въ вину, такъ какъ, по относительной малочисленности итальянской интеллигенціи, они—въ огромномъ и разнообразномъ спросѣ: и научномъ, и литературномъ, и политическомъ. Не разорваться же человѣку! Политическія обязанности итальянецъ ставитъ выше всего, и потому студентовъ ничуть не удивляетъ, если, придя въ аудиторію, они не находятъ профессора, отвлеченнаго парламентскимъ засѣданіемъ или какимъ либо митингомъ своей партіи. Энрико Ферри, любимый лекторъ юридическаго факультета, редакторъ журнала «L'Avanti» и лидеръ социалистической партіи, вѣчно на лету и въ разбѣздахъ. Надо къ этому прибавить, что нежирные доходы итальянскихъ ученыхъ вынуждаютъ ихъ прирабатывать на жизнь отхожими промыслами, вродѣ кочеванія по публичнымъ лекціямъ сѣмо и овамо. Тотъ же Ферри, напримѣръ, вѣчно въ отъѣздѣ, часто по мѣсяцу, по пол-

тора. Безвыѣздными и методическими лекторами остаются въ Римѣ только тѣ, кого никто и въ Римѣ не слушаетъ: старые сухари-педанты, бормочущіе себѣ подъ носъ заплесневѣлыя обязательныя курсы. Такимъ образомъ, и безъ того куцый, офиціальныи семестръ сокращается профессорскими манкировками, — а таковыя — *conditio sine qua pop.* — до предѣловъ почти комическихъ.

Слушать въ римскомъ университетѣ русскому студенту некого. На юридическомъ факультетѣ очень интересень, но только интересень, талантливый криминалистъ, уже названный Энрико Ферри. Но онъ на три четверти политикъ, и въ этомъ его привлекательная сила, потому что въ остальной, научной своей четверти онъ — слѣпой рабъ отсталой «ломбрововщины», съ которою русское юношество, даже и гимназической скамьи, покончило счеты уже лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Ферри — блестящій трибунъ, которымъ очень можно увлекаться: дивный, яркій ораторъ, смѣлый публицистъ и честный человекъ! — профессура же его — частью дилетантство преданнаго ученика отжившей школы, главнымъ же образомъ — средство для постояннаго общенія съ молодежью. Знаменитый Лабріола умеръ...

Предо мною — расписаніе историко-филологическаго факультета. До чего онъ слабъ — даже сравнительно съ нашими, оскопленными по новому уставу! «Имень» почти нѣтъ. Ни одной сколько нибудь оригинальной фигуры, символизирующей «школу». Юлій Белохъ — пожалуй, потому что, по своимъ заслугамъ историка-археолога, онъ, конечно, символъ самостоятельной школы. Но — только не на кафедрѣ. Прошлый годъ онъ читалъ исторію Пелопонесской войны, и слушатели вспоминаютъ съ единодушнымъ ужасомъ эту подробнѣйшую реляцію дипломатическихъ и военныхъ стычекъ, происходившихъ слишкомъ двѣ тысячи лѣтъ назадъ, изо дня въ день, — безъ общихъ, руководящихъ взглядовъ, безъ малѣйшаго желанія внушить слу-

шателю, зачѣмъ, собственно, надобно ему знать объ этихъ старыхъ покойникахъ. Прибавьте къ этому скверный итальянскій языкъ Белоха, котораго, въ германизмахъ его, часто не понимаютъ сами итальянцы. Белоха лучше читать по-нѣмецки, чѣмъ слушать по-итальянски. А, между тѣмъ, это—главная сила и приманка римской «*facolta di lettere e filosofia*».

Затѣмъ слѣдуетъ Анджело де Губернатисъ, хорошо извѣстный въ Россіи, потому что онъ былъ когда-то секретаремъ у Герцена и дружилъ съ Алексѣемъ Толстымъ, Тургеневымъ и др. Уже изъ этихъ именъ слѣдуетъ, что онъ—человѣкъ древній, кажется, даже черезчуръ древній, ибо недавно насмѣшилъ и сконфузилъ молодежь, купивъ себѣ графскій титулъ: чванство—болѣе, чѣмъ странное для бывшаго друга Герцена. Заслуженный переводчикъ, авторъ многихъ искусныхъ компиляцій по исторіи европейскихъ литературъ, самостоятельностью онъ никогда не отличался, а къ старости совсѣмъ застрялъ въ отжившихъ шаблонахъ и рутинахъ. Воодушевляется, только развивая темы итальянскаго націонализма, которыя умѣетъ прицѣпить даже къ толкованію сонетовъ Петрарки. Итальянцамъ-патріотамъ онъ, можетъ быть, еще хоть скольконибудь интересенъ,—для русскаго слушать его столь же полезно, какъ, напри- мѣръ, сидя въ Калугѣ, выписывать, для политическаго освѣдомленія, какойнибудь «*Popolo Romano*».

Курсы двухъ другихъ звѣздъ факультета, философа Берцелотти и историка искусствъ Лева, поражаютъ страшною отсталостью школы. Русскій образованный юноша чувствуетъ себя на ихъ лекціяхъ дико, словно его попя- тили лѣтъ за пятьдесятъ, за Чернышевскаго и даже едва ли не за Бѣлинскаго—къ Степану Шевыреву, съ его голою эстетикою и правовѣрными формулами казенной красоты и схематическаго мышленія. Кстати сказать: Шевыревъ былъ большой поклонникъ итальянской науки, и онъ—одинъ изъ немногихъ русскихъ ученыхъ про-

шлаго, чье имя не чуждо Италиі. Лекціи его переведены на итальянскій языкъ, и «спеціалисты» отзываются о нихъ съ уваженіемъ... Нѣтъ, «вы подумайте!» какъ восклицаетъ въ «Вишневомъ саду» Симеоновъ-Пищикъ. Вы представьте себѣ шевыревскую лекцію въ современномъ русскомъ университетѣ! Сколько бы минутъ она продолжалась? Черезъ сколько бы минутъ остановили ее шиканьемъ, какъ бросаніе въ воду камешковъ — и даже безъ наблюденія за кругами, тѣмъ образуемыми?

Въ Римѣ имѣется нѣчто вродѣ вольнаго католическаго университета—«Аркадія», на Corso Umberto, при церкви San Carlo. Тамъ тоже есть свои звѣзды: Ораціо Марукки, одинъ изъ лучшихъ археологовъ римской эпохи, и монсиньоръ Бартолини, читающій «Commento della Divina Commedia», то есть пережевывающій букву Данта. Я прослушалъ двѣ лекціи и сбѣжалъ: ужъ очень глупо показалось! Словно въ бирюльки человекъ играетъ... Битыхъ полчаса объясняетъ публикѣ, почему стихъ Данта, гдѣ попадается имя Semele (Семела), красивѣе, если удареніе будетъ на первомъ е, а не на послѣднемъ. А въ промежуткахъ—восклицанія:

— О, Данте! О, какъ великъ Данте! Смотрите: даже тѣни его лучезарны!

И—опять-таки вся эта сантиментальщина заставляетъ русскаго слушателя улыбаться, невольно будя въ памяти знаменитый курьезный стихъ того же Шевырева:

— Что въ морѣ купаться, то Данта читать!

Мы, русскіе, имѣемъ недостатокъ ужъ слишкомъ большого равнодушія къ своимъ великимъ людямъ. А итальянцы, наоборотъ, могутъ жизнь отравить идолопоклонствомъ къ геніямъ своего прошлаго, либо къ тѣмъ, кто выслуживается въ оныя, какъ теперь Джозуэ Кардуччи. Критики ни малѣйшей. Сплошные восторги, высокопарная декламация и фразы, фразы, фразы... Когда дѣло доходитъ до Данта, болтовня становится особенно не-

сносно, тѣмъ болѣе, что я съ 1885 и по сей годъ не слышалъ еще ни одного комментатора della poesia dantesca, который въ концѣ чтенія не выразилъ бы желанія, чтобы великій поэтъ всталъ изъ гроба—полюбоваться (если ораторъ сторонникъ правительства), или огорчиться (если ораторъ клерикаль) зрѣлищемъ современной Италіи.

Мнѣ эти призывы Данта воскреснутъ всегда напоминаютъ анекдотъ Екатерининской эпохи. Въ столѣтнюю годовщину рожденія Петра Великаго митрополитъ Платонъ сказалъ блистательную проповѣдь и—при заключительныхъ словахъ ея—эффектно ринулся къ гробницѣ царя-реформатора, восклицая:

— Возстань, великій монархъ! Возстань и взгляни на плоды дѣлъ твоихъ!

И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Всѣ были потрясены, растроганы. И только хохоль Разумовскій, въ простотѣ душевной, философически замѣтилъ:

— Чого вінъ його кличе? Якъ встане съ дубинкою, усіхъ насъ, дурней, змордуе!

Театральщина на кафедрахъ—болезненное мѣсто итальянской профессуры. Мы, москвичи-юристы восьмидесятихъ годовъ, издѣвались когда-то надъ «ужимками и прыжками» ученѣйшаго и дѣльнѣйшаго философа М. М. Троицкаго, который сегодня танцоваль предъ нами балетъ о Платонѣ, завтра объ Аристотелѣ, послѣзавтра—о Миллѣ. Но Берцелотти—Троицкій въ кубѣ, безъ его дѣльности, безъ его званія, безъ его твердости въ направленіи и выработкѣ мысли, безъ его точности въ направленіяхъ. Фраза и поза, поза и фраза. Лево—хорошій знатокъ-практикъ древняго искусства, но къ нему на лекціи многіе ходять прямо какъ въ циркъ: такія представленія даетъ онъ почтеннѣйшей публикѣ! Вообразите себѣ жидкаго вѣнскаго нѣмца, который силится передать слушателямъ фигурую своею позы Аполлона

Бельведерскаго, умирающаго Мелеагра, Антиноя, Гермеса... Это, пожалуй, курьезнѣе, чѣмъ попытка Чичикова изобразить на полномъ лицѣ своемъ сублимность невинной институтки! Студенты грохочутъ. Профессоръ радъ: онъ имѣлъ успѣхъ,—занялъ аудиторію. Между тѣмъ, Лева—изъ лучшихъ лекторовъ и, хотя формально, отлично знаетъ матеріалы своего предмета: это ходячій и очень систематическій каталогъ итальянскихъ церквей и музеевъ. За успѣхомъ, за аплодисментами всѣ гонятся, какъ дѣти. Старикъ Губернитисъ читаетъ сонеты Петрарки, аудиторія мало-по-малу пустѣетъ, какъ степь Гоби. Самолюбивый старикъ—сейчасъ же пуститъ громкую фразу объ Иннсбрукѣ, о Триестѣ и Трентѣ... Студенты, еще не успѣвшіе очистить степь Гоби отъ своего присутствія, патриотически вопятъ и хлопаютъ. Ушедшіе заинтересованы, возвращаются и, узнавъ въ чемъ дѣло, тоже хлопаютъ и кричатъ... Де-Губернитисъ плаваетъ въ океанѣ блаженства. Это здѣсь называется наукою.

Никакихъ практическихъ занятій, семинаріевъ, рефератовъ, сочиненій римскій университетъ не знаетъ. Ферри иногда устраиваетъ студенческіе диспуты, но Ферри—обремененная заботами нянька семи дѣтей!—системы и у него никакой быть не можетъ. Лева иногда предлагаетъ своимъ слушателямъ:

— Опишите мнѣ архитектуру такого-то зданія... живопись такой-то церкви...

И такъ ужъ не избалованы профессора стзывчивостью своей аудиторіи, что каждая, не вовсе дикая и не выписанная нагло изъ слишкомъ извѣстнаго путеводителя работа встрѣчаетъ на кафедрѣ восторги и одобренія... Наши русскія студентки перестали подавать сочиненія.

— Почему?

— Противно... Что ни пиши, все равно: *gentilissima signorina... sublime lavoro...* тошнить!.. Хоть «Бову Королевича» напиши,—все равно *gentilissima signorina* и *sublime*

лагого... Потому что—какъ же это позабыть въ студенткѣ барышню и обругать барышню за то, что барышня, вмѣсто дѣла, ерунду пишетъ?—Это выше силъ итальянца! Этого здѣсь понять не могутъ!

Въ числѣ звѣздъ я не упомянулъ нѣкоторыхъ, чья наука такъ спеціальна, что не можетъ играть большой роли въ общемъ развитіи, ради котораго студентъ вступаетъ въ не дающій гражданскихъ правъ университетъ. Ланціани—большое, единственное въ своемъ родѣ, европейское имя, но его узко-археологическое знаніе, заключенное въ стѣнахъ Вѣчнаго Города, въ Россіи врядъ ли нужно болѣе, чѣмъ сотнѣ человѣкъ.

Такимъ образомъ, ни со стороны организациі занятій, ни со стороны профессорскаго персонала, римскій университетъ не можетъ быть магнитомъ особенно сильнаго притяженія для ищущихъ знанія русскихъ. Посмотримъ теперь въ студенческую жизнь,—такъ ли ужъ и она завидна?

Нечего и говорить, что публичность—идеаль университетской науки. Но оказывается, что даже этотъ, казалось бы, абсолютный принципъ не свободенъ отъ подчиненія закону—«нѣтъ правила безъ исключенія». Отъ той широкой публичности, которая теоретически восхищаетъ насъ въ итальянскихъ университетахъ, римскіе профессора подобросовѣстнѣе и студенты, желающіе обстоятельно заниматься, на практикѣ волками воютъ. Зависитъ это отъ состава публики. Римъ зимою полонъ праздныхъ иностранцевъ, наводняющихъ аудиторіи, когда надоѣдаютъ имъ музеи и развалины. У нѣкоторыхъ профессоровъ, въ особенности—по искусствамъ, студенты положительно оттерты отъ кафедры случайною толпою, мѣняющеюся въ составѣ своемъ чуть не каждый день. Характеръ аудиторіи не можетъ не вліять на лекторовъ. Имѣя предъ собою зыбкую массу, съ поверхностнымъ интересомъ къ знанію и къ тому же слабо

повимающую по-итальянски, профессора невольно приучаются жертвовать ея вкусамъ своею системою и обязанностями къ студентамъ. Въ лекціи вкрадывается элементарность и схематичность черезчуръ уже популярнаго свойства.

— Мнѣ иногда кажется, что я сижу въ Соляномъ городкѣ!—говорить мнѣ часто русская студентка изъ Петербурга. А студентка-москвичка находить:

— Похоже—какъ у насъ въ Историческомъ музеѣ!

Я упоминалъ объ «Аркадіи», смѣшное названіе которой говоритъ русскому воображенію скорѣе объ увеселительномъ садѣ какомъ нибудь,—однако, это вольный университетъ, да еще католическій. Мнѣ захотѣлось возобновить въ памяти курсъ исторіи среднихъ вѣковъ, я началъ слушать Принцивалли, очень милого лектора съ фамиліей кондотьера изъ «Монны Ванны». Но больше трехъ лекцій не выдержалъ: пустая трата времени! У насъ такіе анекдотическіе курсы давно уже исчезли изъ системы высшаго образованія и переданы въ репертуаръ народныхъ чтеній съ волшебнымъ фонаремъ и туманными картинами. Выражаю свое педоумѣніе ученому итальянцу А.

— Помилуйте!—говорить.—Какъ же иначе-то? Это было затѣяно для дѣловой интеллигенціи, которая занята до четырехъ-пяти часовъ дня, и ей очень удобно и пріятно прослушать хорошую лекцію между прогулкою и обѣдомъ. Сперва въ «Аркадіи» читали серьезно и для дѣльной публики. Но затѣмъ вторглись скучающіе иностранцы, которымъ некуда дѣвать своихъ вечеровъ,—и теперь тамъ госпожи положенія—*streghe forestiere* (иностранныя вѣдьмы): пожилыя англичанки, нѣмецкія старыя дѣвы, двѣтри русскія. Составъ аудиторіи подчинилъ себѣ каедрю, и человѣку, съ систематическимъ образованіемъ, конечно, некого и нечего слушать въ «Аркадіи»... развѣ еще Марукки...

Особенно страдаютъ въ Римѣ отъ чрезмѣрной публич-

ности лекціи, требующія извѣстной интимности профессора съ аудиторіей, непосредственнаго общенія съ индивидуальнымъ пониманіемъ слушателя. Лева, читающій исторію искусствъ, откровенно жалуется, что лекціи его, сопровождаемыя демонстраціями гравюръ, статуэтокъ, орнаментовъ и т. п., совершенно бесполезны для студентовъ.

— Едва ли четверть ихъ видитъ то, что я имъ показываю. Рисунокъ, пущенный въ аудиторію, безцѣльно ходитъ по рукамъ любопытныхъ, которые случайно забрели послушать меня и больше никогда уже не придуть, потому что черезъ недѣлю одинъ будетъ въ Лондонѣ, другой въ Вѣнѣ, третій въ Москвѣ... Я отъ души предпочелъ бы, чтобы публичность моихъ лекцій была какъ нибудь ограничена. Слегка искусствомъ интересуются всѣ, глубоко—двадцать человѣкъ. И вотъ съ этими то двадцатью, оказывается, какъ разъ и не удастся заняться!

Встрѣчаю знакомаго студента-филолога изъ работающихъ, нагруженнаго книгами.

— До свиданія: їду къ себѣ въ Орвіето,—читать.

— Какъ? въ самомъ началѣ семестра?

— Да, видите ли, тутъ были австрійскія безобразія въ Инсбрукѣ; потомъ крещеніе наслѣднаго принца, послѣзавтра пятидесятилѣтній юбилей догмата о Непорочномъ Зачатіи... значить, матеріала для политики хватить университету недѣли на три! Что же я буду терять время? Поїду работать дома въ Орвіето.

Въ 1904 г. патріотическія демонстраціи тоже по поводу столкновеній въ Инсбрукѣ остановили теченіе университетской жизни на добрый мѣсяць, причемъ четырнадцать дней продолжалось официальное закрытіе университета. А затѣмъ,—послѣ того, какъ блокада науки была снята на честное слово де-Губернатиса,—студенты не хотѣли ничего слушать, кромѣ націоналистическихъ выкриковъ, а въ нихъ, начиная съ громкихъ фразъ того же де-Губернатиса, недостатка не было. Въ промежуткахъ

дрались съ «мирными» партіями космополитовъ и соціалистовъ.

Университетъ готовить челоуѣка къ гражданской жизни, и политическій интересъ въ студенчествѣ имѣеть столь же законныя права, какъ научный. Но русскимъ-то студентамъ, въ то время, какъ итальянскіе студенты дѣлають свою политику, уже рѣшительно ничего не остается дѣлать: произвольныя каникулы! Потому-то г. Вл. Ж. правъ въ своемъ совѣтѣ землякамъ—не вмѣшиваться въ безпорядки итальянскихъ товарищей, такъ какъ послѣдніе принимаютъ вмѣшательство иностранцевъ не только холодно, но даже враждебно. Гордый принципъ «Italia fara da se»—правственный законъ здѣшной молодежи, даже въ социалистическихъ кругахъ, проповѣдующихъ взгляды космополитическіе. Одно дѣло—теорія, другое—практика, вдохновляемая историческимъ инстинктомъ недавно освобожденной и объединенной народности. И вотъ—итальянская студенческая политика отшвыриваетъ иностранца отъ общенія съ нею: значить, для студента русскаго теряется смыслъ университета, какъ школы политическаго поведенія. И та же политика страшно сокращаетъ время и энергію научныхъ занятій. Такимъ образомъ, русскій студентъ въ итальянскомъ университетѣ остается и безъ политики, и безъ науки—при одномъ пассивномъ созерцаніи кипучей жизни товарищей и красотъ итальянской природы. Хорошо, у кого есть на то время и деньги, потому что,—какъ-никакъ, а вѣдь безъ 100 лиръ (37 рублей) въ мѣсяцъ, это въ Римѣ—уже собачья жизнь, даже для выносливыхъ 20—23 лѣтъ... Короткій курсъ, съ малочисленностью обязательныхъ предметовъ, очень выгоденъ студентамъ, но—если онъ долженъ растянуться *ad infinitum* по «независящимъ обстоятельствамъ», то дешевое вырастаетъ въ весьма дорогое: время—деньги!..

Я думаю, что практическіе совѣты г. Вл. Ж., какъ съ итальянскими волками жить и по-волчьи выть, далеко не

всѣ желательны къ исполненію, а многіе вызываютъ даже недоумѣніе. Напримѣръ,—совѣтъ учиться у итальянской молодежи опрятности, такъ какъ «европеецъ воспитанъ на гигиенѣ». Гдѣ угодно, только не на трехъ Средиземныхъ полуостровахъ! Хороши учителя гигиены, когда въ Римѣ на 600.000 жителей — двѣнадцать бань! а квартиры съ ваннами рѣдки даже въ «кварталахъ иностранцевъ» — вокругъ Pincio, по Corso Umberto и до Piazza Colonna включительно. Водобоязнь и мытье шеи подъ малое или большое декольте, глядя по торжественности случая, свирѣпствуютъ въ итальянскомъ обществѣ неисправимо. Знаменитая генуэзка Гюи-де-Мопассана, которая, оставшись дѣлать свой туалетъ, послѣ желѣзной дороги, извела на себя всѣ мази, духи, пудру изъ несессера своего спутника, но не истратила ни одной капли воды,—типъ безсмертный. И—извините за щекотливую подробность!—долго посидѣвъ даже и въ весьма порядочномъ итальянскомъ обществѣ, хотя бы и на лекціи какой либо, потомъ всегда не лишнее отдать свое платье встряхнуть и почистить щеткою. А то—что-то кусается...

О подражаніи итальянской гигиены, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Что касается подражанія итальянской внѣшней, дешевой, правда, здѣсь, щеголеватости, то, право, не знаю, стоитъ ли подчиняться этому фальшивому шаблону бумажныхъ воротничковъ, модныхъ пиджаковъ и яркихъ галстуховъ, прикрывающихъ грязныя шерстяныя фуфайки. Думаю, что лучше соблюдать свою личную чистоту для себя, а сверху—для людей—и грубая твиновая блуза—не грѣхъ. Погоня за буржуазнымъ франтовствомъ дѣлаетъ итальянскую студенческую массу въ собраніяхъ ея, на нашъ русскій взглядъ, необычайно похожею на пикникъ приказчиковъ изъ модныхъ лавоѳъ. Надо имѣть смѣлость не поддаваться этому опошленію: деньги, заплаченные за дюжину бумажныхъ воротничковъ; гораздо бы полезнѣе, умнѣе и даже достойнѣе заплатить прачкѣ за лишнюю

стирку бѣлья, обыкновенно занашиваемаго недѣлями. Казаться франтомъ—это язва южной молодежи. Русскимъ ее усваивать рѣшительно не къ чему. Да и въ послѣднихъ поколѣнiяхъ итальянскаго юношества замѣтенъ протестъ противъ этой напрасной и, все-таки, даже при дешевизнѣ, накладной традиціи. Практичный тирольскій «лодень» сильно сократилъ это баловство. Въ социалистическихъ кружкахъ оно быстро исчезаетъ.

Г. Вл. Ж. предостерегаетъ противъ намѣренiя «перевоспитывать націю». Но во многомъ «перевоспитать» необходимо итальянское юношество, иначе общенiе съ нимъ для иностранца и, въ особенности, для иностранки неприятно. Иностранныя студентки въ одинъ голосъ жалуются на полнѣйшее нежеланiе римскаго студенчества стать къ нимъ въ товарищескія отношенiя: равенства нѣтъ ни малѣйшаго,—пошлѣйшее ферлакурство заполняетъ въ аудиторiяхъ антракты между лекціями, на улицѣ студентъ ни мало не стѣсняется пристать къ дѣвушкѣ, съ которою онъ рядомъ только что сидѣлъ и слушалъ курсъ философіи или права. Барышня, дама, женщина, самка заслоняютъ товарища. Римъ—вообще, городъ съ распущенною улицею. И теперь гораздо больше, чѣмъ раньше, даже лѣтъ пять назадъ. Молодая, недурная собою, женщина на десяти шагахъ слышитъ два-три заигрывающихъ восклицанiя:

— *Angiolo biondo!*

— *Che bel pezzo di carne!*

И тому подобныя прелести. При случаѣ, уличный ловеласъ не прочь и ущипнуть, и обнять мимоходомъ. Эмансипація женская на югѣ Италіи—дѣло новое, и даже въ Римѣ еще не утратился взглядъ, что если дама одна на улицѣ или въ кафе, то—отчего же нѣтъ?! и Богъ молъ велѣлъ поохотиться на нее желающему мужчинѣ, какъ на дичь своего рода... Надо, впрочемъ, отдать справедливость итальянцамъ, что въ этой сквер-

ной привычкѣ у нихъ больше шалости, чѣмъ злого умысла, и отвязаться отъ наивныхъ и грубыхъ мужскихъ удочекъ, закидываемыхъ наудачу, не клонеть ли, весьма не трудно. Обижаться «не принято», обидчивость вызываетъ смѣхъ. Лучше всего дамѣ стараться сохранить незлобивость голубя и мудрость змія, дѣлая видъ, что она совершенно не замѣчаетъ волокитъ, что, однако, не всегда легко и пріятно.

— У меня — система! похвальнось мнѣ одна нѣмка. Браниться, протестовать, угрожать совершенно напрасно... Надо обидѣть итальянца: тогда онъ отвязется.

— То-есть?

— Въ его національной гордости обидѣть... Если ужъ очень нахаль, я ему сейчасъ же преполношу фразу:—Пожалуйста, оставьте это, я не итальянка, и мнѣ подобныя пошлости не улыбаются.

— И отстаютъ?

— Моментально, обязательно и—съ самыми оскорбленными фізіономіями.

— А не рискуете вы неприятностями?

— О, нѣтъ... За исключеніемъ любовной навязчивости, они къ женщинамъ—рыцари: деликатнѣйшій народъ!

— Такъ что и обижать жалко?

— Такъ что и обижать жалко.

Одна изъ моихъ русскихъ знакомыхъ—что ни выйдетъ на Via Tritone, то возвращается со слезами на глазахъ: блондинкамъ здѣсь паче всѣхъ прочихъ нѣтъ прохода.

— Но вы часто возвращаетесь по ночамъ изъ театра, съ засѣданія какогонибудь... Какъ же тогда?

— Представьте: тогда не пристають... Даже у такихъ бойкихъ мѣсть, какъ Cafe Aragno...

— Странно!

— Я предписываю это тому, что порядочная женщина ночью, одна, пѣшкомъ, на улицѣ—въ Римѣ такая

рѣдкость, что неожиданность повергаетъ этихъ господъ въ нѣкоторое ослѣбленіе... ну, и пользуйся случаемъ, проходи скорымъ шагомъ, покуда цѣла!

Я самъ былъ свидѣтелемъ слѣдующей сцены. Съ Капитолія спускалась дама хорошо одѣтая, фигуры дѣйствительно рѣдкостной. Обгоняетъ ее, летучею типическою походкою своего полка, какой-то берсальеръ. Крикнулъ что-то на счетъ *bellezza celeste*, обнялъ мимоходомъ красавицу за плечи и полетѣлъ своею дорогою дальше... Думаю:

— Будетъ скандалъ!

Ни малѣйшаго. Кругомъ улыбались, но скорѣе—съ уваженіемъ къ красивой дамѣ, чѣмъ съ насмѣшкою надъ неожиданнымъ объятіемъ... Дама—что называется, бровью не повела и тоже улыбалась,—кажется, была польщена.

— Это въ нихъ не что нибудь скверное,—увѣряетъ меня одна изъ фанатическихъ защитницъ итальянскихъ нравовъ,—это поклоненіе красотѣ...

Но, какъ ни называй, ни извиняй, а, все-таки, оно надоѣдливо и противно. И, къ сожалѣнію, надо признаться, что въ банды *Frauenjäger*'овъ, рыскающихъ по римскимъ улицамъ, студенчество даетъ огромный процентъ. Виною, конечно, праздность! Сегодня 9 декабря, а во всемъ университетѣ начался только одинъ курсъ гражданскаго права. На историко-филологическомъ факультетѣ еще не объявлены даже часы лекцій. У медиковъ по клиникамъ зачитали. Тамъ вотъ есть интересные люди: антропологъ Серджи, физиологъ Данте де-Сантисъ...

Девятнадцатый вѣкъ, провозгласившій общественное равенство половъ, и двадцатый, проводящій принципъ его въ жизнь, еще борятся въ Римѣ съ традиціями средневѣковыхъ гинекеевъ. Сейчасъ въ Римѣ модно для дѣвушки посѣщать университетскія лекціи. Но приличіе требуетъ, чтобы ее сопровождала въ аудиторію ком-

паньонка или, по крайней мѣрѣ, горничная: новый элементъ для переполненія аудиторій, и безъ того тѣсныхъ.

Значеніе этой нелѣпой предохранительной мѣры смѣшно характеризовалъ мнѣ одинъ студентъ-юристъ, изрядный Донъ-Жуанъ и типическій латинскій циникъ, котораго я спрашивалъ о достоинствѣ подобныхъ презервативовъ:

— Мы имѣемъ пословицу: у одной женщины—одинъ любовникъ, у двухъ—четыре!

Порядочная, хорошо уважающая себя дѣвушка сумѣетъ оградить свое достоинство отъ нахаловъ безъ всякихъ приставницъ. Для искательницъ же амуровъ и приключеній дуэнья—только лишнее орудіе для завязки романа...

1904.

---

## Артистъ Граесо.

---

Намъ, русскимъ, теперь не до искусства, но все-таки я прошу позволенія сказать нѣсколько словъ объ искусствѣ. Они, можетъ быть, будутъ и не совсѣмъ некстати, потому что, какъ вижу изъ русскихъ газетъ, въ Россіи сейчасъ театральнѣй кризисъ, обусловленный, кромѣ экономическихъ причинъ, и венадобностью для публики, нашедшей въ себѣ наконецъ интересы общественныя и политическія, тѣхъ безразличныхъ зрѣлицъ для зрѣлицъ, въ которыя выродилась наша скованная и оскопленная цензурными насиліями сцена. Огромная потребность общества въ публицистическомъ театрѣ остается покуда неудовлетворенною или удовлетворенною слишкомъ мало, съ обходами, аллегоріями, требованіями догадокъ и комментаріевъ. А другого театра по времени не нужно. До такой степени не нужно, что—вотъ писали мнѣ въ Парижѣ знатные русскіе артисты: публика и въ старомъ-то репертуарѣ, въ «искусствѣ для искусства», въ «психологическихъ» и прочихъ этюдахъ, въ «пьесахъ настроенія», теперь жадно ловить только реплики, способныя къ публицистическому толкованію, какъ намеки на наши внутреннія текущія событія, и только на такія двусмысленныя фразы хорошо и дружелюбно реагируетъ. Отъ этой участи не ушелъ даже классическій репертуаръ. Шиллеръ воскре-

саеть въ совершенно новомъ освѣщеніи. «Вильгельмъ Телль», отъ котораго публика, лѣтъ пять-шесть назадъ, засыпала при хорошемъ исполненіи, теперь—любимая пьеса даже при исполненіи скверномъ. «Донъ Карлоса» полицеймейстеры въ провинціи перестали разрѣшать къ представленію. «Эрнани» Гюго русскій театръ слушаетъ совершенно съ тѣмъ же вниманіемъ и настроеніемъ, какъ слушалъ его—еще молодую пьесу—французскій театръ передъ 48 годомъ. Кое-кому изъ моихъ корреспондентовъ, полагающихъ, что искусство есть сила самодовлѣющая и обращенная внутрь себя, этотъ поворотъ интересовъ публики очень не нравится и представляется паденіемъ художественнаго вкуса. А, по-моему, онъ очень радостное явленіе. Наше общество такъ долго жило для театра, что пора театру жить для общества,—стать одною изъ служебныхъ силъ политическаго воскресенія Россіи, буде на таковое у россиявъ не окажутся коротки руки, и всѣми способами содѣйствовать единой цѣли: чтобы руки росли и набирались силы, росли.. хотя бы съ тою же энергіей, какъ покуда растутъ и крѣпчаютъ языки. До тѣхъ поръ, пока русскій театръ остается въ рукахъ тройной цензуры, особыхъ услугъ отъ него русское передовое движеніе ни получить не можетъ, ни ожидать не должно. Но въ прямыхъ интересахъ своихъ это движеніе обязано добиваться свободы театра съ неменьшею настойчивостью, чѣмъ свободы печати, и—авось!—даже съ большею, потому что, откровенно-то говоря, та энергія, которую русское передовое движеніе до сихъ поръ потратило, чтобы добиться свободы печати, немного вытянетъ на нервномъ силомѣрѣ. Что можетъ дать современности русскій театръ, если удастся ему свергнуть цензурную инквизицію, примѣръ тому или, скорѣе, намекъ на то мы видѣли въ «На днѣ» Максима Горькаго. Появленіе этой пьесы я считаю эрою въ лѣтописяхъ нашей не только литературно-театральной, но и общественно-политической

мысли. А вѣдь «На днѣ» — пьеса, все же прошедшая цензурныя мытарства и лишь умѣвшая проюркнуть сквозь нихъ цѣною искусныхъ компромиссовъ. Не въ эстетической критикѣ сейчасъ дѣло, что художественно, что нѣтъ, какой театръ правъ, какой виноватъ. Важно, чтобы театръ впрягся въ общую телѣгу и тянулъ ея грузъ вровень съ другими національными силами. Если онъ это дѣлаетъ, онъ полезенъ и нуженъ, если нѣтъ—нѣтъ. Театръ-тормазъ подлежитъ уничтоженію; театръ безразличной эстетики, умирая отъ безразличія же публики къ судьбамъ его, какъ бесполезной роскоши, уныло взываетъ о спасеніи къ средствамъ благотворительности; театръ-двигатель ищетъ родиться и, родившись, будетъ расти, процвѣтать и помогать.

Исключеніемъ изъ правила въ современномъ театральномъ обнищаніи оказались, какъ явствуетъ изъ газетъ, театры національные, разрѣшенные, наконецъ, къ существованію либо болѣе или менѣе терпимые. Кромѣ богатѣйшей польской литературы, драматическая поэзія которой стоитъ даже выше русской, въ составѣ народовъ государства російскаго ни одинъ не выростилъ свою драматургію до уровня истинной художественности, чему, конечно, виною—опять-таки свирѣпыя цензурныя тиски, своимъ безнадежнымъ гнетомъ парализовавшіе сценическое творчество, отнимавшіе у него цѣлесообразность. Всѣ національныя сцены питаются завалью кустарнаго производства, передѣлками, приспособленіями, часто даже просто плагіатами. Восторги публики и жирныя сборы вызываетъ, конечно, не это сомнительное творчество и даже не искусство артистовъ-исполнителей: за исключеніемъ сцены, опять-таки, польской и малороссійской, ни одинъ изъ національныхъ театровъ не свободенъ отъ примѣси любительства. Въ публикѣ говорить интересъ не театральный, но политическій: счастье слышать свою рѣчь, созерцать воплощенную въ слово личность своего народа. Какъ извѣстно, это естественное стремленіе

до сихъ поръ понималось у насъ, какъ симптомъ сепаратистическихъ тяготѣній, и дуракъ Стецко въ «Сватанни на Гончаривцахъ» почитался серьезно опаснымъ «на случай отдѣленія кобеляцкаго уѣзда отъ россійской имперіи». Если предразсудокъ этотъ, наконецъ, палъ или хотя ослабъ, можно было бы возблагодарить Творца всѣхъ, что навелъ онъ на умъ государство, которое такъ долго и такъ напрасно, въ прямой ущербъ себѣ, отталкивало силу, себѣ полезную и союзную.

Я много скитаюсь по Европѣ, и нѣтъ въ ней ни единого уголка, гдѣ бы я на-ряду съ театрами обще-литературнаго «государственнаго» языка не находилъ сценъ, посвященныхъ не только языкамъ союзныхъ народовъ, но даже мѣстнымъ нарѣчіямъ, жаргонамъ. И цѣлость германской имперіи отнюдь не въ опасности отъ того, что въ Мюнхенѣ мужики устроили театръ, на которомъ, подъ управленіемъ Розеггера, разыгрываютъ баварскія народныя пьесы. И равнымъ образомъ *Italia Unita* никакъ не думаетъ развалиться на части и подпасть снова подъ австрійское иго изъ-за того, что знаменитый Грассо не умѣетъ играть иначе, какъ по-сициліански, а одинъ изъ лучшихъ современныхъ комиковъ Италіи, если не лучшій, Андреа Никколи специализировался въ жанрѣ флорентинскаго *Stenterello* и нашелъ въ немъ свою вторую натуру. Въ Віареджіо, гдѣ я проводилъ лѣто, одно время играли три труппы нарѣчій: сициліанская, флорентинская и неаполитанская. Въ Римѣ театры мѣстнаго народнаго жаргона имѣются едва ли не во всѣхъ раіонахъ города. Въ Миланѣ, въ Венеціи, въ Неаполѣ—то же самое. И священнымъ опытомъ доказано то, что если въ какомъ нибудь Удине гостить венеціанская труппа, то это—совсѣмъ не въ цѣляхъ возстановленія венеціанской республики и похищенія у объединившейся Италіи драгоценнаго удинскаго уѣзда, но съ единственнымъ расчетомъ—заработать деньги, давая представленія на всѣмъ понятномъ ходовомъ языкѣ. Больше того: австрій-

ская полиція, подозрительностью ближе всего стоящая къ нашей, совсѣмъ не въ ужасѣ, когда въ Тренто, столицѣ итальянскаго Тироля, Карло Дузе ставитъ по-итальянски «Похищеніе сабинянокъ». А почитайте-ка «Записки» Крапивницкаго! Чего-чего не претерпѣлъ этотъ старый человѣкъ!

Грассо—очень сильная фигура въ современномъ драматическомъ искусствѣ, хотя справедливость требуетъ сознаться—первыя впечатлѣнія этой силы столь громадны, что послѣдующія кажутся уже разочарованіями. Зависятъ разочарованія отъ страшно однообразнаго репертуара Грассо. Приходится, къ сожалѣнію, сказать, что—кто видѣлъ его одинъ разъ, тотъ уже видѣлъ его и всегда, и въ первый разъ обязательно сильнѣе, чѣмъ всегда. Я впервые видѣлъ его въ «Malìa» (Волшебство)—показной народной пьесѣ, которую труппа Грассо обычно начинаетъ свои гастроли, потому что здѣсь и самъ премьеръ, и его ученица Мими Агулья, первая актриса персонала, берутъ предѣльные ноты своего діапазона. Затѣмъ посмотрѣлъ «Juan Jose»—хорошо, но то же самое, что въ «Malìa», только слабѣе, потому что пьеса ужъ слишкомъ глупа. Потомъ въ «Feudalismo»: великолѣпно, но опять то же самое, что въ «Malìa» и лишь съ двумя-тремя новыми эффектами чисто внѣшняго характера, которые могли быть, могли и не быть, какъ выигрышныя актерскія штучки, но отнюдь не логическая необходимость. А дальше началась прямо скука: «Zolfara», «Maffiusi», «Maruzza», «Figlia di Jorio», «Morte civile»—все одна и та же фигура въ нѣсколькихъ, очень мало разныхъ варіаціяхъ, сегодня лучше, завтра хуже, то умирающая, то убивающая, изо дня въ день ревнующая, съ преогромнымъ ножомъ въ рукахъ, съ битьемъ посуды, швыряньемъ мебели и т. д., и т. д. Изъ всѣхъ страстей человѣческихъ ревность самая мнѣ непонятная и противная, и эффекты ея для меня наименѣе уловимы, извинительны, объяснимы. Я никогда не могъ примириться

съ чувствомъ физической и нравственной собственности мужчины на женщину (и обратно), которое выражается ревностью, и не заставили меня любить и жалѣть ихъ ни Отелло, ни Позднышевъ. Такъ что Грассо встрѣтилъ во мнѣ зрителя, очень предубѣжденнаго. И то обстоятельство, что въ «Malia» онъ потрясъ меня силою темперамента, энергій страсти — вопреки предубѣжденію, которое началось чуть ли не съ первыхъ же словъ наивной, первобытной, сразу насквозь прозрачной роли — заставляеть меня относиться къ нему съ особеннымъ вниманіемъ и уваженіемъ.

Я не стану пересказывать вамъ ни единой изъ пьесъ въ репертуарѣ Грассо. «Figlia di Jorio» и «Семья преступника» (*La morte civile*) популярна въ Россіи, какъ не всякая оригинальная пьеса. Если сказать, что два эти, далеко не великія, произведенія — самыя литературныя въ репертуарѣ Грассо, вы легко составите понятіе объ уровнѣ остального. А затѣмъ нуженъ не пересказъ, но лишь общая схема. Ова же одна всюду: въ «Malia», въ «Feudalismo», «Zolfara» и т. д. Простака изъ народа (крестьянинъ, рабочій, пастухъ, рудокопъ) любитъ дѣвушку, которая тайно принадлежитъ «барину», помѣщику, фермеру побогаче, старшему мастеру въ сѣрныхъ копяхъ, директору купальнаго мѣстечка. Два акта нужны простаку, чтобы догадаться, какъ его обманываютъ, и одинъ — чтобы «кроваво отомстить». Смотрѣть Грассо — значить видѣть неизмѣнный рядъ «мужицкихъ Отелло», болѣе или менѣе придурковатыхъ, чрезвычайно невѣжественныхъ и дикихъ, но страстныхъ, грозныхъ и часто страшныхъ. Я не очень уповаю, чтобы Грассо сумѣлъ сыграть настоящаго Отелло въ трагедіи Шекспира или испанскаго гранда Дона Гутьереса въ кальдероновомъ «Врачѣ своей чести», но думаю, что для него стоило бы перевести на сицилианское нарѣчіе и «Горькую судьбину», и «Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ». Ананій Яковлевъ и Левъ Красновъ — его люди, и, быть можетъ, онъ раскрылъ бы

намъ недоговоренные русскими исполнителями тайники души ихъ съ такою же ясностью и правдою, какъ покойный Росси рассказалъ душу Ивана Грознаго, а Законне—душу Никиты во «Власти тьмы».

Сициліанцы не очень любятъ Грассо. Отдавая должное его таланту, они находятъ, что Грассо—плохой патріотъ своего отечества: развозить по свѣту самыя скверныя, мрачныя, отталкивающія черты сициліанскаго характера, диффамируя тѣмъ нравы счастливаго острова подъ Этною. Это отчасти правда. Пересоль есть. Я совершилъ большое путешествіе по Сициліи, направленное къ изученію именно низшихъ слоевъ ея населенія, до пресловутой «рикотты» и фантастической «маффіи» включительно. Романтическія ожиданія, выращенныя описателями вродѣ Пакона, приводятъ въ Сициліи къ полнымъ разочарованіямъ. Въ дѣйствительности, нравы сициліанскаго простолюдья чрезвычайно мягки, выносливость социальная растяжима очень широко, характеръ національный серьезень, и человѣкъ, хватающійся за ножъ въ безтолковомъ припадкѣ вспыльчивости, считается столь же презрѣннымъ, какъ человѣкъ, которому недостаетъ чувства собственнаго достоинства («умѣнья быть мужчиною»—*omerta*), чтобы взяться за ножъ противъ настоящаго обидчика, сознательнаго, систематическаго, въ самомъ дѣлѣ заслужившаго кровавое мщеніе. Поцарапаться ножами—чуть не развлеченіе въ Неаполѣ (чрезвычайно рѣдко смертоносное). Въ Сициліи же ножъ не шутка: однажды пущенный въ ходъ, онъ убиваетъ или убиваютъ его хозяина. Поэтому, ножъ въ Сициліи работаетъ разборчиво и рѣдко—въ случаяхъ, когда всѣ права на сторонѣ оскорбленнаго и, что называется, «самъ Богъ велѣлъ». Въ огромномъ большинствѣ сициліанскія убійства таковы, что прокурорамъ мало-мальски съ совѣстью и готовностью «судить по душѣ» должно бы отказываться отъ обвиненій, а честные и не

буржуазные присяжные, какъ, напримѣръ, крестьяне въ Россіи, то и дѣло выносили бы оправдательные приговоры, даже безъ минутнаго совѣщанія. Угнетенная, обманутая, нищая, наивная сила просыпается, чтобы перейти въ насиліе права и кинжаломъ или револьверомъ упиточить торжествующій, лицемѣрный, нагло властный, богатый порокъ. Понятно, что театръ воетъ отъ восторга, когда видитъ молніи воскресшей доблести—грознаго архангела Михаила, низвергающаго въ адъ сатану. Я, кажется, никогда еще и ни въ одномъ театрѣ не слыхалъ такихъ воплей, громовъ, стуковъ, плесковъ, какъ въ «Feudalismo», когда Грассо—пастухъ Ванни—принялся душить и свѣжевать своего преступнаго барина, заставъ его на тысячѣ первой попыткѣ изнасиловать прекрасную Розу. Театръ дружно кричалъ: bene!—одобряя уже не столько игру артиста, сколько самый фактъ мщенія. А фактъ осуществлялся слѣдующимъ милымъ способомъ: Грассо схватилъ своего врага сзади за волосы, запрокинулъ ему голову на спину и... зубами перегрызъ горло! Страшенъ онъ былъ до ужаса, но... правдивъ! Чувствовалось, что это бываетъ, что можетъ иногда случиться и такое ужасное мщеніе въ дикомъ быту угрюмыхъ сицилійскихъ латифундій. Вообще, спектакли Грассо—уроки убійства на сорокъ темповъ. Сегодня онъ, какъ кошка, прыгаетъ на спину врага и виситъ, пока тотъ не упалъ мертвымъ; завтра, въ качествѣ Альфіо, дерется съ Туридду на ножевой дуэли; послѣзавтра волочитъ по сценѣ трупъ старшаго мастера, чтобы швырнуть въ горящую сѣрную копь... изо дня въ день убійства, и все разныя! Въ теченіе цѣлаго года Сицилія не даетъ столько убійствъ, сколько Грассо—за одну недѣлю. Актеры зовутъ его «artista da coltello»—«артистъ по части ножа», и, дѣйствительно, чего-чего, а ножа—много, слишкомъ много... И тѣмъ-то и недовольны сициліанцы, находя эти безмѣрно частые ножевые эффекты клеветою на народный характеръ.

Грассо—бывшій содержатель театра маріонетокъ, и ближайшіе родные его до сихъ поръ занимаютъ тѣмъ же ремесломъ—показываютъ Петрушку по деревнямъ. Какъ человѣкъ изъ народа, онъ глубокой знатокъ сициліанскаго быта, и все бытовое въ спектакляхъ его—верхъ совершенства. «Malia», напримѣръ, поставлена такъ строго, интересно, умно и детально, что хоть бы и московскому Художественному театру. Въ общемъ же сициліанскіе спектакли бытовыми чертами очень напоминаютъ наши малороссійскія труппы того добраго стараго времени, когда крупныя союзы малороссійскихъ театровъ были еще дѣломъ идейнымъ и не распались на мелкія коммерческія антрепризы. У малороссовъ не было еще сильнаго трагика, каковъ Грассо, но комики ихъ были интереснѣе сициліанскихъ, а Мими Агулья, при всѣхъ несомнѣнныхъ достоинствахъ ея таланта, темперамента и красоты, еще должна много расти, чтобы равняться съ Заньковецкою, именно которую, однако, въ молодости, она чѣмъ-то напоминаетъ.

Грассо—актеръ темперамента и дѣйствія. Когда онъ размышляетъ и разсуждаетъ, онъ удивительно плохъ. Говорятъ, будто Д'Аннунціо призналъ его лучшимъ Алиджи («Figlia di Jogiо») въ Италіи. Хороши же остальные!.. А, впрочемъ, Грассо, какъ строгому реалисту сцены, удастся, можетъ быть, хоть сколько нибудь очеловѣчить ту «вящше изломанную» фигуру, которою Д'Аннунціо пытался сразу покрыть, какъ козырнымъ тузомъ, и Гамлета, и Генриха въ «Потонувшемъ колоколѣ», но, по обыкновенію, покушеніе оказалось съ негодными средствами. «Дочь Іоріо» послужила поводомъ къ ссорѣ и разрыву отношеній между Габріелемъ Д'Аннунціо и Элеонорою Дузэ. Великая артистка жаловалась по всей Италіи и лично, и устами своихъ друзей:

— Я создала этого человѣка, я истратила на него все состояніе, я забыла для него весь свой репертуаръ, я ввела въ моду и заставила всюду играть его никуда

негодныя пьесы, которыхъ до меня никто знать не хотѣлъ, я выучила его быть драматургомъ, я простила ему оскорбительный романъ «Фило»—и что же? Когда ему удалось, наконецъ, написать дѣйствительно хорошую пьесу, онъ отнял ее у меня и отдалъ Ирмѣ Грамматика!

Поступокъ Д'Аннунціо, конечно, былъ не изъ красивыхъ, но Дузэ поторопилась обидѣться: «Figlia di Jorio» еще не хорошая пьеса. И по-итальянски она, можетъ быть, даже, хуже, чѣмъ на другихъ языкахъ, ибо переводчики не передаютъ искусственныхъ архаизмовъ, вычурныхъ словоизвитій и хитросплетеній, которыми Д'Аннунціо умышленно затемняетъ свою и безъ того темную рѣчь. Европа видитъ «Figlia di Jorio», такъ сказать, въ упрощенномъ изданіи, Италія же наслаждается первобытнымъ текстомъ, и нельзя сказать, чтобы упивалась имъ до блаженства. Построеніемъ же, «Figlia di Jorio», на мой взглядъ, совсѣмъ не шагъ впередъ для Д'Аннунціо. Въ «Gloria», на примѣръ, было больше силы и психологическаго интереса. Здѣсь же обычныя д'аннунціевскія кривизны, вычурны, диссонансы съ предвзятымъ намѣреніемъ и фальши по бурному умыслу выступаютъ впередъ тѣмъ ярче, что средо-то онъ выбралъ ужъ слишкомъ первобытную и хочетъ быть одновременно и глубокомысленнымъ, и наивнымъ, во что бы то ни стало. Притомъ привычныя Д'Аннунціо плагиаты дѣйствія въ «Figlia di Jorio» безцеремонностью своею почти вызываютъ улыбку. Второй актъ—въ горахъ,—гдѣ Алиджи мастеритъ своего деревяннаго ангела—точнѣйшій сколокъ съ третьяго акта «Потонувшаго колокола». А въ кострахъ послѣдняго дѣйствія есть даже что-то и оперное, и вопли—«La vampira é bella!»—сильно напоминаютъ предсмертныя восторги Нормы и Полліона.

Я думаю, что любителямъ символическихъ идеализаций не понравились бы въ «Figlia di Jorio» ни Грассо, ни Агулья. Мнѣ они тоже не понравились, но совсѣмъ съ другой стороны: фальшивая условность, искусствен-

ность, сплошная поза пьесы, неискренней и вывернутой, будто вся она—изъ вивиховъ, отняли у артистовъ свободу рѣчи и правду дѣйствія, лишили ихъ способности быть самими собою и выростили для нихъ огромныя-преогромныя ходули, ставъ на которыя актеры-реалисты, съ непривычки, явили фигуры, особенно странныя и неловкія. Но бытовое и здѣсь все было прекрасно. Грассо удивительно умно и точно передаетъ мистическія черты сициліанскаго крестьянства—темную, суевѣрную набожность, фатализмъ и т. д. Миѣ говорили, будто онъ самъ суевѣренъ, какъ деревенская баба, и набоженъ, какъ ханжа. Я не очень вѣрю въ искренность этихъ чертъ, если онѣ и имѣются въ дѣйствительности: иначе Грассо не выносилъ бы ихъ на сцену съ такимъ безпощаднымъ и настолько подчеркнутымъ натурализмомъ, что, кромѣ сожалѣнія и негодованія, онѣ не могутъ вызывать иныхъ чувствъ въ зрителѣ, мало-мальски развитомъ; фигуры Грассо—тяжелый обвинительный актъ религіозной темнотѣ Сициліи, и католическимъ монахамъ стоило бы отлучить Грассо отъ церкви, какъ православнымъ синодомъ отлученъ суровый обличитель «Власти тьмы».

Грассо, навѣрно, въ очень близкомъ будущемъ поѣдетъ гастролировать въ Россію. Поэтому читатель, быть можетъ, не посѣтуетъ, что я знакомлю его съ этимъ интереснымъ человѣкомъ. Въ немъ много такого, что непріятно поражаетъ съ перваго момента, къ чему надо привыкнуть, съ чѣмъ нужно примириться. У него—до сильныхъ патетическихъ сценъ—некрасивый, хриплый разговорный голосъ. Глубокая темнота, сумрачная тупость и первобытная грубость дикихъ типовъ, которымъ онъ посвятилъ свое демократическое творчество, отразились въ немъ, — привычка стала второю натурою. Въ «Malia» я до конца второго акта не могъ привыкнуть къ мысли, что въ животнo-влюбленномъ и зломъ скотѣ, какимъ изображалъ Грассо одного изъ своихъ безчислен-

ныхъ «Ванни», могутъ жить хорошія человѣческія чувства, и только затѣмъ раскрылась вся глубина и полнота безукоризненно художественнаго замысла. Грассо до краевъ полонъ того демократическаго реализма, который у насъ въ Россіи создалъ Рѣпина, Мусогоорскаго, Помяловскаго, Рѣшетникова. Глядя на полудикихъ «Ванни»,—при всей ихъ чуждой, звѣриной красотѣ,—я не разъ вспоминалъ «Подлиповцевъ»: сѣверный человѣкъ-звѣрь унылъ, вялъ, смиренъ, покоренъ, неуклюжь, безобразенъ; южный—бодръ, веселъ, буенъ, ловокъ, хорошъ собою; но оба звѣри и оба голодны, и оба, съ голода физическаго и нравственнаго, опасно злы.

Должно быть, Грассо очень хорошій режиссеръ и учитель драматическаго искусства. Постановки его замѣчательно хороши, особенно для Италіи, гдѣ старинное театральное правило о Велизаріи, который, если нѣтъ пурпура, обязанъ казаться Велизаріемъ и въ простынѣ, до сихъ поръ царить въ полной силѣ. Здѣсь любятъ сильнаго актера, хорошую игру въ ярко развитомъ дѣйствіи,—живой ансамбль,—и равнодушны къ режиссерскимъ проникновеніямъ по части *mise-en-scène* и обстановки. Театръ Грассо, чуть ли не единственный въ Италіи, усвоилъ себѣ принципы мейнингенства, выросшіе у насъ въ московскій Художественный театръ. Труппа у него—сплошь талантливые и отлично владѣющіе сценою люди, а Мими Агулья—совсѣмъ выдающаяся артистка, дѣлающая великую честь своему *maestro* и не только раздѣляющая въ полной мѣрѣ, но часто и перебивающая у него успѣхъ. «Мыслитьискусствомъ» Грассо ее не обучилъ, потому что самъ на то не мастеръ, но всѣ внѣшнія выраженія страстей у Мими Агулья—верхъ совершенства и, при ея сильномъ темпераментѣ, даютъ впечатлѣнія, которыя общаются въ молодой артисткѣ звѣзду первой величины, напоминаютъ о Дузѣ, Ермоловой, Стрепетовой въ началѣ ея несчастной карьеры, о Заньковецкой. Роль

ея въ «Malia» построена на томъ, что ее, безпричинно увядающую, истерическую дѣвушку, вся родня и деревня считаютъ испорченною, тогда какъ, въ дѣйствительности, она тайно влюблена въ мужа своей сестры и влюблена по-южному—съ неукротимую жаждою физически принадлежать любимому человѣку: вся ея порча—не болѣе, какъ возбужденіе половою неудовлетворенностью. Не знаю другихъ артистокъ, кромѣ вышепоименованныхъ свѣтилъ театральнаго неба, способныхъ справиться съ подобною щекотливою задачею такъ умно, страстно, тонко и граціозно, какъ удается Мими Агулья. Ея объясненія съ оболъстителемъ, ея истерическій припадокъ—все это остается врѣзаннымъ въ память, какъ Маргарита Готье Дузе, какъ Орлеанская Дѣва Ермоловой: законченнымъ и предѣльнымъ сценическимъ chef d'oeuvre'омъ, его же не преjdeши. Какъ всѣ роли Грассо построены на аффектѣ влюбленной ревности, и, кромѣ этого аффекта, онъ, въ сущности, ничего передать не умѣетъ, такъ всѣ роли Мими Агульи пропитаны измѣною—«мужицкимъ адюльтеромъ». То она тайная любовница зятя, то ее насилуетъ баринъ, то она—работница, надувающая сожителя, чтобы сойтись съ управляющимъ. Простакъ Грассо всегда честно влюбленъ въ Мими Агулья, а коварная Мими Агулья всегда обманываетъ его съ продувнымъ красавцемъ Майорана, за что оба они или ктонибудь изъ нихъ и бываетъ обязательно прирѣзанъ въ послѣднемъ актѣ: это неизмѣнно, какъ чередованіе дня и ночи. При скучномъ однообразіи и, въ сущности говоря, при антипатичности ролей, запряженныхъ изо дня въ день воплощать «отрицательный женскій типъ», надо удивляться пестротѣ средствъ, которыми располагаетъ Мими Агулья, чтобы не слишкомъ точно повторять своихъ влюбленныхъ дуръ и негодяекъ одну въ другой, и замѣчательной ловкости ея, тонкому такту, съ которымъ она скользитъ надъ безднами сценъ чувственности, эгоизма,

скарденности, предательства, — въ особенности же, чувственности. Здѣсь Агулья всегда правдива до послѣднихъ предѣловъ натурализма и, между тѣмъ, никогда не противна. Изъ трехъ русскихъ знаменитостей по сценическимъ воплощеніямъ такого рода — Савиной, Лешковской и Книпперъ — Агулья стоитъ ближе всѣхъ къ послѣдней, но много сильнѣе ея природными средствами таланта, да, конечно, и южнымъ темпераментомъ. Тонкія психологическія кружева обольстительницъ бывой Савиной и насмѣшливая, почти сатирическая чувственность Лешковской, лѣнливими улыбками себѣ на умѣ подчеркивающей властные курьезы и капризы любовной страсти, совершенно чужды Мими Агулья, какъ, впрочемъ, и всѣмъ итальянскимъ артисткамъ, отъ старухи Пеццана къ Элеонорѣ Дузэ, отъ Элеоноры Дузэ къ Тина-ди-Лоренцо, отъ Тина-ди-Лоренцо къ популярной нынѣ (далеко не по заслугамъ) Ирмѣ Грамматика. Фагъ Гамоге для итальянокъ — дѣло искреннее и серьезное, и разсудочно остритъ надъ трагическою властью полового инстинкта у нихъ рѣшительно нѣтъ ни умѣнья, ни охоты, ни, я думаю, даже способности.

Грассо много сильнѣе своей неизмѣнной партнерши, какъ спеціальнѣйшій талантъ и яркій сценическій темпераментъ, но Мими Агулья имѣетъ задатки къ большому разнообразію въ творествѣ. Грассо жалокъ, когда ему надо перемѣнить національный костюмъ или затасканный пиджакъ пролетарія на скюртукъ и фракъ, — Мими Агулья одарена всѣми шансами быть очаровательною и въ общемъ драматическомъ репертуарѣ. Притомъ, она еще дѣвушка и очень молодая. У нея впереди цѣлая жизнь, жизнь чувства, опыта, страстей, мысли, работы. Богъ знаетъ, какъ сильно и широко могутъ развернуть ея дарованіе въ непрерывномъ трудѣ текущіе годы. Богатѣйшую технику свою Грассо передалъ ей въ совершенствѣ, и лишь въ одномъ ученица не могла догнать учителя: въ несравненномъ мастерствѣ его говорить монологи. Вести раз-

сказъ у Грассо нѣтъ соперниковъ. У него слово переходитъ въ жестъ и становится нагляднымъ, какъ дѣйствіе. Когда онъ въ «Feudalismo» рассказываетъ, какъ голыми руками убилъ волка,—это жутко и весело, точно вы сами присутствуете на этой первобытной охотѣ—при побѣдоносной схваткѣ безоружнаго человѣка съ дикимъ звѣремъ. И какая свобода интонацій, какая смѣлость жеста! Въ этомъ же «Feudalismo» пастухъ Ванни убилъ своего обидчика:

— Волкъ лежитъ мертвый... Теперь въ горы, моя овечка!—воскликаетъ Грассо и—хватъ, поднялъ Мими Агулья, повѣсилъ ее себѣ на плечи, черезъ шею, какъ пастухъ овцу, и убѣжалъ звѣриными прыжками. Малѣйшее целовкое движеніе, и это—смѣшно, это—гибель для актера. А у Грассо и мощно, и трогательно, и сразу—цѣлая бытовая картина изъ трагической пасторали. Вообще онъ постоянно рискуетъ эффектами, требующими огромной силы и ловкости. Въ «Malia»—его неожиданный кошачій прыжокъ на спину врага былъ бы смѣшонъ у каждаго другого актера. Я глазамъ своимъ не повѣрилъ было, когда увидаль эту сценическую дерзость, а по спинѣ бѣжалъ уже холодокъ... Умѣетъ Грассо, умѣетъ «пробирать» свою публику, и хорошими, смѣлыми, увѣренными ударами шевелить ея нервы!

Курьезное, чтобы не сказать—нелѣпное впечатлѣніе производятъ выходы Грассо и Мими Агулья на вызовы. Они оба ужасно кривляются, дурачатся; онъ толкаетъ ее къ публикѣ, ерошитъ ея чудныя волосы, треплетъ ее по лицу; она дѣлаетъ самые странные—рабскіе и страстные жесты передъ рампою, точно хочетъ сказать партеру: бери—вся твоя! Однажды Грассо вызывали очень долго. Тогда актеръ сдѣлалъ видъ, будто вырываетъ изъ груди своей сердце и бросилъ его въ толпу. Если на вызовы выходить и Майорана, неизмѣнно счастливый соперникъ Грассо, артисты чуть не цѣлуются, осыпая другъ друга нѣжнѣйшими изъявленіями дружбы въ доказательство, что между ними,

вѣчными врагами по пьесамъ, — внѣ сцены не существуетъ вражды. Неудивительно, что, при такой показной интимности публика, оставшись ужъ очень довольна Мими Агулья, безцеремонно вопить къ Грассо въ антрактъ:

— Поцѣлуй ее!

Все это сперва смѣшно, потомъ становится довольно противно. Иные увѣряютъ, будто это — продолженіе игры: во время дѣйствія Грассо настолько взвнчиваетъ свои нервы, что затѣмъ уже не въ состояніи сразу перейти къ спокойному поведенію обычной жизни, и дурачества его якобы почти произвольны. Но однообразное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же выходокъ изо-дня въ день говорить, конечно, не о противовольномъ и полусознательномъ нервномъ подъемѣ, а скорѣе о хорошо заученномъ приѣмѣ, который пришелся по вкусу неразборчивой публикѣ, и вотъ — забавляетъ ее Грассо-комедіантъ послѣ того, какъ только что растрогалъ Грассо-трагикъ. То была непосредственность *in modo siciliano* трагическая, а вотъ, молъ, теперь непосредственность *in modo siciliano* комическая... Можетъ быть, и правда, что тутъ много нервности, но оно-таки и не безъ шарлатанства.

1905.

---

## Октавъ Мирбо.

---

Чѣмъ больше я читаю Октава Мирбо, тѣмъ больше люблю этого писателя. Франція нашла въ немъ, наконецъ, человѣка, котораго слишкомъ недоставало въ ея богатой литературѣ, между тѣмъ какъ именно такой-то человѣкъ ея литературѣ больше всѣхъ теперь нуженъ. Франція нашла своего Салтыкова—сатирическій бичъ, неумолимо разящій, любящій ненавистью, ненавидящій любовью. Подобно Салтыкову, Октавъ Мирбо весь боленъ жгучимъ стыдомъ за общество, въ которое брошенъ онъ задыхаться, и стыдъ свой облегчаетъ такимъ же гнѣвнымъ ревомъ острой боли, какъ нашъ великій сатирикъ. Онъ вопить именно, какъ человѣкъ задыхающійся... Въ старое время популярны были стихи Василия Курочкина:

Душитъ тебя благородная злоба,  
Злобу свою понесешь ты до гроба...

Вотъ именно этою-то благородною злобою, которая душитъ, и полонъ Октавъ Мирбо, и, конечно, понесетъ онъ ее до гроба, потому что—отъ книги къ книгѣ—не гаснетъ она въ немъ, а все грознѣе и ярче разгорается. Мирбо-беллетристъ,—довольно вычурный и претенціозный продолжатель великаго, несравненнаго Гюи де-Мопассана,—уходитъ все далѣе и далѣе на задній планъ. Мирбо—самобытный и гнѣвный сатирикъ, растеть все громаднѣе. Публицистиче-

ская сила Октава Мирбо поразительна. Иногда даже досадно, что онъ не можетъ отдѣлаться отъ старой литературной традиціи—размѣнивать свой сатирической огонь на «художество». Такъ, одна изъ самыхъ блестящихъ и глубокихъ его импровизаций объ инстинктѣ жестокости, присущей современнымъ цивилизаціямъ,—прямо вдохновенное какое-то предисловіе къ роману «*Le jardin des supplices*». И, читая романъ, часто приходится жалѣть, зачѣмъ Мирбо не ограничился предисловіемъ, въ которомъ онъ публицистически великъ, тогда какъ романъ, несмотря на множество краснорѣчивыхъ и еще болѣе пикантныхъ страницъ, вышель не болѣе какъ искусною фабрикаціей умнаго и смѣлаго человѣка, который отлично знаетъ, какъ потрафить на вкусы публики. Если Мирбо суждено написать художественный романъ, то этотъ романъ еще впереди, въ запасѣ на старость, и Мирбо придетъ къ нему такъ же, какъ Салтыковъ пришелъ къ созданію «Господъ Головлевыхъ»: анализъ сатиры поднялся на высоту, послѣ которой возможно уже синтетическое наблюденіе жизни. Стремленіе у Мирбо къ роману страстное. Но романистовъ въ странѣ Стендаля, Бальзака, Флобера, Зола, Гонкуровъ, Додэ, Гюи де-Мопассана—урожай всегда достаточный, а вотъ сатириковъ маловато. У всѣхъ названныхъ есть сатирическія тенденціи, какъ неизмѣнно имѣются онѣ у нашихъ Толстого, Тургенева, Достоевскаго, Писемскаго. Но всѣ эти люди, какъ и Толстой, Тургеневъ, Достоевскій, Писемскій, даже когда отдавались сатирѣ, создавали все-таки романъ. Наоборотъ, Салтыковъ и всякій писатель его темперамента, даже захотѣвъ написать романъ, не могутъ не задавить его общественною сатирою. Это именно случилось и съ Мирбо въ его геніальномъ романѣ-памфлетѣ «*Le journal d'une femme de chambre*»: обличительныя картины такъ ярки, что ужасъ къ изображаемому авторомъ обществу заслоняетъ охоту искать въ немъ общечеловѣческаго. У Гюи де-Мопассана, чей ученикъ и преемникъ

Октавъ Мирбо, и у Толстого, которому онъ поклоняется, — наоборотъ, общечеловѣческое всегда подавляетъ глубиною впечатлѣнія общественное, пессимизмъ вѣчнаго парализуетъ пессимизмъ преходящаго. Вотъ почему «Анна Каренина» и «Une Vie» — романы съ сатирическими страницами, а «Le journal d'une femme de chambre» — сатира, занявшая форму у романа.

Третьяго дня я читалъ «Farces et Moralités» Октава Мирбо, вчера смотрѣлъ «Les Affaires sont les affaires» съ Кокленомъ старшимъ, а сегодня хочется поговорить о французскомъ Салтыковѣ. Изъ числа пьесокъ, вошедшихъ въ составъ «Farces et Moralités», одну — «Le portefeuille» Мирбо передѣлалъ для сцены изъ собственнаго разсказа — одного изъ эпизодовъ «Les vingt et un jours d'un Neugasthénique». Я не знаю, каково она разыгрывается на сценѣ, но въ чтеніи она представляется мнѣ образцовою гражданскою сатирою въ лицахъ, то есть единственнымъ видомъ комедіи, который, собственно говоря, заслуживаетъ этого имени и которымъ стоитъ заниматься театрамъ, если они желаютъ имѣть общественное значеніе. Комиссаръ Гекторъ — одинъ изъ наиболѣе ядовитыхъ плевковъ, пущенныхъ Октавомъ Мирбо въ буржуазный строй современной Франціи, — достоинъ занять почетное мѣсто въ ряду геніальныхъ гиперболей Аристофана! У Мирбо фигуры почти всегда гиперболичны, но его гиперболы пропорціональны и естественны. Онъ беретъ житейскую вошь подъ микроскопъ, и увеличенное изображеніе переноситъ на экранъ кинематографа: любуйтесь этою прелестью во всѣхъ ея граціозныхъ подробностяхъ! И, заливаясь мрачнымъ, трагическимъ смѣхомъ, будто спрашиваетъ смущеннаго читателя:

— Что? нравится душка? нравится? а? нравится? А вѣдь это на тебѣ живетъ, тебя ѣсть... Ха-ха-ха! Будьте вы оба прокляты: и насѣкомое гнусное, взбѣсившееся отъ жирныхъ кормовъ, и ты, который его трусливо кормишь вмѣсто того, чтобы раздавить!

Душить тебя благородная злоба,  
Злобу свою понесешь ты до гроба...

Какъ чисто публицистическая сатира, на первомъ мѣстѣ въ сборникѣ «Farces et Moralités» должна быть поставлена, однако, пьеса «l'Epidémie». Это—сцена засѣданія провинціальной думы по поводу эпидеміи въ портовомъ городѣ: мрутъ, какъ мухи, солдаты и народъ, — буржуа уперлись, не даютъ кредитовъ на перестройку казармъ и водопровода, распространяющихъ заразу. Но вотъ, подаютъ мѣру пакетъ: умерь, жертвою эпидеміи, буржуа!!!... О, ужась! ужась!! ужась!!! Картина сразу мѣняется: медаль перевернулась! Разъ микробы столь наглы, что пожираютъ не только «сво-лочь», но осмѣливаются посягать даже на «отцовъ города»,—война имъ! жестокая, безпощадная война! Перестроимъ весь городъ, проведемъ бульвары, разобьемъ сады, скверы, проспекты, раскинемъ фонтаны чистой ключевой воды.

— Если ея не найдется въ нашихъ пластахъ—займемъ ее въ дѣвственныхъ нѣдрахъ горъ!—предлагаетъ городской врачъ Трицепсъ.

Всѣ. Да! да!

Докторъ Трицепсъ. Въ Швейцаріи!

Членъ оппозиціи. Съ Карпатъ!

Докторъ Трицепсъ. Съ Кавказа!

Всѣ. Да!.. Да!..

Полчаса назадъ всѣ эти почтенные господа всячески старались выгородить изъ обвиненія нѣкоего Изидора Теофраста Барбару, собрата своего, обличеннаго въ продажѣ недоброкачественнаго мяса. Полчаса назадъ почтенный докторъ Трицепсъ божился, что «Барбару страдаетъ не за гнилую говядину, но за передовое направленіе», полчаса назадъ онъ восклицалъ:

— Не признаю принципіально вреда отъ гнили! Если гниль хороша въ бекасѣ, почему возволить ее въ престу-

пление у быка?! Это идиотство! Всѣ гнили должны быть равны предъ закономъ!!!

Теперь докторъ Трицепсъ оретъ, что Барбару—негодяй! отравитель! убійца!

Членъ большинства. Хуже: онъ социалистъ!.. Онъ—японецъ!

Всѣ. Долой Барбару! Смерть Барбару!

На оздоровленіе города вотируются милліоны. Начали съ десяти,—догнали до ста!

Мэръ. А если не хватитъ ста милліоновъ... мы вотируемъ еще!

Всѣ. Да! да! Сто милліоновъ!

Очень старый совѣтникъ. Но гдѣ мы найдемъ всѣ эти милліоны?

Мэръ (съ презрѣніемъ). Мы найдемъ ихъ, сударь мой, въ нашемъ патріотизмѣ!

Всѣ. Bravo! Bravo!

Мэръ. Въ нашемъ героизмѣ!

Докторъ Трицепсъ. Въ нашей твердой волѣ... въ нашей религіи...

Всѣ. Да! Да!

И занавѣсъ падаетъ, подъ общій вопль:

— Баллотировать! Баллотировать!.. Au scrutin, mes amis... Au scrutin!

Эта небольшая одноактная вещь распадается на двѣ половины. Первая—до извѣстія о смерти буржуа—помимо своего значенія публицистическаго, настолько художественна, какъ бытовая картина, что достойна занять мѣсто рядомъ съ тѣмъ, безсмертнымъ въ русской литературѣ, зазданіемъ, которое начинается словами:

— Я пригласилъ васъ, господа, чтобы сообщить вамъ пренепріятное извѣстіе:—къ намъ ѣдетъ ревизоръ!

Весь тонъ, вся манера—Гоголя. Но Мирбо не художникъ-юмористъ, а публицистъ и сатирикъ,—поэтому комической реальности ему мало. Во второй части, «благо-

родная злоба» его закусывает удила и, очертя голову, бросается на арену тѣхъ убійственныхъ каррикатуръ и свирѣпыхъ гиперболей, въ которыхъ у Мирбо положительно нѣтъ соперниковъ въ современныхъ литературахъ, а въ недавнемъ прошломъ — онъ приближается къ Салтыкову, какъ родной братъ! Панегирики въ честь «усопшаго буржуа» — столь злобныя пародіи, что подъ ними не отказались бы подписать имена свои ни Вольтеръ, ни старикъ Раблэ, авторъ безсмертной рѣчи о похищенныхъ парижскихъ колоколахъ, съ блистательной аргументаціей, что:

— *Omnis clocha clochabilis in clocherio clochando clochans clochativo clochare agit clochabiliter clochantes...* Ha, ha, c'est parlé cela!

Въ рѣчахъ этихъ Мирбо топчетъ ненавистныхъ своихъ буржуа съ такимъ же лютымъ презрѣніемъ, какъ Салтыковъ — мягкотѣлаго обывателя въ «Современной идилліи», въ «Письмахъ къ тетенькѣ», въ «Убѣжищѣ Монрепо». Говоря выраженіемъ именно Салтыкова, — «Эпидемія» есть сплошная оплеуха, данная съ тѣмъ, чтобы получившій оплеуху хоть немного задумался: а никакъ я... свинья?!

Безподобно высмѣиваетъ Мирбо ту подлую игру громкими фразами, что слѣлалась второю натурою французскаго буржуа, и куда хочешь ихъ, эти условныя фразы, туда и поворотись. До какой бѣшеной злобы должно довести писателя пустословіе эгоистическихъ самооправданій зажавшагося мѣщанства, чтобы онъ выносилъ въ душѣ своей эту восхитительную пародію, — когда почтенное собраніе приходитъ къ убѣжденію, что охранять солдатъ отъ эпидеміи — непатріотично?

Членъ оппозиціи. Въ настоящее время, когда Франція не ведетъ больше войнъ, эпидеміи — это школы, необходимыя и превосходныя школы героизма. Если не будетъ эпидемій, господа, — гдѣ же теперь солдатамъ учиться презрѣнію къ смерти и самопожертвованію во благо отечества?

Г о л о с а. Вѣрно! Bravo!

Членъ оппозиціи (пожимая плечами, продолжаетъ). Чѣмъ воспитають они въ себѣ эту доблесть, нашу французскую доблесть: мужество?.. Согласиться на требованія префекта—значить благословить солдатъ на трусость!

Членъ большинства. Подорвать престижъ арміи!

Членъ оппозицій. Нанести ущербъ національной чести!.. Убить патриотизмъ!..

Очень старыи совѣтникъ (дрожащимъ голосомъ). Тифозная горячка есть учрежденіе національное.. Не будемъ посягать на древніе французскіе институты!

Докторъ Трицепсъ. Не дадимъ иностранцамъ печальнаго зрѣлища французской арміи, отступающей предъ какими-то тамъ микробами... Французская армія — это синонимъ Аустерлица и Маренго!!!

Я думаю, что «Эпидемія» Октава Мирбо должна много терять на сценѣ,—развѣ, что поставятъ ее съ такимъ же вниманіемъ къ каждому слову автора, какъ московскій Художественный театръ ловить своими постановками авторскія настроенія и окружающій ихъ пейзажъ. Либо—театръ Антуана въ Парижѣ, поразительно и совершенно исключительно отъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ сценъ Европы схватившій тайну сценической публицистики, обращенія театра въ газету. Пьесы Бриэ—эти передовыя статьи въ діалогѣхъ, — несомны всюду, кромѣ театра Антуанъ, но въ этомъ театрѣ онѣ грандіозны, онѣ потрясають... Автору-публицисту нуженъ актеръ-публицистъ, что, несомнѣнно, есть у Коклена, и въ этомъ его сила, на примѣръ, въ роли Изидора Леша («Les affaires sont les affaires»). Онъ въ совершенствѣ уловилъ и преподноситъ публикѣ всѣ оттѣнки фразъ и словечекъ, которыми Мирбо хочетъ оскорбить буржуазію въ этомъ ужасномъ ея портретѣ. Пошлость, подлость, бездушіе, денежное язычество Леша выступаютъ у него съ такою живостью и общностью, что типъ получаетъ чуть не расовое значеніе. Правду говоря, я ждалъ отъ Коклена большей силы и художественности въ индивиду-

альномъ, такъ сказать, развитіи роли. Какъ личность, Леша можно сыграть, пожалуй, интереснѣе и глубже Коклена, — напомнимъ, напримѣръ, родственнѣй Леша типъ въ «Дѣльцахъ» Чайковскаго, возведенный въ перль созданія Варламовымъ, или ягодку того же поля, лысаго адвоката, созданнаго московскимъ Ленскимъ въ «Ирининской общинѣ». Ленскій, съ его глубокимъ и яркимъ темпераментомъ, несомнѣнно, былъ бы интереснѣе Коклена во всѣхъ драматическихъ эпизодахъ роли, для которыхъ у французскаго артиста не хватаетъ искренности и силы. Словомъ, Леша въ дѣйствиіи—Кокленомъ далеко не исчерпанъ. Но зато Леша въ словѣ, Леша—обличительная передовая статья, Леша—оплеуха, создаются имъ въ совершенствѣ несравненнымъ и для русскихъ исполнителей врядъ ли достижимомъ: для этого надо вырости среди западныхъ буржуа, пропитаться ихъ атмосферой съ дѣтства. Кокленъ не даетъ потеряться ни одному изъ безчисленныхъ публицистическихъ mots, вложенныхъ въ его уста Октавомъ Мирбо. И безъ умѣнья понять и бросить въ публику эти язвительныя mots вообще не стоитъ и браться играть роли Мирбо: для чисто художественной работы, для, какъ говорится у насъ въ Россіи, «искусства для искусства» онѣ не матеріаль. Вѣдь это—какія фигуры. Полицейскій комиссаръ, ищущій шекспировскихъ настроеній. Докторъ, трактующій о «іерархическомъ духѣ» эпидемій. Любовники, пресыщенные до того, что у нихъ не сохранилось ни одной интересной общей мысли, и нечего имъ сказать другъ другу, и увяли общія чувства, и единственное, что остается—цѣловаться, хоть насильно, покуда не разогрѣется ослабѣвшая и, собственно, уже не нужная обоимъ, такъ ужъ только болѣе по обычаю и отъ скуки практикуемая, чувственность. «Les Amants» Мирбо—зловнѣйшая пародія на всѣ любовныя сценическія proverbes, коими утѣшаются чувствительныя буржуазки, — даже до пролитія крошечныхъ слезъ умиленія.

J'aime les bancs de pierre,  
Le soir, au fond des bois...

Ну, вотъ Мирбо и показалъ намъ эти «les bancs de pierre» въ натуральную ихъ величину и при настоящемъ освѣщеніи.. При всемъ неудержимомъ хохотѣ, съ какимъ воспринимаешь это море амурнаго пустословія, на душѣ нехорошо, грустно: ужь очень правдивъ Мирбо, ужь очень мѣтко и основательно снимаетъ онъ своею мрачною рукою поэтическія вуали съ тѣхъ самыхъ пошлостей любви, которыя клеймилъ въ «Крейцеровой сонатѣ» Левъ Толстой. «Les Amants» — смѣшная штука, но все время вспоминаются русскому читателю тѣ ссоры, переходящія въ объятія, что возникали между супругами Позднышевыми, когда исчезъ изъ любви ихъ всякій смыслъ человѣческій и уцѣлѣла только механическая привычка ласкаться да вкусно «джерси» m-me Позднышевой. Вспоминаются еще ближе тѣ «Индюшки», «Куколки», «Ангелочки», «Бонапартистки» и соотвѣтственные имъ пустоголовые «messieurs» изъ коллекціи «игрушечнаго дѣла людешекъ», которыми такъ презрительно отдѣлывался отъ російскихъ «сытыхъ людей съ жиру» Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ.

Какъ бы для довершенія родственнаго сходства съ нашимъ сатирикомъ, Октавъ Мирбо въ безумно веселомъ и гиперболическомъ фарсѣ «Интервью» создалъ типъ французскаго Подхалимова, въ своемъ родѣ не уступающій нашему русскому, хотя собесѣдникомъ французскаго Подхалимова является не великолѣпный графъ Твердоонто, но кабатчикъ Шапюзо, обвиняемый въ томъ, что проломилъ женѣ своей голову бутылкою черносмородиновки

— Почему черносмородиновки? — пытается свою жертву интервьюшникъ. — Почему не кюрасао или другого ликера? Чѣмъ объяснить ваше пристрастіе швырять въ жену бутылками именно черносмородиновки? Къ какой категоріи невропатовъ вы принадлежите? Мистикъ? сифилитикъ? алко-

голикъ? садистъ? наслѣдственный бродяга? потрошитель? декадентъ? нищій?

Шапюзо. Да оставьте же вы меня въ покоѣ! Я вино-торговецъ, шинкаръ, кабатчикъ... Вотъ!

Интервьюеръ. Шапюзо! Знаете ли вы знаменитаго доктора Чезаре Ломброзо? Геніальнѣйшій человѣкъ, Шапюзо! Необыкновенный ученый? Стрррашный ученый! Онъ открылъ, что всѣ геніальные люди были скоты и убійцы!

Шапюзо. Такъ, такъ...

И Мирбо, ловко перескочивъ къ Ломброзо, нѣсколькими ударами обращаетъ въ шутовство неудачную обмолвку итальянскаго ученаго о неврозѣ бѣдности. Въ своей свирѣпой пародіи Мирбо, съ обычною ловкостью, воспользовался тою дозою шарлатанства, которою Ломброзо, къ сожалѣнію, охотникъ приправлять свои кропотливыя и дѣльныя, хотя фанатически одностороннія работы. Мирбо заставляетъ Ломброзо изслѣдовать десять нищихъ, которыхъ онъ, въ интересахъ науки, «поставилъ въ условія самой крайней нужды. У всѣхъ этихъ нищихъ развиваются различныя болѣзни — очень серьезныя, но еще не имѣющія въ себѣ ничего достаточно характернаго, специфическаго... сказать однимъ словомъ, адекватнаго. Понимаете, Шапюзо!

Шапюзо. Валяйте, валяйте.. не стѣсняйтесь!

Интервьюеръ. Опредѣляющій признакъ выразился въ рядѣ черноватыхъ пятенъ, которыя появлялись послѣдовательно въ мозгу... и на всемъ аппаратѣ cerebro-спинальномъ...

Шапюзо (живо). Что? Какъ?

Интервьюеръ (рубить). Це-реб-ро-спи-наль-номъ.

Шапюзо. А! Такъ...

Интервьюеръ. Никогда еще знаменитый ученый не наблюдалъ такихъ пятенъ въ мозгу большихъ богатыхъ или даже только зажиточныхъ... Слышите?

Шапюзо. Слышу, слышу!

Интервьюеръ. Отсюда онъ заключилъ, и уже безъ дальнѣйшихъ сомнѣній, что причина этого пораженія невропатическаго и психическаго, настоящая причина—это бѣдность.

Затѣмъ Ломброзо, у Мирбо, разсадивъ испытуемыхъ «больныхъ бѣдностью» по камерамъ, лечитъ ихъ отъ бѣдности усиленнымъ питаніемъ, іодистыми втираніями по черепу, душами, съ твердымъ рѣшеніемъ продолжать сію теорію впредь до излеченія... я хочу сказать: пока бѣдные не разбогатѣютъ... Понимаете?

Шапюзо (съ отчаянными жестами). О, моя голова! Господи! Бѣдная моя голова!

Интервьюеръ. Оставьте въ покоѣ вашу голову, Шапюзо... Докторъ Сокке, мосье Дейблеръ \*) и я... мы позаботимся о вашей головѣ—потомъ...

Шапюзо. Мосье Дейблеръ?!

Интервьюеръ. Нѣтъ, вы слушайте, что случилось послѣ семи недѣль такой діеты... Одинъ изъ этихъ нищихъ получилъ наслѣдство въ 200.000 франковъ!..

Шапюзо. Ахъ!

Интервьюеръ. Другой выигралъ здоровый кушъ по Панамской облигаціи.

Шапюзо. Чортъ возьми! чортъ возьми.

Интервьюеръ. Третій. . въ одной изъ многочисленныхъ лотерей газеты «Mouvement» (два милліона читателей!),—онъ выигралъ... публичный домъ въ стилѣ модернъ!

Шапюзо. Счастливчикъ!

Интервьюеръ. Съ четвертымъ еще лучше. Обманувъ своихъ сторожей, онъ удралъ на улицу... попалъ подъ автомобиль, обѣ ноги пополамъ... что принесло ему въ возмѣщеніе инвалидности кругленькую сумму въ 60.000 франковъ.

Шапюзо. Не угодно ли?!

---

\*) Дейблеръ—парижскій палачъ.

Интервьюеръ. Остальные померли... Ломбровозьяль ихъ съ слишкомъ застарѣлою болѣзною.

Шапюзо. Это все правда?

Интервьюеръ. Наиправдѣйшая.

Шапюзо. Изумительно!

Интервьюеръ. Нѣтъ, это научно... Ну и... дайте мнѣ еще кружку пива!

Кружка пива, бесконечно повторяемая, играетъ въ интервью совершенно ту же роль, что въ свиданіи Подхалимова и графа Твердоонто — послѣднее прибѣжище «нашего собственнаго корреспондента» — графинь съ англійскою горькою... Курьезнѣе всего, что пытаемый интервьюеромъ Шапюзо оказывается совсѣмъ не тѣмъ Шапюзо, который нуженъ. Онъ — Chapuzot de Montmartre, а Шапюзо съ черносмородиновкою — Chapuzot de Montrouge... интервьюеръ ошибся кварталомъ — по діаметру, черезъ весь Парижъ!

— Но это все равно, — заявляетъ онъ. Монмартръ, Монружъ... это совершенно безынтересно.

Фактъ скандала Шапюзо напечатанъ въ газетѣ, и Шапюзо долженъ отвѣчать!

— Гдѣ вапа жена?

— Но я не женатъ!

— Не женаты, а проломили женѣ голову бутылкою черносмородиновки? Будьте, по крайней мѣрѣ, логичны въ вашемъ заpiresельствѣ!

— О, чортъ возьми!

— Позовите вашу жену. Я ее допрошу.

— О! О!

— Я пощупаю ея психологію!

— Свинья!

— Я доберусь до источниковъ ея наслѣдственности!

— Грязная тварь!

Наглотавшійся пива, интервьюеръ сыплеть вопросамъ одинъ наглѣе другого. Шапюзо молчитъ, какъ рыба.

— А вотъ, что! Обструкція молчанія... Предумышленное оскорбленіе печати... Ну, пеняйте на себя! Мы вамъ зададимъ жару, господинъ Шапюзо, мы вамъ зададимъ... Еще кружку... послѣднюю... Ухожу, чтобы разспросить вашихъ сосѣдей... и сосѣдей вашихъ сосѣдей, потому что сосѣди нашихъ сосѣдей—это наши сосѣди, не правда ли?

— Господинъ! Господинъ!

— Нѣтъ, нѣтъ... Пеняйте на себя. Слишкомъ поздно...

— Но вы задолжали мнѣ за двѣнадцать кружекъ!

— Пресса не должнаеть никогда!!! La presse ne doit jamais rien!!!

Интервьюеръ уходитъ, опрокинувъ стойку съ посудою. Остолбенѣлый Шапюзо ползаетъ среди битыхъ черепковъ:

— Nom de Dieu!.. nom de nom... de nom de Dieu!..

Ломброзо Октавъ Мирбо посвятилъ, все-таки, довольно длинную пародію. Но я особенно люблю его, когда онъ, подобно Салтыкову, поражаетъ какую либо свою литературную антипатію короткимъ фарсомъ, двумя-тремя мѣткими словами, намекомъ во время. Мирбо, напримѣръ, чувствуетъ глубочайшее отвращеніе къ Полю Бурже, въ чемъ я отъ всей души ему сочувствую. И—вспомните, какъ въ «Le journal d'une femme de chambre» онъ отдѣлалъ этого кусточнаго психолога въ коротенькой сценѣ, когда горничная заинтересовалась однимъ загадочнымъ явленіемъ своей «половой памяти».

— Я,—пишетъ горничная,—воспользовалась тѣмъ, что у моихъ господъ бываетъ знаменитый романистъ Поль Бурже и рассказала ему все, прося объясненія... Великій человѣкъ переспросилъ:

— Это съ кѣмъ же было?

— Съ одною моею подругою... бѣдная дѣвушка!

— А, дитя мое! въ такомъ случаѣ, я не могу быть ничѣмъ вамъ полезенъ: я понимаю психологію, только начинаю со ста тысячъ франковъ годового дохода!

— Это,—какъ говорилъ кто-то у Горбунова,— что называется, «во всю щеку румянца лица!»

И сколько такихъ молніеносныхъ ударовъ мимоходомъ у этого мрачнаго, трепещущаго негодованіемъ противъ поддѣлокъ жизни, Октава Мирбо!..

Душить его благородная злоба,  
Злобу свою понесетъ онъ до гроба!..

1904.

---

## СТРАНА ЛЮБВИ.

---

«Великій Оконшанте не прогнѣвался на свою любимицу—жену Пака, но онѣ отстранилъ ее отъ дѣла и не далъ никакой службы ея мужу.

Онѣ сказалъ:

— У нихъ довольно и безъ того дѣла.

*А дѣло ихъ было—любить другъ друга».*

Эту послѣднюю строку слѣдовало бы поставить эпиграфомъ на прелестный сборникъ «Корейскихъ сказокъ» Н. Гарина. Почти каждая страница въ немъ лепечетъ наивную повѣсть о хорошей женщинѣ, любившей своего мужа до гроба и за гробомъ, о вѣрномъ мужѣ, о самоотверженной невѣстѣ, о великодушномъ соперникѣ. Трогательною мягкостью, тончайшею деликатностью чувствъ и отношеній, глубочайшимъ уваженіемъ къ женщинѣ дышатъ эти повѣсти кроткаго народа въ бѣлыхъ одеждахъ, и, закрывая книгу, я думалъ про себя:

— Италію зовутъ страной любви... Нѣтъ, она только страна красивой страсти, а настоящая страна любви—разумной, чистой и сознательной—это Корея.

Нѣжными парами, обнявшись, точно прилѣпленные другъ къ другу, прошли предо мною «восьми-несчастный» Нино-ран-дуи и его Дю-си, удачникъ Пакъ и его крылатая жена, рыбакъ и рыбацка на Амнокѣ, благочестивый рабъ и небесная подруга, Ним-куак-санъ и его тысяченожка, Нянъ

и Тори-си—замогильные Ромео и Джульетта, ухитрившіеся влюбиться другъ въ друга, покуда ожидали очереди стать на судъ адскаго бога Тибуана. Шестнадцатилѣтній Нянь умеръ по ошибкѣ духовъ смерти и долженъ былъ возвратиться къ жизни, но, подобно Орфею, не хотѣлъ уйти безъ своей Евридики—Тори-си. И, такъ какъ неоткуда было достать для Тори-си новаго срока жизни, онъ подарилъ ей половину своихъ лѣтъ. И они ожили, и женились, и—такъ какъ они знали, что имъ остается немного жить, то они нѣжно любили другъ друга и, главное, никогда не ссорились. Они умерли вмѣстѣ, въ одинъ и тотъ же день, часъ, минуту и мгновеніе... Когда люди хотятъ сказать, что двое любятъ другъ друга, то говорятъ:

— Они любятъ другъ друга, какъ Нянь и Тори-си.

Необычайною чистотою, почти дѣтскимъ цѣломудріемъ благоухаютъ и чувства, и рѣчи, и любовныя шалости корейскихъ «бѣлыхъ лебедей». Въ числѣ сказокъ много имѣющихъ европейскіе аналоги и варианты, но—какая разница въ тонѣ! Для примѣра укажу сказку «Выгодный оборотъ». Въ корейской передачѣ ее можно читать хоть малымъ дѣтямъ, тогда какъ русскіе ея варианты пришлось за цинизмъ исключить изъ сборника Аѳанасьева, и найти ихъ можно лишь въ порнографическихъ лейпцигскихъ спекуляціяхъ, подхватившихъ нѣкогда нецензурные обрывки этого знаменитаго труда.

Половая нѣжность, половое взаимоуваженіе вполне соотвѣтствуютъ человѣчности, являемой героями корейскихъ сказокъ во всѣхъ своихъ житейскихъ взаимоотношеніяхъ. Кто не знаетъ мрачныхъ фаталистическихъ сказокъ о людяхъ, счастливыхъ чужимъ счастьемъ и должныхъ лишиться его, какъ скоро придетъ за нимъ настоящій владѣлецъ? На Руси это—«Марко Скоробогатый», неугомонный гонитель и губитель младенца, къ которому современемъ должны перейти всѣ его сокровища и удачи. Въ Корей—Кимъ-Ходури, такъ разсуждающій надъ тѣльцомъ

рокового для него «Чапоги», «рожденного подь тельгою» кочующихъ нищихъ:

— Такъ вотъ откуда пришла расплата: не страшный человекъ, а маленькій, беззащитный, голый отъ нищеты ребенокъ. Нѣтъ, его убивать не надо, а лучше вотъ что я сдѣлаю: я усыновлю этого Чапоги и, какъ его отецъ, буду и впередъ жить на счастье своего сына.

На зарѣ «женскаго вопроса» въ Россіи, много насмѣшекъ вызвалъ пресловутый романъ Авдѣева «Подводный камень», гдѣ мужъ сознательно уступилъ крѣпко любимую имъ жену человекъ, котораго она полюбила, а, когда эта страсть отгорѣла, мужъ принялъ возвратившуюся измѣнницу, не попрекнувъ ее даже словомъ. Между тѣмъ, какая это старая исторія въ Корей! Все содержаніе «Подводнаго камня» укладывается въ двухъ страничкахъ сказки «Благородный мужъ» и, въ особенности, въ діалогъ мужа и любовника:

— Ты видишь, я могъ бы убить тебя. Но ты молодъ и по своимъ способностямъ общаешь многое. Вотъ сули (рисовая водка), выпьемъ.

Когда юноша выпилъ, мужъ спросилъ:

— Любишь ли ты такъ мою жену, чтобы взять ее себѣ въ жены? Если любишь, я дамъ разводъ, женись.

— Она мнѣ не пара,—сказалъ юноша.

— Тогда выпей еще,—сказалъ мужъ,—и уходи, и больше никогда къ ней не приходи, потому что я такъ люблю ее, что, какъ видишь, взялъ ее себѣ въ жены.

И они дружески разстались. Измѣну жены Кимъ скрылъ отъ своего брата, который ее заподозрилъ, а самой женѣ — «никогда не даль понять, что знаетъ ея тайну». Скрываетъ дурное поведеніе жены своей и Юн-Цанани въ юмористической сказкѣ «Еще добродѣтельная женщина». Отелло, Алеко и Позднышевъ дики и непонятны для Кореи.

— Умѣйте жертвовать собою, умѣйте прощать, умѣйте

уважать и любить другъ друга уже только за то, что всё вы—люди!

Неустанно и настойчиво звучитъ эта проповѣдь изъ древней глубины корейскаго эпоса. Въ «Охотникахъ на тигровъ» бѣднякъ, отвергнутый охотничьимъ клубомъ богачей, пристыдилъ своихъ обидчиковъ, подаривъ имъ пару молодецки убитыхъ имъ на одно копые тигровъ. Хакки, неспособный сынъ литератора, мучительными годами «волосьяго труда» и чудомъ получилъ ученость, безъ которой жестокой отецъ и знать его не хотѣлъ; но онъ уходитъ отъ суроваго старика вмѣстѣ съ женою своею, потому что—

— Отецъ любить не меня—меня такого, какъ создало небо, а мои знанія. И если бы я не приобрѣлъ ихъ чудомъ, я былъ бы навсегда чужой для него.

Сдѣлавшись министромъ, Хакки покаралъ своего крутого родителя тѣмъ, что «отцу никакого мѣста не даль, хотя и былъ всегда почителенъ къ нему, какъ и подобаетъ сыну». Въ этомъ наивно-кроткомъ родѣ всегда наказываются злодѣи и тираны корейскихъ сказокъ. Такъ—въ сказкѣ «Недостойный другъ», фабулою напоминающей «Двухъ веронцевъ» Шекспира, когда разлученные, но вѣрные любовники, послѣ многолѣтнихъ страданій, соединились, встрѣтятся въ великолѣпной гостиницѣ, которою владѣла «она» въ компаніи съ измѣнникомъ-другомъ,—то они наказали предателя только тѣмъ, что «въ ту же ночь ушли изъ гостиницы, оставивъ ее недостойному другу».

Гуманность и сострадательное отношеніе къ ближнему—единственные силы, внушающія корейцу уваженіе. На власть онъ смотритъ, какъ на предметъ купли-продажи; на богатство, какъ на случайность; къ прирожденнымъ правамъ относится съ недовѣріемъ. Характерна въ этомъ отношеніи сказка «Права отца»—о нѣкоторомъ корейскомъ Лирѣ, экзаменующемъ сыновей своихъ, почитаютъ ли они его за то, что онъ виновникъ ихъ появленія на свѣтъ.

«Старшій сынъ сказалъ:

— Почитаю.

И средній сынъ сказалъ:

— Почитаю.

А младшій сказалъ:

— За это еще не за что почитать.

Отецъ и братья разсердились и прогнали его».

Юноша идетъ въ холерный край и находитъ тамъ—въ награду за смѣлость и самопожертвованіе—хорошую жену и богатство; когда же отецъ и братья по зависти хотятъ его погубить, то сами гибнутъ отъ хунгузовъ.

Не-христіанскій народъ Кореи помнитъ лучше христіанъ принципъ: «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ». Вѣра въ присущую міру справедливость, твердая надежда, что злой поступокъ не избѣгнетъ наказанія, истекающаго изъ него самого, а порядочный человѣкъ рано или поздно долженъ найти свое счастье, живущее въ немъ самомъ, твердо звучитъ во всѣхъ легендахъ, герои которыхъ проходятъ рядъ измѣнъ, ловушекъ, испытаній. Кореецъ знаетъ дѣйствительную жизнь и не спѣшитъ съ идеей возмездія даже въ сказкахъ. Разлучившіеся влюбленные часто встрѣчаются уже измученными стариками; нищему, чтобы разбогатѣть и выйти въ люди, надо прожить въ лютыхъ бѣдствіяхъ до 80 лѣтъ. Счастье приходитъ грустное, потертое, часто оно—какъ орѣхи для беззубой бѣлки, но корейцу важно не столько внѣшнее явленіе его, сколько оправданіе въ немъ своей жизни чрезъ спокойное самосознаніе:

— Что же,—сказалъ Паксень (въ «Недостойномъ другѣ» —одной изъ замѣчательнѣйшихъ сказокъ этого разряда),— жизнь всякаго человѣка проходитъ, но мы никого не обманули, мы любимъ другъ друга, и намъ есть что вспоминать. Мы уйдемъ далеко-далеко отсюда и проведемъ конецъ нашей жизни вмѣстѣ.

Еще болѣе выразительна сказка «Небесная подруга» — о больномъ и старомъ рабѣ, получившемъ въ жены прекрасную таинственную женщину:

«Когда мужъ и жена вышли за городъ, мужъ былъ такъ изнуренъ, что не могъ идти; онъ сѣлъ и сказалъ женѣ:

— Чѣмъ больше я смотрю на тебя, тѣмъ больше убѣждаюсь, что ты особенный человѣкъ,—такой красоты, такой доброты, ума, силы и преданности не можетъ быть у обыкновеннаго человѣка, и ты любишь меня, жалкаго, умирающаго раба?

— Да, ты не ошибся, и теперь я открою тебѣ всю правду. Я жительница неба и служу всемогущему Оконшанте. *Я создана изъ лучшихъ качествъ твоей души.* Время пришло, и, если хочешь, дай твою руку, и мы поднимемся съ тобою на небо, къ великому Оконшанте. Тамъ возвратится твоя молодость, и, счастливый, ты забудешь со мной всѣ горести земли.

— О, да, я хочу!

И онъ протянулъ ей руку и вмѣстѣ съ ней навсегда исчезъ въ голубыхъ лучахъ неба».

— Das Ewig-Weibliche  
Zieht uns hinan!

этотъ финальный аккордъ «Фауста» неизмѣнно повторяется, какъ лейтъ-мотивъ, черезъ весь сборникъ г. Гарина. А къ огромному большинству сказочныхъ женщинъ-кореенокъ подходятъ, какъ точнѣйшая характеристика ихъ психической жизни, безсмертные стихи изъ разсказа Отелло:

Она меня за муки полюбила,  
А я ее—за состраданье къ нимъ...

Жена «восьми-несчастнаго» неудачника, прекрасная Дю-си—послѣ трагической смерти своего горемычнаго супруга—«шла и плакала о своемъ дорогомъ «восьми-несчастномъ» и о всѣхъ несчастныхъ и всѣхъ «восьми-несчастныхъ», плакала—до тѣхъ поръ, пока, подобно «Ундинѣ», не обратилась въ «ручей слезъ»... Являясь въ видѣннй бѣдняку, уснувшему на ея могилѣ, она говоритъ:

— Напейся изъ этого ручья—вода въ немъ чистая, потому что источникъ его—слезы за несчастныхъ. Когда

ты напешься, уменьшится твое горе, потому что ты полюбишь всѣхъ другихъ несчастныхъ, какъ любила ихъ та, слезы которой образовали этотъ ручей.

Принять страданіе за другого человѣка—высшее благо, принести страданіе—высшее зло. «Добродѣтельная жена» накормила больного мужа жаркимъ, отрѣзавъ собственныя икры. Но онъ случайно открылъ ея секретъ—и умеръ съ горя, что заставилъ такъ страдать жену...

Въ одной изъ сказокъ есть указаніе, что, встрѣчая женщину, кореецъ, изъ уваженія къ ней, долженъ сойти съ коня и пройти мимо пѣшкомъ. И женщины сказочной Кореи вполне заслуживаютъ такого почета. Въ сказкахъ «Волмай» и «Жена раба» женщины образуютъ своихъ невѣжественныхъ мужей и выводятъ ихъ въ люди. Новобрачная Кили-си («Ко и Кили-си»), такъ учитъ своего мужа Ко:

— Ты молодой и способный человѣкъ, ты можешь сдѣлаться большимъ человѣкомъ и время у тебя есть. Тебѣ всего восемнадцать лѣтъ, я люблю тебя, но хочу любить еще больше. И я не буду твоею женою до тѣхъ поръ, пока ты не научишься читать, писать, пока ты не узнаешь всѣхъ наукъ...

Затѣмъ Кили-си учреждаетъ бесплатную школу для бѣдныхъ. Въ «Клятвѣ» Вонлей (двойникъ Тори-си, о которой говорено выше) умоляетъ отца:

— Въ 16 лѣтъ я вернусь и выйду замужъ за того, кого ты назначилъ мнѣ въ мужья. Эти же три года позволю мнѣ употребить на пріобрѣтеніе знаній, такъ какъ знаніе есть счастье.

«Клятва» еще болѣе похожа на исторію Ромео и Джульетты, чѣмъ «Нянь и Тори-си», потому что въ ней сильнѣе трагическій элементъ, ярче слышно извѣчное—«любовь сильнѣе смерти». Напоминаетъ она также и сербскую народную поэму объ «Иво и Марѣ».

Силу и острогу женскаго ума прославляютъ сказки

«Желтая собака», «Права отца», «Тринадцатилѣтній мужъ», «Кимъ», «Ловкій стрѣлокъ», «Жена раба», «Съ какихъ поръ появилось тонкое полотно». Последняя сказка— почти феминистическая.— «Волмай»—жена угольщика— стоитъ во главѣ политическаго переворота. Въ сказкѣ «Конфуцій» таинственная некрасивая женщина выручаетъ изъ затрудненія великаго мудреца, когда богдыханъ предложилъ ему непосильную задачу... И такъ изумила вѣщая женщина философа, что— «Конфуцій упалъ на землю и такъ пролежалъ всю ночь. И онъ думалъ. И то, что онъ передумалъ въ эту ночь, на то обыкновенный смертный должень употребить тысячу жизней».

Въ сказкахъ социальнаго содержанія слышится то же непоколебимое, кротно-упорное, стоическое: терпи!.. «Терпи, терпи, хоть ноетъ грудь»... Отъ политическихъ золь кореець отыгрывается ироническими улыбками. Счастливый «Отгадчикъ» попалъ ко двору китайскаго императора. Не надѣясь, что всегда будетъ везти ему счастье въ пророчествахъ, и не желая рисковать, что за плохія предсказанія ему отрубятъ голову, онъ демонстративно отрѣзалъ себѣ носъ, которымъ онъ будто бы чуялъ, гдѣ что спрятано:

— Ну, теперь я такой же дуракъ, какъ и вы всѣ!

«Надъ Тори смѣялись потомъ, но онъ считалъ, что отдѣлаться отъ китайскаго императора только носомъ—это небольшая еще плата за знакомство».

Шуткою рассчитывается кореець съ нелѣпой администраціей, съ продажностью властей. Обидитъ его судья,— онъ утѣшаетъ себя историческою сентенціей: «Прежде, когда должности не продавались, а приобрѣтались знаніемъ, начальство въ Корей было умное». Стонъ вырывается изъ груди корейца рѣдко, и самое рѣзкое мѣсто сказочнаго сборника г. Гарина—рѣчь Дракона къ Паксену въ «Недостойномъ другѣ»:

— Награжу тебя за то, что ты по своей волѣ сталъ бѣднымъ корейцемъ и узналъ, какъ тяжело ему жить,

какъ грабить его начальство и какія подати берутъ съ него...

Одну изъ соціальныхъ сказокъ корейскихъ— «О законныхъ и незаконныхъ дѣтяхъ»—слѣдовало бы усвоить къ руководству всѣмъ европейскимъ государствамъ. Она такъ поучительна, что я позволю себѣ привести ее почти цѣликомъ.

«Прежде и въ Корей были законныя и незаконныя дѣти, но вотъ съ какихъ поръ всѣ дѣти стали законными.

За неимѣніемъ законныхъ дѣтей, одинъ министръ долженъ былъ усыновить своего племянника, чтобы передать ему свои права и имущество.

Въ день церемоніи, когда въ домѣ министра собрались всѣ знаменитые люди и прибылъ самъ императоръ, вышелъ къ гостямъ незаконный десятилѣтній сынъ хозяина, держа въ рукахъ много заостренныхъ палочекъ. Каждому изъ гостей онъ далъ по такой палочкѣ и сказалъ:

— Выколите мнѣ глаза, если я не сынъ моего отца.

— Ты сынъ.

— Тогда выколите мнѣ глаза, если мой двоюродный братъ—сынъ моего отца.

— Онъ не сынъ.

— Тогда за что же вы лишаете меня, сына моего отца, моихъ правъ?

— Таковъ законъ, и по закону ты незаконный.

— А можетъ быть, не я, а законъ незаконный?

— А все можетъ быть.

— Кто пишетъ законы?

— Люди.

— Вы люди?

— Мы? Люди.

— Отъ васъ, значить, зависитъ перемѣнить неправильный законъ.

И законъ перемѣнили, и съ тѣхъ поръ въ Корей нѣтъ больше незаконныхъ дѣтей».

Откладываю въ сторону сборникъ г. Гарина съ глубокимъ раздумьемъ... За послѣдніе годы лишь двѣ книги произвели на меня впечатлѣніе такого простого, непосредственно убѣждающаго этического здравомыслія: «Душа одного народа» Фильдинга—объ Аннамъ и вотъ эти «Корейскія сказки»... Нечего сказать! Хороша должна казаться буржуазно-пушечная цивилизація этимъ тихимъ странамъ съ культурою «непротівленія злу», этимъ людямъ съ идеалами, которые мы, бѣлые люди, только видимъ въ евангельскихъ текстахъ, а жизнь наша стоитъ отъ нихъ далеко, далеко... Переоцѣниваются цѣнности, превращаются понятія, разочарованный въ себѣ европеецъ печально смотритъ на дальній буддійскій востокъ и шепчетъ про себя парадоксъ, который все больше и больше обнаруживаетъ свою горькую правду:

— Истинную культуру духа надо искать тамъ, гдѣ нѣтъ нашей культуры...

Гдѣ богъ Оконшанте даетъ людямъ какъ дѣло—любить другъ друга, гдѣ неправый обидчикъ страдаетъ сознаниемъ своей злой воли больше, чѣмъ неправо обиженный, гдѣ добро такъ естественно и просто, гдѣ «знаніе есть счастье», гдѣ неразлучны и въ жизни и въ могилахъ прекрасные и кроткіе люди-лебеди, цвѣты-люди—Вонлей и Ян-санъ, Нянь и Тори-си...

1904.

## Модестъ Ивановичъ Писаревъ.

---

Съ большимъ сожалѣніемъ узналъ я изъ русскихъ газетъ о кончинѣ Модеста Ивановича Писарева. Въ лицѣ этого артиста русскій театръ потерялъ одного изъ самыхъ благородныхъ и образованныхъ своихъ людей. Какъ актеръ, Писаревъ принадлежалъ больше прошлому, чѣмъ настоящему,—и даже довольно давнему, но очень хорошему прошлому. Въ половинѣ октября 1876 года А. О. Писемскій писалъ изъ Москвы въ Парижъ И. С. Тургеневу: «Касательно новостей литературныхъ, вы, вѣроятно, сами видите, что ихъ совсѣмъ нѣтъ; въ театральномъ мірѣ то же, кромѣ развѣ, что въ Артистическій Кружокъ приглашенъ провинціальный драматическій актеръ Писаревъ, молодой еще человѣкъ, обладающій прекрасною наружностью и довольно сильнымъ внутреннимъ огнемъ». Заслужить столь лестное благословеніе въ карьеру отъ Писемскаго для артиста семидесятихъ годовъ была не шутка: знаменитый писатель самъ былъ актеръ перво-классный и критикъ очень требовательный; рядомъ съ письмомъ о Писаревѣ, можно видѣть письмо его, также къ Тургеневу, противъ Росси, гдѣ бѣдный старый Эрнесто раздѣланъ въ пухъ и прахъ. Писаревъ долженъ былъ понравиться Писемскому, потому что въ свои лучшіе годы онъ съ глубокою искренностью и большимъ талантомъ пелъ на сценѣ знамя того самаго реалистическаго,

прямого взгляда въ упоръ на текущую жизнь, котораго наиболѣе твердыми и сильными выразителями въ русской литературѣ были именно Писемскій и Островскій. Два эти писателя—литературные отцы и сценическіе воспитатели очень сильной и долгой бытовой школы русскаго театра, которая въ свое время была передовою въ драматическомъ искусствѣ и имѣла глубокое общественное значеніе. Школа эта стояла подъ вліяніемъ московскаго Малаго театра, съ наслѣдственными традиціями Щепкина, съ еще живыми тогда Провомъ Садовскимъ, Шумскимъ, Васильевыми, Самаринимъ, но, развиваясь въ провинціи, приобрѣла нѣсколько иную окраску и еще болѣе подчеркнутое демократическое направленіе. Вылившись изъ «Грозы» съ «Лучемъ свѣта въ темномъ царствѣ» и изъ «Горькой судьбины», она развивалась параллельно художественной школѣ передвижниковъ, звучала аккордами тѣхъ же тенденцій и испытала, послѣдовательно, совершенно ту же судьбу. Верха своей славы и вліянія она достигла въ 1879—85 годахъ, когда г-жѣ Бренко удалось, наконецъ нарушить монополію казенныхъ театровъ въ столицахъ устройствомъ, чуть не контрабанднымъ сперва, частнаго Пушкинскаго театра въ Москвѣ. Здѣсь явился глазамъ публики ансамбль артистическихъ силъ, ранѣе невиданный, неслыханный, а въ послѣдствіи врядъ ли уже и возможный: Писаревъ, Андреевъ-Бурлакъ, Ивановъ-Козельскій, Кирѣевъ, совсѣмъ еще молодой, но уже очень любимый въ роляхъ фатовъ Далматовъ, Свободинъ и др. И въ репертуарѣ, и въ приѣмахъ исполненія этихъ людей звучалъ яркій народническій протестъ семидесятыхъ годовъ, что нравилось очень и заставляло уважать театръ, какъ очагъ политическаго огонька. Наиболѣе мощными явленіями школы были молодая П. А. Стрепетова, комикъ В. Н. Андреевъ-Бурлакъ и—особнякомъ отъ нихъ, въ московскомъ Маломъ театрѣ,—молодая М. Н. Ермолова и чета Садовскихъ. Образованный, серьезно мыслящій, страстно

преданный искусству, Писаревъ занималъ въ этомъ сценическомъ движеніи очень почетное и видное мѣсто. Между нимъ и Андреевымъ-Бурлакомъ было что-то вродѣ артистическаго братства: гдѣ одинъ, тамъ и другой — Геннадій Несчастливцевъ-Писаревъ и Аркашка Счастливцевъ-Бурлакъ, какъ двѣ стороны одной и той же медали, трагическая и комическая, одна тяжело плачетъ, другая злобно смѣется. Въ то время Писаревъ уже разошелся съ Стрепетовою, но я помню грандіозный спектакль «Горькой судьбины», гдѣ она была Елизавета, онъ — Ананій, Бурлакъ—бурмистръ и Ивановъ-Козельскій — Чегловъ. Писаревъ не былъ трагикомъ по существу, трагическаго темперамента горѣло въ немъ не много, и къ трагическимъ ролямъ направили его чисто виѣшнія счастливыя условія природы—огромная статная фигура, прекрасное лицо съ глубокими синими глазами и рѣдкая красота басоваго голоса, чуть не съ колокольными какими-то звуками. Думалъ и работалъ надъ ролями этотъ человѣкъ очень много, читалъ массу, понималъ тонко и изящно, но, тѣмъ не менѣе, въ трагическомъ репертуарѣ никогда не умѣлъ пойти дальше очень добросовѣстнаго выполненія традиціонныхъ позъ и жестовъ и ревущей декламации. Въ Шиллерѣ и Шекспирѣ Писаревъ былъ грубъ и тяжелъ и очень скоро долженъ былъ уступить весь этотъ репертуаръ нервному «нутряку» Иванову-Козельскому. Но онъ совершенно преобразался и становился сильнымъ, какъ Антей, едва талантъ его соприкасался съ родною дѣйствительностью, съ душою и бытомъ русскаго человѣка изъ народа или демократической интеллигенціи. Его Островскій и Писемскій незабвенны, для старыхъ и лучшихъ пьесъ Шпагинскаго и Соловьева Писаревъ былъ опорнымъ столпомъ. Я помню первую постановку «Кручины», гдѣ онъ игралъ Ревякина, а Андреевъ-Бурлакъ—Недыхляева; первую постановку «Иудушки», съ Иудушкою-Бурлакомъ и Писаревымъ — Степаномъ Головлевымъ...

Но chef d'oeuvre'омъ ихъ союза все-таки оставались Несчастливцевъ и Счастливецевъ въ «Лѣсъ» Островскаго.

Андреевъ-Бурлакъ, когда напивался очень пьянь, отпускалъ иногда—особенно въ послѣдніе годы жизни—фразы вродѣ:

— Мой другъ Модестъ Ивановичъ вдвое больше меня ростомъ и вдвое меньше талантомъ!

Это надменное исчисленіе было несправедливо, потому что крупный талантъ Писарева доказанъ десятками превосходныхъ созданій, обнаружившихъ силу первоклассную. Но, съ другой стороны, нельзя отрицать, что талантъ Писарева былъ, такъ сказать, хоровой: чтобы расцвѣсти, онъ нуждался въ вдохновеніи благопріятною средою и, очутившись въ таковой, не только самъ становился прекрасенъ, но и эту самую средю, его вдохновляющую, украшалъ и направлялъ къ лучшему. Поэтому самые блестящіе годы Писарева выразились въ взаимодействіи его—сперва со Стрепетовою, потомъ съ Андреевымъ-Бурлакомъ. Но и обратно, надо сказать полную правду, что также и лучшее время этихъ артистовъ должно отнести къ тѣмъ періодамъ, когда и буйный талантъ Стрепетовой, и стихійный, но безпорядочный талантъ Андреева-Бурлака имѣли какъ бы идейный регуляторъ въ общеніи съ спокойнымъ, трезвымъ дарованіемъ, съ красиво отзывчивымъ темпераментомъ и образованнымъ, внимательнымъ умомъ Писарева. Изъ всѣхъ троихъ онъ одинъ не былъ голое «нутро» и имѣлъ «школу», развитую привычкою къ систематической мысли и дѣльнымъ чтеніемъ. Званіе артиста драматическаго Писаревъ ставилъ очень высоко и, съ самоотчетностью истинно культурнаго человѣка, старался поднять свое искусство на высокій пьедесталь общественной цѣлесообразности, съ котораго какъ разъ восьмидесятые годы театръ свергли, обративъ его либо въ гимнастику самодовлѣющихъ капризовъ случайной мысли, либо просто въ балаганъ нутрянаго смѣха и мелодраматическихъ схемъ. Поэтому Писарева

очень уважала молодежь, цѣня въ немъ «актера съ направленіемъ» — человѣка университетскаго, читающаго, передового, хорошаго либерала-народника семидесятыхъ годовъ. Писаревъ, что не малая рѣдкость для русскаго актера, владѣлъ богатымъ даромъ и еще большимъ искусствомъ выразительнаго чтенія. Декламація его была въ модѣ на студенческихъ и интеллигентныхъ вечерахъ, и я живо вспоминаю время въ Москвѣ, когда успѣхъ Писарева въ этомъ отношеніи почти равнялся триумфамъ М. Н. Ермоловой. Читалъ онъ по преимуществу Некрасова и Никитина...

Мыкать горе, вѣкъ трудиться,  
Нищимъ умереть...  
Вотъ гдѣ надобно учиться  
Вѣрить да терпѣть! —

это, почти хрестоматическое, стихотвореніе было его конькомъ, и я двадцать лѣтъ спустя помню и лицо, и звукъ голоса Писарева: значить, хорошо и сильно выражалъ свою мысль человѣкъ! Другимъ *chef d'oeuvre* омъ декламаціи Писарева былъ никитинскій «Хозяинъ», съ знаменитою пѣснью о соколѣ, прикованномъ на старомъ курганѣ:

Сидитъ онъ ужъ тысячу лѣтъ.  
А воли все нѣтъ ему, нѣтъ!..

Распадъ дѣла Бренко и скорое вырожденіе «старого» Корша въ театръ развлеченій для средней буржуазіи покончили съ актерами-народниками, съ передвижниками драмы. Большинство ихъ, выйдя изъ провинціи, въ провинцію и возвратилось—прозябать и умирать: Андреевъ-Бурлакъ первый открылъ серію трагическихъ, преждевременныхъ «умертвій», потомъ спился, сошелъ съ ума и умеръ Ивановъ-Козельскій, Солонинъ... Петербургъ привлекъ къ себѣ на Александринскую сцену четыре крупныя силы—Стрепетову, Свободина, Писарева и Далматова. Изъ всей стаи славной живъ и здравствуетъ одинъ В. П. Далматовъ—кажется, и самый младшій изъ нихъ.

Планетный характеръ таланта М. И. Писарева требо-

валь непремѣнно какого нибудь солнца, которое сообщало бы ему свой свѣтъ. Въ чиновничьей средѣ савинско-крыловскаго Александринскаго театра онъ не обрѣлъ тѣхъ властныхъ вдохновеній, въ общеніи съ которыми привыкъ находить и творить свои образы. Александринскій театръ изломалъ и отравилъ Стрепетову, разрушилъ Горева, Ленскій спасся отъ его деморализующей атмосферы только бѣгствомъ обратно въ Москву, Далматовъ тоже уходилъ изъ этого милого учрежденія въ бѣга лѣтъ на пять, Свободинъ умеръ на сценѣ отъ разрыва сердца, Шуваловъ ушелъ обезславленный и тоже умеръ... Разлагающее вліяніе бюрократической сцены не могло пройти безъ слѣда и для М. И. Писарева съ его мягкимъ, пассивнымъ характеромъ, такъ податливымъ отражать окружающую среду. Онъ завялъ и зачахъ въ Александринкѣ, какъ дубокъ, пересаженный въ теплицу. Когда я увидалъ Писарева въ Петербургѣ въ 1896 году, послѣ десятилѣтняго промежутка, я глазамъ и ушамъ своимъ едва повѣрилъ: неужели предо мною бывшій властитель нашихъ молодыхъ думъ? До такой степени онъ постарѣлъ, вылинялъ и обезцвѣтился. Отъ прежняго Писарева остался только большой ростъ и очень умное чтеніе, да и то уже ослабѣвшимъ и потускнѣвшимъ, какимъ-то опустошеннымъ будто, голосомъ, и вялое, безъ былыхъ воодушевленій и порывовъ, — со всѣмъ приличіемъ и добросовѣстностью исправно несомой, но ничуть не вдохновляющей, службы «по департаменту сценическаго искусства». Александринская муштра наложила свою принижавшую мѣрку даже на старыя роли Писарева; на примѣръ, нельзя не сознаться, что онъ, когда-то лучшій Несчастливцевъ въ Россіи, сдѣлался очень плохимъ Несчастливцевымъ къ концу девяностыхъ годовъ. Пожалуй, уже и физическихъ средствъ ему для богатырской роли этой не хватало, но, главное, онъ утратилъ ту правду и простоту житейскую, которою когда-то звучали его неподражаемо виртуозные дуэты съ Андреевымъ-Бурлакомъ. Александринскій театръ покорилъ себѣ добродушнаго ве-

ликана, снялъ съ него всѣ печати былой оригинальности и облекъ его въ общеустановленный мундиръ мертвыхъ условностей своего безличнаго тона. Играть неумно или неискусно Писаревъ, конечно, не могъ уже органически, потому что онъ былъ и уменъ, и большой мастеръ своего дѣла—отличный теоретикъ и опытный техникъ сцены. Но талантъ и темпераментъ вспыхивали въ немъ уже лишь для маленькихъ эпизодическихъ ролей, гдѣ онъ оставался «самъ по себѣ», въ сторонѣ отъ ансамбля, либо—когда счастливый случай посылалъ ему въ партнеры актера-сверстника, товарища былыхъ традицій—съ психологическою заправкою вглубь, чужого внѣшней и показной,—насквозь пустой Александринской школь. Такъ, Писаревъ былъ великолѣпнень, когда я видѣлъ его въ послѣдній разъ (въ 1901 году) пустыннымъ Левкиемъ въ «Царѣ Борисѣ», съ Горевымъ. Публика петербургская очень уважала Писарева, но въ любимцахъ ея онъ не числился, хотя большинство ея любимцевъ, надо говорить откровенно, недостойны развязать ремень у сапога его. На него въ Петербургѣ смотрѣли скорѣе какъ на почтенный пережитокъ какого-то хорошаго, но, къ сожалѣнiю, уже чужого прошлаго, чѣмъ на фигуру дѣйствительности, и, кажется, больше цѣнили въ немъ то, что о немъ знали, слышали и предполагали, чѣмъ то, что отъ него на сценѣ видѣли. Да, въ Писаревѣ, старомодномъ интеллигентѣ-народникѣ изъ «кающихся дворянъ»—и не было ни капли тѣхъ крикливыхъ, наянливыхъ-льстивыхъ толпѣ элементовъ, которыми, «яко гробы поваленные», создавались театральные любимцы и, въ особенности, любимицы въ столицѣ девяностыхъ годовъ. Модестъ Ивановичъ былъ человекъ рѣдкой скромности, тихой, замкнутой жизни, серьезнаго, кабинетнаго труда. Онъ въ жизнь свою не сдѣлалъ ни одного шага навстрѣчу рекламѣ, не замѣшался въ какую либо театральную интригу, не искалъ побѣды надъ искусствомъ сомнительными обходами и средствами внѣ искусства. Онъ жилъ и умеръ, какъ достойнѣйшій

художникъ, честнѣйшій и отличнѣйшій человекъ, благороднѣйшій товарищъ. Чистая, хрустальная память его останется навсегда однимъ изъ лучшихъ и весьма рѣдкихъ украшеній въ лѣтописи русскаго искусства.

1905.

---

## Васнецовскіе богатыри.

Подъ славнымъ городомъ, подъ Кіевомъ,  
На тѣхъ на степяхъ на Цицарскіихъ,  
Стояла застава богатырская:  
На заставѣ атаманъ былъ Илья Муромецъ;  
Подъ-атаманье былъ Добрыня Никитичъ младъ;  
Есаулъ Алеша, поповскій сынъ...

Богатырская застава стоитъ, какъ живая, изваянная  
могучею рукою Васнецова. Сказавъ «изваянная», я не  
ошибся словомъ: гигантскія фигуры «Богатырей» про-  
изводятъ на меня впечатлѣніе именно скульптурной груп-  
пы,—онѣ лѣзутъ съ полотна, выпираютъ въ заль... Такъ  
и ждешь—вотъ-вотъ загрохочутъ тяжелыя конскія ко-  
пыта, забряцаютъ кольчуги и загремить надъ толпою  
зычный, звонкій окликъ:

Воръ, собака, нахвальщина!  
Зачѣмъ нашу заставу проѣзжаешь?  
Атаману Ильѣ Муромцу не бьешь челомя?  
Подъ-атаманью Добрынѣ Никитичу?  
Есаулу Алешѣ въ казну не кладешь  
На всю нашу братью наборную?

Богатырь-мужикъ, богатырь-дворянинъ и богатырь-по-  
повичъ—вся сила земская—заслонили Русь отъ кочевни-  
ковъ, напиравшихъ на нее съ юго-востока, чрезъ тѣ  
самыя степи Цицарскія,—то-есть кесарскія, бывыя ви-  
зантійскія,—гдѣ встрѣчаемъ мы васнецовскихъ богатырей.  
Мимо нихъ къ Кіеву «лютый звѣрь не прорыскиваль,  
быстра птица не пролетывала». Стоять они службою

честною и безкорыстною. Это удивительная черта былинь русских—чистота побуждений, увлекающих витязя на подвигъ, и строгая нравственная выдержка ихъ въ теченіе самаго подвига. Бой богатырскій—честь, которую былины предоставляютъ лишь витязямъ, не способнымъ увлечься ни алчностью, ни тщеславіемъ, ни женщиною, имѣющимъ характеръ прямолинейно долбить въ одну точку, не глядя по сторонамъ, какіе бы соблазнительные узоры ни были кругомъ нихъ расписаны страстями плотскими. Кто идетъ на бой, не отрѣшась отъ соблазновъ міра сего, не имѣетъ удачи. Такъ и теперь, когда зазрили богатыри «въ полѣ чернизину», и оказалась чернизина эта—весьма грозною и опасною силою...

Еще что же то за богатырь ѣхаль?  
Изъ этой земли изъ Жидовскія  
Проѣхаль Жидовинъ могучъ богатырь  
На эти степи Цицарскія!

Подъ именемъ Жидовской земли былина подразумѣваетъ, конечно, не Палестину и евреевъ, но степное Козарское царство въ низовьяхъ Волги, съ главнымъ становищемъ—городомъ Итилемъ. О козарахъ армянскіе историки упоминаютъ еще во II вѣкѣ по Р. Х. Византійцы узнали козарь въ VII вѣкѣ, подъ именемъ восточныхъ турокъ. VIII и IX вѣкѣ—заря русской исторіи—эпоха могущества козарь. Они вышли къ Черному морю и, распространяясь на югъ, подчинили себѣ большую часть Тавриды, а на сѣверѣ обложили данью славянскія племена. Картину славянской самостоятельности въ эти вѣка лѣтописецъ изображаетъ такимъ распредѣленіемъ: «Брали дань варяги изъ-за моря на чуды, славянахъ новгородскихъ, мери, веси, на кривичахъ, а козары брали на полянахъ, сѣверянахъ, радимичахъ и вятичахъ». Въ концѣ IX вѣка варяжская Русь начинаетъ отрѣснять козарь, занятыхъ борьбою съ напоромъ новаго кочевого врага съ востока—дикаго тюркскаго племени печенѣговъ.

По лѣтописи, Олегъ отнялъ у козаръ дани съ сѣверянъ и радимичей, принявъ эти племена подъ свой протекторатъ. Въ 913 и 914 году козарскій каганъ разрѣшилъ русскимъ судамъ пройти Дономъ и Волгою для набѣга на Каспій, но на обратномъ пути руссы были вырѣзаны мусульманской и христіанской партіями населенія козарской столицы Итиля. Святославъ отвоевалъ у козаръ вятичей и отомстилъ за недавнія пораженія руссовъ страшнымъ набѣгомъ на Донъ, Волгу, Кавказъ, разграбивъ обѣ козарскія столицы—Бѣлую Вѣжу на Дону и Итиль на Волгѣ, а также богатѣйшій городъ Семендеръ, лежавшій между Волгою и Дербентомъ, близъ нынѣшняго Тарху. Описанія этого города современниками свидѣтельствуютъ, что въ козарскомъ царствѣ пользовались равноправіемъ всѣ религіи: христіанская, іудейская, мусульманская и языческіе культы. Каганъ козарскій исповѣдывалъ іудейскую религію, но гвардія его была мусульманская. Большинство населенія держалось закона Моисеева. Отсюда и былинное—Жидовинъ, земля жидовская. Извѣстная легенда объ испытаніи Владиміромъ трехъ религій для выбора новой вѣры—вариантъ совершенно такой же болѣе ранней легенды о козарскихъ каганахъ съ тою разницею, конечно, что въ послѣдней побѣда остается за іудейскою религіей, а въ нашемъ лѣтописномъ вариантѣ—за христіанствомъ. Подъ печенѣжскимъ, а затѣмъ половецкимъ напоромъ, козарское царство пало. По разрушеніи его, козары еще долго существовали, какъ отдѣльная, хотя уже не самостоятельная, народность, и играли значительную роль въ судьбахъ Тмутараканскаго княжества (на Азовскомъ морѣ)—обычнаго прибѣжища русскихъ «изгоевъ» въ княжескихъ усобицахъ XI вѣка. Въ 1023 году они помогли Мстиславу-Богатырю разбить при Лиственѣ Ярослава съ союзными ему варягами. Въ 1079 году измѣною убили своего союзника Романа Святославовича и выдали Византіи брата его Олега. По образу жизни, козары были народъ полусѣдлый: имѣли

города, но большинство народонаселенія жило въ кибиткахъ, либо въ глиняныхъ мазанкахъ, и только у кагана были высокія кирпичныя хоромы. Въ лѣтнее время козары вели кочевую жизнь нынѣшнихъ степныхъ башкиръ или киргизовъ. Такъ что тотъ «Жидовинъ, могучъ богатырь», о которомъ поетъ легенда, есть козарскій богатырь, выѣхавшій барантовать, искатель приключеній, разбойникъ и рыцарь, абрекъ. Еще недавно закубанскія степи кишѣли подобными наѣздниками, и казацкія станицы берегли отъ нихъ новую Россію, какъ богатырскія заставы берегли старую Русь.

На заставѣ богатырской есть кому помѣряться съ нахвальщикомъ и помимо трехъ старшихъ богатырей: есть Васька Долгополый, есть Гришка Боярскій сынъ, витязи отъ купечества и знати. Но ни того, ни другого не пустилъ въ погоню за нахвальщикомъ «большой богатырь Илья Муромецъ»:

Неладно, ребятушки, удумали;  
Гришка рода боярскаго:  
Боярскіе роды хвастливые;  
На бою, дракъ призахвастается,  
Погибнетъ Гришка понапрасному.

Самъ Алеша Поповичъ отстраненъ атаманомъ отъ поединка съ пришельцемъ, потому что

Алеша—рода поповскаго;  
Поповскія руки загребуція,  
Поповскіе глаза завидушіе.  
Увидитъ Алеша на нахвальщикѣ  
Много злата, серебра;  
Злату Алеша позавируетъ,  
Погибнетъ Алеша понапрасному...

И, въ концѣ-концовъ,—«положили на Добрыню Никитича».

Алеша Поповичъ такъ и вышелъ у Васнецова—съ глазами завидущими, съ руками загребущими. Это дѣтище Левонтія, стараго ростовскаго попа соборнаго, въ былинахъ и сказкахъ русской старины славится не столько силою и мужествомъ, сколько сметкою, увертливостью, ловкостью,

умѣнемъ раззудить противника до бѣлаго каленія—до того, что какое-нибудь простоватое Идолице Поганое или Тугаринъ Змѣвичъ такъ вотъ и бросится на несноснаго шпыня, очертя голову, какъ быкъ на красный платокъ... «а въ тѣ поры Алеша увертливъ былъ» — Идолице съ размаху и грянется о земь дуракъ-дуракомъ и погибнетъ отъ собственной своей силы. Алеша и надуетъ врага не прочь, и сзади на него напасть, притвориться глухимъ, подманить къ себѣ непріятеля, а потомъ, не говоря худого слова, хватъ его шеленугою по головѣ или саблюю по шеѣ. Въ открытый бой онъ «едва живъ идетъ», но напасть изъ-за угла, либо спѣшить вершника издали стрѣлою—нѣтъ его удалѣе. Онъ и у Васнецова уже схватился за лукъ, и все его красивенькое, умное, притворно-скромное лицо трепещетъ нетерпѣніемъ, точно онъ думаетъ про себя:

— Эхъ, право! и чего мѣшкаютъ старшіе братья? Заспорили тоже, кому идти на нахвальщика... Пустили бы меня, ужъ я бы ему, сукину сыну, подвелъ штуку... Да, вишь, не пускаютъ, черти! имъ бы—все по-старому, напроломъ валить... А я бы съ Жидовиномъ живо управился: либо стрѣлою его ссадилъ бы, либо прикинулъ бы каликою перехожимъ, да, покуда Жидовинъ мнѣ милостыньку творить, я бы и пырь его, чѣмъ ни попадаю..

Лицо хитрое, но влекущее; глаза лицемѣрные, но заманчивые; плуть страшный, но прелюбопытный малый. Онъ и щеголь великій—Алеша, и бабій перелестникъ, и у князя въ чести, какъ лукавый совѣтчикъ; а между товарищами-богатырями, хотя и душа челоуѣкъ, но они знаютъ: пальца въ ротъ ему не клади! откусить!.. Въ домашнемъ богатырскомъ обиходѣ, въ терему Владиміровомъ только и видишь—либо Алеша у Добрыни жену чуть не увель, либо Алеша смущаетъ Володимера на чужую жену и учитъ, какъ извести ея мужа, либо Алеша

исполняетъ какое-нибудь гнусное порученіе княгини Апраксѣвны. У калики перехожаго Касьяна-богатыря,—этого русскаго Іосифа Прекраснаго, который имѣлъ несчастье полюбитъся княгинѣ, особѣ по мужской части, вообще, довольно слабой, но не отвѣтилъ ей взаимностью,—Алешѣ велятъ «прорѣзать суму рыта бархата, запахать бы чарочку серебряну», чтобы потомъ обвинить упрямаго красавца въ покражѣ изъ княжескаго терема. Алеша по внѣшности изящень, знаетъ, какъ надо держать себя, даже не прочь поучить другихъ манерамъ, но,—говорятъ былины, — «вѣжество въ немъ нерожденное». Онъ любитъ, когда можно, забыться, повластвовать, повеличаться надъ низшими: грубая природа сквозитъ подъ напускнымъ лоскомъ. Князю и богатырямъ онъ льститъ, а на каликъ перехожихъ оретъ, обличаетъ ихъ ворами-разбойниками, за что и калики не постѣснились съ нимъ расправиться по-мужицки: «сдирали съ Алеши штаны бархатны, напихали клюками... до-синя». Въ щеголеватомъ богатырѣ Васнецова чувствуется и его «нерожденное вѣжество». Алеша молодець въ своемъ нарядѣ витязя, подъ dospѣхомъ, но снять съ него dospѣхъ, да одѣть его въ подрясникъ, такъ и дьяконокъ изъ него выйдетъ хоть куда—ядовитый дьяконокъ, изъ лѣсковскихъ типовъ, что на своего попа каждую недѣлю архіерею доносы писать и за то запрещаемъ бываетъ, но все не унимается, ибо язвительность его сильнѣе его самого; что, славя Христа по приходу, при дѣлежѣ яицъ, разъ десять ихъ перечтеть, а ужъ о деньгахъ и говорить нечего: и дьячка разуеть, и къ просвириѣ въ карманъ слазить, не спустили ли туда какого пятака изъ общаго дохода. Помню, когда я впервые читалъ «Бурсу» Помяловскаго, мнѣ пришло въ голову, что его богатыри—плуты, вскормленники бурсы, юноши страшной силы и страшной безнравственности, Аксютка и Ірсе, онъ же Сатана,—весьма и весьма древніе люди, имѣющіе первородича еще въ былинной старинѣ. И

рыжая лошадка Алеши—немножко поповская; она пожиже и битюка исполина, что подь мужикомъ Ильею, и кровнаго бѣлаго степного конька, что дворянинъ Добрыня Никитичъ выѣздилъ подь «сѣдельце черкасское»; и покормилъ ее Алеша хуже: изъ трехъ лошадей она одна тянется къ подножному корму,—такъ бы и сжевала молодую поросль промежь сѣдого ковыля...

Многіе находятъ, что Добрыня, изъ трехъ богатырей, удался Васнецову менѣе другихъ. Дѣло въ томъ, что богатырь, котораго мы привыкли встрѣчать въ былинахъ съ эпитетомъ «Добрыня Никитичъ младъ», у Васнецова — человекъ уже среднихъ лѣтъ, почти готовый перейти въ разрядъ пожилыхъ. Былины даютъ намъ довольно подробную біографію Добрыни: три года онъ при Владимірѣ стольничалъ, три года приворотничалъ, девять лѣтъ чашничалъ, а потомъ влюбился въ Маринку-еретницу, которая обернула его туромъ—золотые рога и водила въ такомъ нелѣпомъ образѣ тоже довольно значительное время; затѣмъ Владиміръ услалъ его—отъ молодой жены—«вырубить чудь бѣлоглазую, перекрошить сорочину долгополую, а и тѣхъ черкесовъ пятигорскіихъ, и тѣхъ калмыковъ съ татарами, чукчи бы всѣ и алюторы». Занимался этою международною рѣзней Добрыня цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ. И затѣмъ уже встрѣчаемъ мы его богатыремъ на степныхъ заставахъ, во лугахъ Цицарскіихъ, либо на Сафать-рѣкѣ — въ моментъ васнецовскій. При такихъ условіяхъ слово «младъ» приложимо скорѣе къ юному, кипучему, истинно рыцарскому сердцу Добрыни, чѣмъ къ его годамъ, а слѣдовательно и къ наружности. Изъ всего нашего богатырства, Добрыня—наиболѣе близокъ къ западному рыцарству. Сближаютъ его съ послѣднимъ и обильныя романическія его похождения. Добрыня — образецъ честной, мужской души, женолюбивой, страстной, привязчивой и довѣрчивой, а потому и вѣчно обманутой; вѣчно страдающей отъ бабьяго легкомыслія и коварства.

То у Добрыни любовница повяжется съ змѣемъ Горыничемъ, а его самого одѣнетъ въ тура золотые рога, то жена Добрыни идетъ отъ живого мужа замужъ за Алешу Поповича. Всюду является онъ женскимъ защитникомъ отъ налетнаго зла. То и дѣло приходится ему колотить много-головыхъ змѣевъ и отнимать у нихъ прекрасныхъ плѣнницъ. Даже мать свою случилось Добрынѣ выручить изъ подобной же бѣды. Но женщины честному Добрынѣ благодарностью не платили, а поступали съ нимъ весьма подло: Добрыня — первый россійскій страдатель изъ-за женщины. А между тѣмъ былъ онъ молодець хоть куда: и богачъ, и красавецъ и рода высокаго, молился по-ученому, поклоны клалъ по-писанному, ходилъ въ посольство къ королю литовскому и царю Батыю, не имѣлъ равнаго ни въ борьбѣ, ни въ стрѣльбѣ и даже такъ прекрасно игралъ въ шашки, «въ тавлеи вальящеты», что совсѣмъ осрамилъ и «заперъ» царя Батыя...

Первую тавлеюшку царь ступилъ,  
Другую тавлеюшку Добрыня Никитичъ младъ;  
Третью тавлеюшку царь ступилъ,  
Четвертую Добрыня Никитичъ младъ;  
Больше царю ступить некуда;  
Та игра была проиграна!  
(Былина о Василии Казимировичѣ).

Но — явленіе обычное: при всѣхъ достоинствахъ, ему не везло — именно, можетъ быть, потому, что было слишкомъ много достоинствъ, а Маринкамъ-еретницамъ и княгинямъ Апраксѣвнамъ нужны были мужчины попроче, болѣе грубой мысли и чувственнаго уклада, и потому-то обставлялъ и опережалъ Добрыню Алеша Поповичъ — какъ впоследствии Молчалинъ обставилъ и опередилъ Чацкаго у Софьи Павловны Фамусовой.

На Васнецовской картинѣ Добрыня уже оставилъ позади всѣ эти личныя вспышки и страданія. Суховатое, длинно-бородое лицо его — лицо дружинника, война при исполненіи долга. Въ немъ есть что-то сѣверное, норманнское.

Онъ похожъ на рыжебородаго Тора, съ которымъ, къ слову сказать, сближаютъ его иные мифологи. На чудной, бѣлой лошаdkѣ своей онъ сидитъ, какъ наѣздникъ, котораго никакая сила не сброситъ съ сѣдла; ему удобно на конѣ, какъ дома; да ужъ и лошадка же подъ нимъ! Маленькая, сравнительно съ сосѣдомъ-исполиномъ, конемъ Ильи, нервная, нетерпѣливая, она ловитъ степной вѣтеръ раздутыми ноздрями, насторожила уши, глаза весело играютъ, копыта топотять по розоватымъ безсмертникамъ и зеленымъ елочкамъ, — такъ бы вотъ и ринулась въ степной просторъ, скача черезъ ручьи и балки, взлетая на холмы и курганы... Ей и скакать, впрочемъ, сейчасъ: не кому другому, а Добрынь Никитичу — ѣхать на нахвальщика: онъ уже, не глядя, — именно домашнимъ, — движеніемъ привычнаго рубаки, вынимаетъ изъ ноженъ широкій тяжелый мечъ, а самъ, какъ степной орелъ, воззрися въ пространство на далекую «чернизину»; и только копые атамана, опущенное передъ самую мордою добрыниной лошади, — оттого она и вздернула голову съ такою нервною дрожью, — задерживаетъ удалой скокъ богатыря.

Атаманъ не торопится. Сиднемъ просидѣвъ въ молодости тридцать лѣтъ, онъ обучился терпѣнію и хладнокровію.

— Погоди... погоди... дай-ка-съ поглядѣть, какой-такой тамъ еще нахвальщикъ? — говоритъ онъ, всматриваясь изъ-подъ руки въ зеленый развалъ степи, — между тѣмъ, какъ Добрыня полонъ сосредоточеннымъ негодованіемъ и потребностью мщенія:

Мы что на заставушкѣ устояли?  
Что на заставушкѣ углядѣли?  
Мимо нашу заставу богатырь ѣхаль!

Страшную силу придалъ Васнецовъ огромному, дородному Ильѣ: такъ и гнетъ сверхчеловѣческій грузъ широкую спину битюка; конь-великанъ вмѣстѣ со всадникомъ-великаномъ какъ бы вросли въ землю — инда копыта въ нее

погрузли. Илья—старый казакъ, старъ-матерь человекъ; страшные мускулы его жиромъ подернуло; кольчуга облѣпила его торсъ и стальными перегибами лоснится на складкахъ. Этотъ гигантъ—дѣйствительно «большой богатырь», «старшій» всего своего атаманства; онъ родился на границѣ міра человѣческаго и стихійныхъ таинствъ, когда только устроялась крещеная земля. Не диво ему никакой нахвальщикъ: онъ знавалъ и Святогора-богатыря, котораго «мать земля не держала», и отъ него, изъ гроба, принялъ духъ богатырскій; глушилъ и Соловья-разбойника; избивалъ цѣлыя рати татаровой, ухвативъ татарина за ноги...

А и крѣпокъ, татаринъ—не ломится!

А и жловать, собака—не изорвется!

Оторвалась башка татарская,—

Убила татаровой счету нѣтъ...

За нимъ—огромное прошлое подвиговъ, ничуть не убавившихъ его грозной силы. Онъ и сейчасъ бы, какъ при первомъ посвященіи его въ богатыри каликами переходжими,—«кабы столбъ отъ неба до земли, такъ всю бы землю повернулъ!» Сила эта—разумная, себя сознающая, а потому и не спѣшная, и не хвастливая. Вонъ онъ—васнецовскій Илья: держитъ руку у глаза и даже не замѣчаетъ, что на локтѣ у него повисла на свободномъ отвѣсѣ «палица боевая»—«она вѣсомъ та палица девяносто пудъ».. Добрыня-дворянинъ поскачетъ сражаться первымъ, какъ дружинникъ княжескій, какъ представитель военнаго сословія. А Илья, напутствовавъ его въ дорогу, останется спокойно на заставѣ богатырской, какъ сила земская, до которой послѣдняя очередь доходить,—когда не въ мочь людямъ служилымъ управиться съ одолѣніемъ вражескимъ.

Не подь силу окажется нахвальщикъ Добрынь,—тогда скажетъ Илья:

Больше негѣмъ замѣнитися:

Видно, вѣхатъ атаману самому! —

и, съ тѣмъ же страшнымъ спокойствіемъ свыше дарованной силы, двинется, какъ туча, на своемъ воронѣ-конѣ въ

погоню за обидчикомъ. И, куда бы нахвальщикъ ни уѣхаль, Илья догонитъ, потому что, въ минуты опасности общественной, его конь-тяжеловѣсъ, — выпряженный подъ богатырское сѣдло изъ-подъ той мужицкой сопки, которою пахаль землю Микула Селяниновичъ, носитель тяги земной, мирный крестьянинъ — побѣдитель странствующаго рыцаря-завоевателя, могучаго норманна Вольги Святославича «его воронъ-конь осержается... отъ земли отдѣляется... дѣлаетъ выходы на десять версть, дѣлаетъ выскоки на сто версть». Ни къ чьему богатырству русская былина не относится съ такою благоговѣйною любовью, какъ къ Ильѣ Муромцу: его сила — нездѣшная, ею напоили его Христосъ съ двумя апостолами, о ней «написано у святыхъ отцовъ, удумано у апостоловъ». Илья — представитель мира на землѣ, обусловленнаго страшною силою, которая никого безъ толку не трогаетъ, но которую и самое не дай Богъ никому тронуть! — представитель земскаго духа и единства. Первое впечатлѣніе, какъ взглянешь на Васнецовскаго Илью близорукими глазами, — ой, какой суровый! Но чѣмъ больше и долѣе вглядываешься, тѣмъ яснѣе выступаетъ изъ-подъ строгости наружной природная доброта и сердечность богатыря, тѣмъ мягче и теплѣе смотрятъ его изъбра голубые глаза. На васъ, изъ-подъ шишака, смотритъ мужикъ Марей Достоевскаго, тотъ «народъ», великій терпѣніемъ и силою любви, что страсъ съ плечъ нашествіе татарское, нашествіе польское, нашествіе дванадесяти языкъ. Ни Шуйскій Алеша Поповичъ ни Ляпуновъ и Скопинъ — Добрыни не въ силахъ были спасти Русь отъ гибели въ пору смутнаго времени, когда отъ наѣзда иноземной нахвальщины. —

Сыра мать земля всколебалася,  
Изъ озеръ вода выливалася,  
Подъ Добрыней конь на колѣнца палъ.

Народъ — Илья, поднятый Мининымъ, самъ спасъ свою самостоятельность. Нелегко дался ему подвигъ — и въ эту пору, и въ позднѣйшія лихолѣтья наши. И Русь па-

дала въ бою, и ея нахвальщики сиживали на груди у нея, съ «чинжалищемъ булатнымъ», какъ сидѣль на груди у Ильи богатырь земли Жидовскія, и надъ нею издѣвались:

Старый ты старикъ, старый матерый!  
Зачѣмъ ты ѣдишь во чисто поле?

Даже самъ павшій народъ порою терялся, сомнѣваясь въ своихъ силахъ и въ своемъ жребіи, — какъ опрокинутый нахвальщикомъ Илья размышлялъ въ свой смертный часъ:

Да, не ладно у Святыхъ Отцовъ написано,  
Не ладно у Апостоловъ удумано:  
Написано было у Святыхъ Отцовъ,  
Удумано было у Апостоловъ:  
Не бывать Ильѣ въ чистомъ полѣ убитому;  
А теперь Илья подъ богатыремъ!

Но—«лежучи, у Ильи втрое силы прибыло», и справился онъ съ нахвальщикомъ и по плеча отсѣкъ буйну голову... Это—нижегородское ополченіе послѣ тушинскаго стана, Полтава послѣ Нарвы, пожаръ Москвы — послѣ Аустерлица, освобожденіе крестьянъ—послѣ Севастополя и освободительная народная буря послѣ трагедіи японской войны...

## Н. А. Лейкинъ.

---

Умеръ Н. А. Лейкинъ... Для многихъ, въ особенности, для тѣхъ классовъ русскаго общества, которые въ послѣдніе годы принято называть «черною сотнею», вмѣстѣ съ нимъ, едва ли не умеръ и русскій смѣхъ. Лейкинъ былъ талантъ настоящій, талантъ бытовой, талантъ большой. Онъ началъ свою карьеру въ концѣ 50-хъ годовъ ХІХ вѣка, когда проснулся въ Россіи бытовой интересъ къ народностямъ, ее населяющимъ, когда родилось народничество, когда пошли въ походъ по Руси еубсидированные или поощряемые свыше къ путешествіямъ въ глубину Россіи, «калики переходіе», изображенные каррикатурой старинной «Искры»: Островскій, Писемскій, Максимовъ, Якушкинъ, Отто, Южаковъ, Слѣпцовъ, Левитовъ, и — младшій между ними и болѣе скромный талантъ—Николай Александровичъ Лейкинъ. Два произведенія этого послѣдняго, «меньшого брата» народнической литературы—«Апраксинцы» и «Христова невѣста» имѣли въ свое время огромное бытовое значеніе; а первое представляетъ собою даже, какъ бы, историческій матеріаль: между нимъ и современностью сталъ стѣною знаменитый пожаръ с.-петербургскаго Гостиного двора въ 1862 г. Это беллетристическій памятникъ стараго Петербурга, не имѣющій ничего общаго съ Петербургомъ новымъ. Но, принадлежа встарь практической дѣятельностью къ группѣ народническихъ бел-

летристовъ шестидесятыхъ годовъ, Н. А. Лейкинъ не былъ близокъ имъ ни по теоріи, ни по духу, ни по тенденціямъ и задачамъ работы. Поэтому его огромная наблюдательность очень скоро отказалась отъ труда надъ живою дѣйствительностью. А, вмѣстѣ съ тѣмъ, литературный талантъ, несомнѣнно большой, яркій и разнообразно воспріимчивый, по существу, къ впечатлѣніямъ жизни, мало-по-малу началъ терять глубину и красоту, отпущенныя ему отъ природы въ изобиліи несомнѣнномъ и широкомъ. По крайней мѣрѣ, двадцать пять лѣтъ—последнихъ лѣтъ жизни—Н. А. Лейкинъ прожилъ, занимая на литературной сценѣ конца XIX и начала XX вѣка амплуа перваго газетнаго увеселителя и любимаго комика петербургской публики,—притомъ, по преимуществу, изъ «полуинтеллигенціи», либо—опять-таки, какъ нынѣ принято говорить—изъ «черныхъ сотенъ». Смѣю думать, что эту карьеру онъ создалъ и властно удерживалъ за собою, если не совершенно, то, почти навѣрное, безъ соперниковъ. Его конкуренты были ничтожны, его подражатели не имѣли успѣха, или имѣли слабый отраженный успѣхъ лишь постольку, поскольку они къ Лейкину приближались. Единственный побѣдоносный соперникъ Н. А. Лейкину въ успѣхѣ на поприщѣ юмористическаго бытового фельетона былъ, за послѣднія 15 лѣтъ, В. М. Дорошевичъ, впоследствии, однако, ярко расширившій и свои сатирическія средства, и свои публицистическія задачи, и ушедшій далеко впередъ отъ основъ и кодекса маленькой прессы, откуда онъ началъ свое первое произрастаніе.

Мало-по-малу, Н. А. Лейкинъ покинулъ большую печать и отдалъ свое творчество мелкой юмористикѣ. Послѣдовательно работаетъ онъ на бытовыхъ сценкахъ въ «Петербургской Газетѣ», въ своихъ «Осколкахъ». Онъ зналъ купеческій и мѣщанскій, петербургскій обывательскій бытъ и воспроизводилъ его для печати въ совершенствѣ. Во всѣхъ его разказахъ, на-ряду съ большою и яркою

правдою, замѣчается, однако, не мало шаржа и карриатуры. Особенно рѣзко сказывалась эта особенность во внѣшнихъ техническихъ приѣмахъ. Н. А. Лейкина, начиная съ его страннаго слога, испещреннаго словечками, которыя такъ навсегда и останутся въ русскомъ литературномъ языкѣ съ характеристикю «лейкинскихъ». Совершенное пониманіе Н. А. Лейкинымъ излюбленной имъ среды, его способность перевоплощаться въ комическую сущность русскаго буржуа при среднихъ капиталахъ отразилась въ рядѣ юмористическихъ романовъ, которые печатались сперва въ «Петербургской Газетѣ», а потомъ многочисленными отдѣльными изданіями. Знаменитѣйшій изъ этихъ романовъ—«Наши за границую»—дорожный дневникъ путешествующихъ по Европѣ петербургскихъ купца и купчихи—имѣлъ успѣхъ, поистинѣ, колоссальный. «Наши за границую» выдержали рядъ изданій, продолженія, подражанія: словомъ, триумфъ ихъ былъ не менѣе, если не болѣе, пресловутаго аналогическаго «Семейства Бухгольцъ», которымъ торжествующій и любезный Бисмарку буржуазный германизмъ отпраздновалъ свою побѣду надъ Европою.

Послѣ «Нашихъ за границую» Н. А. Лейкинъ написалъ еще чуть ли не тысячу болѣе или менѣе смѣшныхъ сценокъ, но уже не возвышался до сколько-нибудь художественнаго и обобщающаго творчества. Онъ—родоначальникъ безчисленныхъ въ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годахъ минувшаго вѣка авторовъ-скалозубовъ, задававшихъ цѣлью смѣшить толпу, во что бы то ни стало,—хотя бы пошлымъ и нутрянымъ, бессознательнымъ смѣхомъ Иванушки дурачка, которому мичманъ Пѣтуховъ показалъ палець. Лейкинъ былъ талантливъ, но талантливъ безцѣльно; онъ фехтовалъ фразою и словомъ великолѣпно, но всѣ выпады его были безпредметны. Подобно Лѣскову, съ которымъ онъ имѣлъ кое-что общее въ міровоззрѣніи, Лейкинъ былъ виртуозъ по неологизмамъ и характернымъ

словечкамъ, вродѣ «рыбьяго слова», «мокраго слова» и т. п. Множество подобныхъ рѣченій конечно перейдутъ въ потомство и надолго останутся жить въ немъ, какъ архаическія статуи, воздвигнутыя во славу древней и умирающей, ревизуемой и реформируемой рѣчи.

Н. А. Лейкина безспорно надо отнести къ числу людей, пережившихъ свое время и оставшихся какъ бы старомодными призраками въ свѣтѣ жизни, которую показали Россіи XX вѣкъ. Начавъ карьеру дебютантомъ предъ лицомъ шестидесятной интеллигенціи, Лейкинъ потерялъ ее впоследствии, какъ публику. Но, повторяю, навстрѣчу ему пришла и любовно заключила его въ объятія, какъ своего, полуинтеллигенція, — терминъ, который когда-то изобрѣлъ я, не ожидая успѣха, который моя выдумка и кличка получать и въ литературѣ, и въ театрѣ, и въ жизни. Въ объятіяхъ полуинтеллигенціи, отставной народникъ и прожилъ, и кончилъ свой спокойный и сытый вѣкъ.

Н. А. Лейкинъ — не молодой человекъ, но смерть его окажется равно печальною вѣстью для многихъ поколѣній. Учителемъ онъ не былъ, но забавникомъ былъ, и преталантливымъ. Школы не создалъ, какъ и весьма схожій съ нимъ Н. О. Горбуновъ, но подражателей имѣлъ чрезвычайно способныхъ, — напр., Мясницкаго (Барышева) въ Москвѣ. Да и вообще легкій газетный жанръ «сценки», конечно, обязанъ возникновеніемъ и существованіемъ своимъ болѣе, чѣмъ кому-либо, именно Н. А. Лейкину.

Надо помянуть Н. А. Лейкина и какъ редактора «Осколковъ» — отзывчиваго и чуткаго человека, открывшаго литературную карьеру такимъ крупнымъ людямъ, какъ Антонъ Чеховъ, Баранцевичъ, Альбовъ и др. Надо помянуть Лейкина, какъ организатора (вмѣстѣ съ покойнымъ Мордовцевымъ) «обѣдовъ беллетристовъ» — очень долго остававшихся чуть ли не единственнымъ, хотя и весьма посредственнымъ, скучнымъ и неразборчивымъ органомъ литературнаго общенія въ Петербургѣ.

Городскую, по думѣ, и филантропическую дѣятельность Николая Александровича прохожу молчаніемъ, представляя оцѣнивать ихъ очень крупныя размѣры тому, кто ихъ лучше меня, слишкомъ часто и подолгу вольно и невольно отсутствующаго изъ Петербурга, знаетъ. Я же—литераторъ—почтительно снимаю шляпу предъ гробомъ стараго литератора, уносящаго съ собою въ могилу чуть ли не цѣлое поколѣніе русской словесности, въ которомъ Лейкинъ былъ своего рода «послѣдній могиқанъ»... Вѣчная память яркому бытовому юмористу, большому искусному стилисту и замѣчательному знатоку и виртуозу того великаго русскаго языка, который, вопреки тургеневскому завѣту, братья-писатели, въ послѣднее время, принялись такъ упорно и вырождать, и забывать!

1906.

---

# ПОЪЗДКА НА ВАЛААМЪ.

## І. Пароходъ „Александръ“.

— Дѣсь ристань темна; пароходъ пойдетъ, — будетъ вѣтло, — утѣшительно напутствуетъ финнка-горничная мой стремительный нырокъ — ибо нельзя же назвать подобнаго сальтемортале входомъ! — въ странное помѣщеніе, именуемое на валаамскомъ «Александрѣ» каютою І-го класса. Я, ощупью, валюсь на диванчикъ и не безъ смущенія ожидаю, что вотъ сейчасъ точно такъ же нырнетъ за мною носильщикъ и сброситъ въ эту тьму кромѣшную мой чемоданъ, а въ немъ будетъ пуда четыре съ походомъ. Обстоятельства нѣсколько напоминаютъ игру въ «кукушку», которую будто бы забавлялись нѣкогда пресловутые владивостокскіе «ланцепуны». Къ потолку, на длинной веревкѣ, прикрѣпляется пятифунтовая гиря. Одинъ изъ играющихъ раскачиваетъ гирю, другіе садятся по угламъ. Тушатъ огни. Кто нибудь громко кричитъ: «куку». Тогда раскачиватель толкаетъ гирю по направленію голоса, а самъ ложится на полъ. Гиря, надъ его головою, летаетъ по комнатѣ сажеными размахами, — кто ее схватитъ впотьмахъ и удержитъ, тотъ и выигралъ...

— Но вѣдь этакъ она и въ лобъ можетъ попасть! — возразилъ я штурману дальнаго плаванія, о томъ мнѣ впервые рассказавшему. Онъ, съ профессиональною гордостью, отвѣтилъ: — И попадала-сь!

— Ну, и, значить,—готовъ чловѣкъ? на мѣстѣ?

— Н-нѣтъ... пьяные, вѣдь, играли... а у пьянаго чловѣка мозги, знаете, какъ-то упруже... Однако, оно, конечно, того... ошарашиваетъ!

— А случалось, что ктонибудь ловилъ гирю?

— Помилуйте: многіе даже зубами-сь!..

Не знаю, удалось ли бы мнѣ—по правиламъ этого ланцепупскаго вранья—удержать мой чемоданъ, въ случаѣ, если бы онъ въ меня попалъ, но, къ счастью, носильщикъ дюйма на два промахнулся. Безпомощно водя руками, я чувствовалъ себя въ убліеткѣ старыхъ французскихъ тюремъ или въ венеціанскихъ *piombi*, описанныхъ Жакомъ Казановою и Сильвіо Пеллико. Рука всюду упирается въ стѣнку или въ потолокъ, а жара и духота ужасны до того, что я начинаю сомнѣваться: не посадила ли горничная меня, вмѣсто каюты, во внутренность парового котла?

Въ потемки доносятся звуки торжественнаго пѣнія—красивые, мощные, стройные. Такъ какъ дѣло весьма похоже на то, что я сижу въ аду, то предполагаю, что звуки несутся, черезъ стѣнку, по сосѣдству, изъ рая, и принимаюсь искать туда лазейки... Выбрался! На крытой палубѣ служатъ напутственный молебень. Народу—видимоневидимо; все—простецы, только ужъ ни въ какомъ случаѣ не сѣряки: день воскресный, и толпа нарядная, пестрая, женщины рябятъ во всѣ цвѣта радуги, особенно яркіе и рѣзкіе сегодня подъ безоблачнымъ небомъ и почти отвѣсными лучами палящаго солнца. Когда мы отваливаемъ, пристань, насъ провожающая, похожа на огородъ, усѣянный цвѣтущимъ макомъ. Машутъ платками, картузами...

— Домна-а-а Пантелѣевна-а, безъ меня, слышь, не пе-е-е-ей!—гремитъ съ носовой палубы чье-то супружеское завѣщаніе. И съ пристани—визгливый отвѣтъ:

— Самъ не пей, а я не напью-у-у-у-сь!..

Хожу, вѣрнѣе сказать, толкаюсь по пароходу: публики ѣдетъ столько, что стоять и сидятъ чуть не плечомъ къ плечу. Почти всѣ—прямо на Валаамъ.

— Всегда такъ много пассажировъ ѣздить?—спрашиваю уже бывалаго богомольца.

— Въ лѣтнее время, особенно коли погода хорошая, да праздники совпадутъ—большое стеченіе бываетъ. Валаамъ безъ пятисотъ, шестисотъ гостей не живетъ. А на Петра и Павла такъ и по нѣскольку тысячъ собирается.

— Слѣдовательно, это финляндское общество Валаамскаго пароходства зарабатываетъ хорошія деньги?

— А какъ же? Вы примите во вниманіе: третъекласснаго пассажира—орда! А онъ—по два цѣлковыхъ голова-сь. Второй классъ тоже всегда достаточень, купечество ѣздитъ, духовенство. Ну, и первый, съ господами, даетъ свою покрывку... Вы каюту изволили взять?

— М-м-м... да, каюту,—подтверждаю я, съ содроганіемъ припоминая свой «паровой котель».

— Стало быть, рейсъ-то влетѣлъ вамъ въ пять съ четвертакомъ... Нѣтъ, жаловаться нечего: большой процентъ имѣють.

— Въ такомъ случаѣ, не грѣхъ бы имъ обзавестись пароходомъ получше. Вѣдь этотъ «Александръ»—даже не самоваръ, а самоварная канфорка какая-то... Тѣсно, грязно.

Плывемъ... Боже мой! какъ невозможно длиненъ Петербургъ, какъ утомительны его фабричныя трубы, вытянутыя, точно горла, подавившіяся кускомъ, его дровяныя и кирпичныя барки! А красоты все-таки много—конечно, для охотника искать ее—и въ этой «испакощенной» природѣ. Хороша Нева, вся сверкающая солнечными блестками по глубокой синевѣ, хороша краснорубашечная группа рабочихъ, ворочающихъ что-то на доскахъ, подъ припѣвъ «дубинушки», хороши голые ребятишки—сотни ихъ, желтыхъ подъ солнцемъ, точно вохрой вымазанныхъ—съ крикомъ и гикомъ, прыгаютъ съ барокъ въ могучую,

Неву... Купанье съ барки! Это ли не сласть? Какая трапеція, какой трамплинъ замѣнить наслажденіе кувыркнуться въ воду съ выгнутого барочнаго пуза, карабкаться на руль, ежеминутно предупреждать товарищей и быть предупреждаемымъ:

— Ты, чортъ, не ныряй, а то подь барку утянетъ.

И, при всемъ томъ — нырять, нырять, нырять... Есть въ этомъ какой-то «безсмертѣя залогъ» — на дѣтскій масштабъ, конечно. Было что-то, не то, чтобы преступное, но какъ будто грѣховное и непозволительное, не то, что запретное, но все же не болѣе, чѣмъ лишь съ грѣхомъ пополамъ терпимое... По крайней мѣрѣ, бывало, мы, — хотя купаться намъ никто не запрещалъ, — бѣгали на барки тайкомъ отъ старшихъ, крадучись, точно воры, и много было восторга именно въ этой таинственности... О, дѣтство! ау! гдѣ ты?

Vorbei sind Kinderspiele  
Und alles rollt vorbei...

На пароходѣ не весело. Съ кормы я ушелъ, ибо на «интеллигенцію» и въ Питерѣ любоваться возможно, даже въ преизбыткѣ, — такъ если лицезрѣть ее еще на валаамскомъ пароходѣ, то будетъ — по польскому выраженію — «южь занадто». Впрочемъ, и интеллигенціи-то, въ буквальномъ смыслѣ слова, полтора человекъ: юный и хорошенькій студентъ-горнякъ съ еще болѣе юною барышнею, — влюбленные до остолбенѣнія. Молчать, держатся за руки, смотрятъ другъ другу въ глаза и улыбаются глупо, но мило... Нирвана любви, мало занимательная для постороннихъ, но которой самъ не промѣняешь «ни на какіе милліоны», какъ говорятъ институтки. О, юность! ау! гдѣ ты?

На демократическомъ «носу» — народъ. Странныя лица. То — красивыя, строгія, сухія, полныя какой-то особой выдержки, спокойной энергіи, то — безпутныя, опухлыя рожи, съ отпечаткомъ порока, съ блудливымъ взглядомъ исподлобья, глаза — и наглые, и сконфуженные... слов

избранные агнцы и отверженные козлища. Середины нѣтъ. Прислушиваясь къ разговорамъ, понимаю, въ чемъ разгадка. Предо мною—везущіе и везомые. Образцы русскаго характера и русской запойной безхарактерности. Это—пьяницъ, запутавшихся въ Петербургѣ безъ надежды на вытрезвленіе, везуть подь монастырскій началъ, на Валаамъ, гдѣ ни водки, ни вина, ни пива, ни курева не достать ни за сто рублей.

— Везуть,—и я довольно даже благодаренъ! — рассуждаетъ одинъ изъ злополучныхъ, размахивая руками. — Что, въ самомъ дѣлѣ, за мода? Ну, выпей стаканъ, другой, тихо, благородно... а вѣдь я, милый мой господинъ мастеръ, закурилъ на шесть недѣль!

— Быль буюмши? — хриплымъ басомъ возражаетъ господинъ мастеръ—мужчина лѣтъ за сорокъ, съ мрачными бровями и еще мрачнѣйшимъ красносизымъ носомъ, висящимъ на усы.

— Стрась! По участкамъ—ровно-бы шаръ по билліарду — катался...

— А я тихой. Я, братъ, какъ пью, запрюсь въ камерѣ одиночкой, сижу, да молчу. Только отъ мысли—большое огорченіе. Потому — не-христіанское въ голову лѣзеть.

— Скажите!

— Фатеру поджечь—вотъ, али самому зарѣзаться...

— Это *онъ* васъ смущаетъ.

— Извѣстно, *онъ*: кому-жъ другому, какъ не ему, подлецу?! Ну, да теперь, только бы до Валаама добраться, а тамъ—ему, повадки не дадутъ.

— Тамъ строго! это вы правильно! И отъ угодниковъ благоволеніе, и отъ монашества суровость,

— Что? водки? входитъ въ азартъ господинъ мастеръ,—какъ же! такъ для тебя и припасено! А не хочешь ли поговѣть? безъ масла вкушая, напрімѣръ?

— Опять же и трудъ—великая помощь,—вставляетъ

кто-то. — Тамъ отцы-монахи нашему брату шалберничать не даютъ. Говѣнье — говѣняемъ, а ты и поработай. Водятъ тебя по скитамъ, молитвою угобжаютъ, кормятъ въ трапезной за братскимъ столомъ, а, промежь дѣла, — ну-ка, милый человѣкъ! вздѣнь подрясничекъ на плечи, да вотъ тебѣ коса, либо грабли въ руки... ступай въ монастырскіе луга, поусердствуй обители...

— Главное, чтобы человѣкъ не скучалъ, праздности не имѣлъ, въ мысли свои уйти не могъ. Потому — какъ дѣла нѣтъ, такъ мысли, а какъ мысли, тутъ и бѣсъ запойный.

— Алкоголь это называется! — авторитетно поясняетъ пиджачникъ, съ блѣднозеленымъ лицомъ.

— Да какъ ни называй, — все бѣсъ... Нешто упомнишь ихъ, бѣсовъ-то, по именамъ? Всѣ — отъ лукаваго! Одного помету!..

Жутко слушать этотъ самосознающій, самоосуждающій, гласный и откровенный, но безсильный справиться съ собою порокъ. Здѣсь. — не стѣсняются другъ друга, всѣ маски сняты, у всѣхъ одна бѣда, одинаковый интересъ. Каждый, наоборотъ, спѣшитъ высказаться — въ надеждѣ, что ктонибудь изъ его товарищей по несчастью, боромыхъ тѣмъ же «бѣсомъ», пойметъ его, раздѣлитъ горе, а можетъ быть, и дать хорошій совѣтъ, какъ съ «бѣсомъ» управляться, — «средствіе», основанное на горькомъ опытѣ.

У трубы везомый чуть не ноги кланяется везущему:

— Петръ Николаевичъ! разрѣши единую... ну, одну только единственную... выпью, — и до Шлюзенбурха приставать не буду.

— Голубъ мой, не проси, — не могу; нельзя тебѣ, голубъ; вредъ тебѣ отъ того, — ласково и кротко отвѣчаетъ рыжій мужичиница, изъ артельщиковъ, опрятный и солидный.

— Вѣдь купилъ же ты, какъ мы на пароходъ шли, сороковку? вѣдь купилъ?

— Ну, купилъ.

— Для кого купилъ?—сказывай!

— Знамое дѣло, для твоего продовольствія. Мы не потребляемъ.

— Чего жъ ты въ карманѣ-то ее томишь? Видишь,— у меня душа мреть...

— Какъ пароходъ отходилъ, ты единую выпилъ?

— Ну, выпилъ.

— Теперича, стало быть, до Шлюшина терпи. Вредительно, голубь.

Богатырь говоритъ ласково, но ласковость эта—желѣзная. Пациентъ его, съ тоскою, бредеть на носовую палубу. Богатырь издали слѣдитъ за нимъ глазами.

— Хорошъ у тебя, товарищъ-то!—говорятъ запойному. Онъ согласно киваетъ головою, разводитъ руками, лицо у него—восхищенно-изумленное...

— И не говори! Такой человѣкъ, такой человѣкъ... весь Питеръ исходи, не найти другого. Помилуйте! Мѣсто пропимши, задумалъ я теперича на Валаамъ. Долженъ я себѣ предѣлъ положить или пѣтъ? Объясните обязательно!

— Что и говорить! кому предѣла не надо?

— Теперича Валаамъ—мѣсто свято, говѣтъ тамъ буду. Выходить мнѣ, стало быть, православная необходимость— у всѣхъ друзей-товарищей, кого когда обидѣлъ, яже вѣдѣниемъ и невѣдѣниемъ, христіанскаго прощенія попросить. И думалъ я, братцы, всѣхъ своихъ друзей-сродственникововъ и свойственникововъ въ одинъ день обойти, а на завтра, съ пароходомъ «Петръ», на Валаамъ прослѣдовать. Но—что бы вы полагали? Къ кому ни приду,—сейчасъ монопольное напутствіе, потому народъ мастеровой. И пили мы, братцы, семь дней и семь ночей, и все я на каждое завтра на Валаамъ ѣхалъ. Тутъ вотъ Петръ Николаевичъ себя въ благородствѣ и оказалъ. Пришелъ, меня жалѣючи, взялъ за руку: пойдѣмъ, говорить, Семень Ивановичъ!—Куда?—На Валаамъ!—Невозможно, потому съ

кумой не простѣмшись!—Нѣтъ ужъ, пусть кума тебя заглазно простить, а теперича пойдемъ, а не то, съ прощаньями твоими, ты синенькимъ огонькомъ загорѣться можешь!.. И самъ, между прочимъ, все меня за руку тянетъ, а лапища у него, сами обозрѣть потрудитесь, · клещи кузнечныя... Я что же? Я пошель!.. Пожалуйте на пароходъ! — На «Петра»? — На «Александра». — Желаю, чтобы на «Петрѣ»!—Ладно! Держи билетъ!

— Ахъ, какъ прекрасно! вотъ какъ прекрасно, что вы такъ заботитесь о товарищѣ,—вздыхаютъ двѣ мѣщанки-богомолки, умиленно глядя на богатыря. Тотъ, потупивъ глаза, ковыряетъ палубу носкомъ сапога и, сплунувъ на бокъ въ Неву, заявляетъ кратко:

— Наше дѣло артельное.

— Но только, какъ скоро ты въ карманѣ сороковку держишь, а товарищу рюмку дать жалѣешь, — мѣняетъ вдругъ запойный свой диэирамбическій тонъ,—то, Петръ Николаевичъ, выходишь ты ужъ не пріятель мнѣ, но подлець... Дай, а то умру.

Молчаніе, — точно Петръ Николаевичъ, на другой планетѣ.

— Это вы напрасно такъ, — поддерживаютъ запойнаго другіе собратья по искусству, — отъ внезапнаго воздержанія даже вредъ можетъ произойти. Бросать надо по малости, обрывать сохрани Богъ...

— Дано ему по положенію,—будетъ!

— Вотъ и извольте говорить съ этакимъ статуемъ. Ему говорятъ:—вредъ,—а онъ: будетъ!.. Дай, а то сейчасъ помирать лягу...

— Въ Шлюшинѣ.

— Аль въ тебѣ Бога нѣтъ?

— Въ Шлюшинѣ.

Изъ толпы раздается коварный совѣтъ:

— Но почему же вы въ буфетъ не отправитесь?

Тамъ вы всегда можете получить свое удовольствіе и воздержатъ васъ никто не властенъ...

Запойный свирѣпѣть.

— Не учи, окажи любезность! не глупѣ тебя! Буфетъ! А если онъ, идолъ, у меня всѣ деньги отобралъ? Девять копеекъ было—на свѣчку угодникамъ—и тѣ въ карманъ къ себѣ спряталъ...

— На свѣчку и пойдутъ,—хладнокровно отзывается богатырь.

— Петръ Николаевич! человѣкъ ты или звѣрь?

— Въ Шлюшинѣ.

Возвращаясь на корму, прохожу мимо богатыря. Глаза наши встрѣчаются, и онъ почему-то, съ внезапною откровенностью, извинительно говоритъ въ мою сторону:

— Мѣдники они. Хорошій человѣкъ и мастеръ прекрасный... Жалко-съ.

Спускаюсь въ каюту. Финка не солгала: теперь въ ней болѣе или менѣе «вѣтло». Адски хочется ѣсть. Звоню. Является другая финка. Объясняюсь, — вотще: по-русски—ни ползвучка; пробую по-нѣмецки, — ни четверти звука. Только ласково улыбается, показывая ротъ съ двумя вырванными передними зубами, и повторяетъ, кивая головою:

— Ю! ю! ю!

— Карточку дайте, волкъ васъ заѣшь!

— Ю! ю! ю!

— О, Господи! даруй мнѣ терпѣніе!

— Ю! ю! ю!

Къ счастью,—явленіе № 2: входитъ первая финка. Эта, оказывается, тоже по-русски не говоритъ и мало понимаетъ, а только притворяется знающей по-русски, умѣя сносно произносить нѣсколько ходячихъ фразъ; но,—по крайней мѣрѣ, — хоть кухонныя-то и пароходныя слова зазубрила отчасти. — Опять-таки — верхъ заботливости

пароходнаго общества о публикѣ, которая его кормить своими паломничествами: населить пароходъ прислугою, «подобной надписи надгробной на непонятномъ языкѣ»! Съ тѣхъ поръ, какъ издается въ свѣтъ словарь Эфрона и Брокгауза, въ Россіи появилось много образованныхъ, съ разсрочкою, людей,—одинъ всеобъемлюще образованъ до буквы «к», другой до буквы «р», глядя по тому, до какого полутама успѣли они получить словарь. Моя — сперва погубительница, а потомъ спасительница — финка въ русской рѣчи своей напоминала этихъ господъ. Она была прекрасна образована до слова «пиво» (включительно), но «сельтерская вода» уже ставила ее въ горестный тупикъ, вмѣсто «содовой» она приносила мадеру, а на требованіе «клюквеннаго морса» сердито отмахивалась руками, какъ бы желая сказать:

— Если вамъ угодно издѣваться надъ бѣдной финской дѣвушкой, то помните, что у нея есть «пукки» на поясѣ и свой собственный женихъ Гансъ Пайканень въ Вильманстрандѣ!..

Кормятъ пассажировъ эти удивительныя дѣвы не то чтобы скверно, ибо провизія свѣжая, но... глупо какъ-то. Есть старый анекдотъ о матросѣ, который убилъ грубостью своихъ гастрономическихъ вкусовъ лакомку - грека. Матросъ поймалъ какую-то изумительной прелести рыбу и несетъ ее черезъ одесскій рынокъ. Грекъ увидалъ кухонное диво, привязался къ матросу съ разговоромъ, и пошло между ними словопреніе.

*Грекъ.* Матросъ, а матросъ? Зачѣмъ у тебя эта рыба?

*Матросъ.* Какъ, зачѣмъ? Ъсть!

*Грекъ* (съ глубочайшимъ презрѣніемъ). Ты будешь ее ѣсть?!

*Матросъ* (съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ). Я буду ее ѣсть.

*Грекъ.* Тогда скажи, какъ ты ее приготовишь?

*Матросъ.* А какъ тамъ еще ее готовить? Положу въ котелокъ, сварю да съѣмъ.

Такого гастрономическаго кощунства чувствительный грекъ перенести не могъ: онъ бросилъ на матроса взоръ негодованія, прошепталъ: «извергъ естества!» упалъ и умеръ.

Надъ этимъ анекдотическимъ грекомъ принято смѣяться, но я—хотя и не очень лакомка—понялъ его на «Александрѣ», гдѣ, подъ псевдонимомъ ухи, подаются огромнѣйшіе куски великолѣпнѣйшей рыбы, которую, однако, невозможно ѣсть, ибо сварена она первобытнѣйшимъ образомъ, по способу перваго повара Адама, въ весьма подозрительномъ котелкѣ—судя по мутной жижѣ, замѣняющей наваръ и далеко не благовоной. Словомъ, ничего отъ неразумныхъ дѣвъ не добьешься а чего добьешься, то скверно. И лишь спиртные напитки подаются не только въ исправности, но даже какъ бы съ экстазомъ.

Движущаяся на аскетическій Валаамъ толпа переживаетъ на «Александрѣ» нѣчто вродѣ хмельнаго заговѣнья. Поэтому, когда мы минули Шлиссельбургъ и вступили въ блестящее ровною бѣлизною Ладожское озеро—пароходъ былъ пьянъ вдребезги.

— Володя! — слышу умиленный, но заплетающійся лепетъ, — спо-о-о-омъ концертъ... составимъ хорчикъ... «Кая житейская сладость», напримѣръ? <sup>1)</sup>).

Но незримый Володя отвѣчаетъ на предложеніе столь неопредѣленнымъ звукомъ, что каждому непредубѣжденному слушателю становится совершенно ясно: «Кая» выйдетъ у него, весьма икая.

Еще садясь на пароходъ, замѣтилъ я среди паломниковъ священника—красоты замѣчательной: совсѣмъ золотоволосый Бальдеръ. Сейчасъ—Бальдера хоть выжми, и куда дѣвался его величавый видъ, его степенная осанка?! Какой-то краснорожій Бахусъ или Фальстафъ въ подпитіи. Пере-

---

<sup>1)</sup> Замѣчательная вещь! Я зналъ множество русскихъ запоиныхъ пьяницъ, которые, въ болѣзни своей, жить не могли безъ этой „Житейской сладости“... Это словно бы гимнъ русскаго алкоголическаго гамлетизма! Всего любопытнѣе—случай, разсказанный въ моихъ „Сибирскихъ этюдахъ“: „Разливанное море“.

знакомился со всѣми на пароходѣ—и уже принять, какъ свой, группю богомолокъ изъ плохонькаго купечества: что называется, въ дамы не вышли, а изъ бабъ ушли. Богомолки флиртуютъ и скалятъ довольно гнуснаго вида зубы; батюшка, попавъ въ рѣдкую роль кавалера, тщится сыграть ее съ достоинствомъ: сидитъ «по-гусарски» — отставивъ лѣвую ногу, уперъ руку въ бедро и напряженно острить—точно будто плотину замащиваетъ... Разговоръ—судя по горячности однѣхъ и томности другихъ дамъ—идетъ «о чувствахъ». Гвалтъ—точно на ярмаркѣ; ничего нельзя разобрать въ женскомъ визгѣ, кромѣ батюшкина хохота, да грохочущихъ окриковъ:

— Диспутуете безъ требуемой основательности! Прошу доказать ваше мнѣнiе отъ логики.

— Я не равна съ вами въ учености, но только я говорю отъ сердца.

— Сердце есть показатель субъективный, то есть самоличный, а я молю: докажите отъ логики!

— Что вы, батюшка, заладили? — вертляво вмѣшивается замѣчательно изношенное существо какъ бы еще женскаго пола, замѣтно состоящее въ этой компаніи на ампуа *ingénue comique*, — логика, да логика! Мы, женщины, этихъ вашихъ словъ понять не можемъ...

— Вотъ я съ васъ вашу противную шляпу сорву, да въ воду брошу, — кокетничаетъ другая *ingénue*, — это будетъ логика?

Батюшка дико смотреть на дуру и «медлительно отвѣтствуетъ»:

— Нѣтъ, это логика не будетъ... Логика—другое... А вотъ пива выпить слѣдуетъ!

Двое совершенно трезвыхъ и приличныхъ мастеровыхъ толкуютъ о «мѣстахъ». Нѣту «мѣстовъ»: затишье.

— Выходить, переждать надо до осени, — тогда мѣстамъ открытіе будетъ.

— По монастырямъ переждать расчитываете?

— Дѣло обычное. Вы разсудите: теперича я до Валаама два цѣлковыхъ заплатилъ, а жить буду тамъ три недѣли...

— На монастырскомъ, значить, иждивеніи?

— Да вѣдь они рады: не дармоѣдомъ къ нимъ приду; кое—на сѣнокость, кое—дрова рубить, кое—по своему ремеслу подмогу, — хлѣба-то, слѣдовательно, и окупятся... Послѣ того—назадъ въ Петербургъ: опять два цѣлковыхъ, — анъ, весь іюль у меня въ четырехъ цѣлковыхъ и вышелъ. Сами судите: возможно ли тѣмъ себя продовать въ столицѣ?

— Гдѣ ужъ! Это вы съ резономъ!

— А вы просто такъ,—поговѣть ѣдете?

— И поговѣть, а признаться вамъ сказать, главное—для здоровья посовѣтовали. Грудью страдаю: во вздохѣ заложеніе. А, сказываютъ, климатъ тамъ объ эту пору цѣлительный...

— Лучше не бываетъ! Истинно — благораствореніе воздуховъ. Вотъ только при вашей болѣзни—какъ съ работою? справитесь ли, ежели потребуется?

— Работа — что! Не господа! Болѣзнь работѣ не помѣха... Мнѣ первое — чтобы передохнуть на чистомъ воздухѣ,—ну, чтобы и пища была достаточная.

— Господа на дачи ѣздятъ, либо на воды, а мы — по монастырямъ. Оно, пожалуй, и получше дачи-то выходить.

— Помилуйте! какое же сравненіе? Подобной дачи подъ Питеромъ, либо даже по Финляндской дорогѣ, не укупить и за тысячу рублей... А тутъ—за четыре цѣлковыхъ—все удовольствіе... А, что до работы... руки свои, не покупныя;—руки не въ счетъ.

Ладога—полная, могучая, безъ одной отмели: уровень воды на два аршина выше обычнаго — каждую минуту мѣняетъ свои вѣжные цвѣта, отливъ за отливомъ. Лѣнвивыя, легкія волны, разбѣгаясь отъ парохода, дробятся въ мелкую чешуйчатую рябь, — словно на

темносиней стали трепещуть капельки пролитаго масла. Время къ закату, а жара не спадаетъ.

— Вотъ это плаванье! — восторгаются бывалые люди, — ни качки, ни тумана. Другой разъ ѣдешь на Валаамъ, — «море» всю душу изъ тебя вымотаетъ, да и плывешь-то — ровно въ молокъ. въ двухъ аршинахъ ничего не видать. А этакой благодати, что сегодня Богъ послалъ, и старики не запомнятъ...

Солнце утонуло за горизонтомъ краснымъ шаромъ, не надолго окровавивъ невысокія облака; тьма упала быстро и еще быстрѣе разсѣялась, перейдя въ бѣлую ночь... Подъ бѣлымъ небомъ, по бѣлому, какъ скатерть, озеру-морю тихою мухою ползетъ нашъ сонный пароходикъ къ Коневцу... Сонъ, тишина... Святое благоговѣніе просится въ душу...

— И говоритъ мнѣ господинъ помощникъ участковаго пристава, — доносится мѣрный и печальный голосъ отъ трубы, — бесполезный ты человекъ! доколѣ мы отъ тебя, подлеца, страдать будемъ? Вѣдь, городовые подметки оттоптали, тебя, изверга, въ участокъ водемши...

## II. Коневецъ.

Полночь.

Зеленый лѣсъ спитъ—не шелохнется въ мистическомъ сіяніи бѣлой ночи, прозрачной и безтуманной. Бойкій монастырскій конекъ мчитъ меня, въ тарахтящей пролеткѣ, подъ сонными вѣтвями. Онѣ брызжутъ свѣжею рососою; бодрящимъ вѣтеркомъ тянетъ въ лицо.

Возница—монастырскій кучеръ, старый старикъ, съ жидковолосымъ, точно вылинялымъ затылкомъ, и съ курьезною шишкою за ухомъ. Словоохотливъ до болтливости и рассказываетъ о коневскихъ достопримѣчательностяхъ столько, что—одно изъ двухъ: либо онъ вретъ, либо ошибается книжка о Коневскомъ монастырѣ, купленная мною у вратъ обители. Но — такъ какъ книжку эту составлялъ знаменитый архимандритъ Пименъ, человѣкъ строгой мысли и большого литературнаго таланта,—то, естественно, приходится вѣрить письменному его свидѣтельству, а не устному преданію.

Пароходъ пришелъ къ Коневцу въ половинѣ двѣнадцатаго, съ опозданіемъ часа на три. Судя по отзывамъ людей бывалыхъ, — если сложить часы опозданія «Александра» за всѣ рейсы, имъ совершенные, то выйдетъ, что онъ плаваетъ еще въ прошломъ столѣтіи, при императорѣ Павлѣ Петровичѣ, и, только по недоразумѣнію, не видишь въ толпѣ пассажировъ париковъ и гатчинскихъ косъ. Въ монастырской гостиницѣ, куда я отправился—было спать, бѣжавъ отъ духоты въ каютѣ, оказалась духота вящшая. Спрашиваю о гостинника, когда бываетъ заутреня и, слѣдовательно, можно будетъ осмотрѣть монастырскій соборъ. Скоро: въ три часа. Стало быть, — не до сна.

— Ужъ лучше я пойду осматривать островъ!

— Помилуйте!— любезно говорят монахи, — зачѣмъ же вамъ ходить—ноги трудить? Мы вамъ дадимъ лошадь, и вы въ какіе нибудь полтора часа побываете во всѣхъ интересныхъ мѣстахъ Коневца.

Интересныхъ мѣстъ этихъ, собственно говоря, не слишкомъ много: знаменитый Конь-камень, Святая Гора съ Казанскимъ скитомъ и Святымъ колодцемъ, скитъ Коневской Божіей Матери, — вотъ и все. Есть еще какіе-то Родушки или Радушки — мысокъ, какъ говорятъ, съ прелестнымъ видомъ на озеро, но туда оказалось невозможнымъ пробраться, вслѣдствіе высокой воды. Уровень Ладожскаго озера этимъ лѣтомъ на два аршина выше обычнаго. Высокая вода стоитъ съ мая и, повидимому, не имѣетъ ни малѣйшаго намѣренія убывать. Парходамъ отъ этого—большое удовольствіе, такъ какъ объ отмеляхъ и помину не стало: фэрватеръ всюду. Но на островахъ половдѣ надѣлало много сюрпризовъ: здѣсь лугъ обратило въ болото, тамъ уничтожило береговую дорогу и отрѣзало сообщеніе между двумя частями острова, такъ какъ новой дороги проложить негдѣ: старая шла подъ скалою и, когда ее замыло, отступить дальше стало некуда. Родушки я посмотрѣлъ уже на обратномъ пути съ Валаама. Хорошенькое мѣстечко, куда пришлось пробираться по-морю, яко по-суху: вода—по брюхо лошади. Рыбачьи хижины между ракитами. Рыбаки, одичавъ въ одиночествѣ, обрадовались свѣжему человѣку, точно я съ неба свалился, одарили меня двумя сигаами и ни за что не хотѣли взять за нихъ денегъ. Предлагали еще маленькую щучку, рекомендуя ее, какъ превосходное симпатическое средство противъ желтухи.

— Ты на щучку гляди, пока она не заснетъ. А какъ щучка заснетъ, станетъ она вся желтая,—это, стало быть, желтуха твоя къ ней перешла.

— Все это, братцы, хорошо, да, желтухи-то у меня нѣтъ...

— Ну, пріятеля али сродственника угостишь!..

На Святой Горѣ, кромѣ великолѣпнаго лѣса да удивительнаго бальзамическаго воздуха, нѣтъ ничего особенно привлекательнаго. Обыкновенный російскій видикъ, который кажется красивѣе другихъ, ему подобныхъ, только потому, что, во-первыхъ, приготовился смотрѣть его, какъ достопримѣчательность, а во-вторыхъ — если ночью всѣ кошки сѣры, то на утренней зарѣ всѣ виды прелестны. Предъ окнами моей петербургской квартиры высятся развалины перестраиваемаго дома, а за ними обнажился огромнѣйшій брандмауэръ. Трудно представить себѣ что либо безобразнѣе этой кирпичной уродины; днемъ она — красная, какъ будто со стыда за себя, — можно сказать, вызываетъ къ человѣчеству:

— Да застройте же меня поскорѣе во имя эстетики!

Но — возвращаясь изъ типографіи или съ ужина разсвѣтною порою — я часто наблюдалъ, что очертанія и этой ненавистной дылды способны облагородиться, и на ней, какъ на гигантскомъ экранѣ, красиво мѣняются тона, посылаемые изъ-за дальнихъ крышъ еще незримымъ солнцемъ. Такъ диво ли, что, не бывъ на лонѣ природы цѣлый годъ, отвыкнувъ отъ нея для «комнатной температуры», я былъ искренно счастливъ дышать полною грудью, смотрѣть во всѣ глаза и слушать обоими ушами на вершинѣ лѣсистаго холмика, носящаго на Коневцѣ громкое названіе Святой Горы? Сейчасъ — послѣ скитанія по величественнымъ скаламъ, дѣвственнымъ чащамъ и могучимъ водамъ Валаама — и весь-то Коневецъ вспоминается мнѣ, какъ милая и симпатичная игрушка, которою любовался съ удовольствіемъ, но о которой нисколько не жалѣешь потомъ, когда ея ласковое впечатлѣніе блѣднѣетъ и тонетъ въ массѣ новыхъ и истинно-грандіозныхъ.

Святая Гора — родоначальница всей Коневской обители. Здѣсь въ девяностыхъ годахъ XIV вѣка аонскій монахъ, уроженецъ «господина Великаго Новгорода», Арсеній, нынѣ чтимый православною церковью за святого

и преподобнаго, поставилъ первый на островѣ крестъ и при немъ создалъ отшельническую келью. На Коневецѣ Арсеній прибылъ случайно—послѣ долгихъ поисковъ удобнаго мѣста для новой обители по Волхову, Ладожскому озеру и Городецкой рѣкѣ, нынѣшней Воксѣ. То было великое время монастырской православной колонизаціи сѣвера, которой сознательно или полусознательно посвящали себя лучшіе умы, избранныя натуры старой Руси. Валаамъ, откуда Арсеній попалъ на Коневецъ, былъ такимъ же центральнымъ узломъ этой колонизаціи для сѣвера, какъ Троицкая лавра—для средней полосы Россіи, Киевопечерская—для Малороссіи и Черноморскаго побережья. Въ теченіе менѣе ста лѣтъ Валаамъ высылаетъ на сѣверные пустыри цѣлую дружину культурноносцевъ, людей замѣчательныхъ по послѣдствіямъ ихъ дѣятельности для русскаго дѣла въ инородческихъ дебряхъ. Съ Валаама—Савватій и Германъ Соловецкіе, Александръ Свирскій, Евфросинъ Синеозерскій, Аванасій Сяндемскій, Адріанъ Ондрусовскій, Арсеній Коневскій: все—люди XV вѣка, когда—

Русь собирали и скрѣпляли  
И ковали броню ей  
Всѣхъ чиновъ и званій люди...

Это было благородное соревнованіе миссіонерства не кочевого, но осѣдлаго, прочнаго, объявлявшаго на вѣки своими мѣста, гдѣ водружало оно крестъ; миссіонерства—не только религіознаго, но и политическаго, потому что Германъ и Савватій, Александры и Арсеніи несли съ собою въ сѣверный просторъ не одно христіанство, именемъ котораго освящали они свой подвигъ,—они несли съ собою Русь. Напрасно объяснять ихъ соперничество въ созиданіи все новыхъ и новыхъ монастырей исключительно жаждою уединенія, отшельническимъ духомъ, не терпящимъ общежитія. Если бы дѣйствовала эта причина, какъ главная, то, для удовлетворенія отшельнической потребности, и

Савватию съ Германомъ, и Александру Свирскому, и всѣмъ другимъ вполнѣ хватило бы и по сіе время одного Валаамскаго архипелага. Большинство острововъ послѣдняго до сихъ поръ пустоеть отъ всякаго жилья, да и на самомъ Валаамѣ можно выстроить еще добрую дюжину пріютовъ пустынножительства—безъ опасенія, что отшельникамъ одного придется часто встрѣчаться съ отшельниками другого. Между валаамскими старцами есть не мало такихъ, что никогда не покидали своего острова, не бывали—черезъ заливъ, въ часѣ разстоянія—въ скиту Предтечи, на Никоновыхъ островахъ и т. д. Пустыни для отшельничества человѣку искать врядъ ли надо; когда онъ возжаждетъ отшельничества, пустыня сама вокругъ него образуется, и незачѣмъ удаляться за тридевять земель въ тридесятое царство: пріютомъ можетъ явиться ближайшая скала, холмъ, роца, чему мы и имѣемъ примѣры, напр., въ Оптиной Пустыни, едва ли не наиболѣе чтимомъ теперь монастырѣ средней Россіи. Да русскій аскетизмъ совсѣмъ и не проповѣдываль бѣгства отъ людей и презрительной вражды къ нимъ, которою дышатъ легенды Ѳиваиды. Взявъ оттуда суровыя формы, онъ наполнилъ ихъ любвеобиліемъ и участливостью. Русскій отшельникъ—существо, безконечно строгое, безпощадно взыскательно къ себѣ, но глубоко отзывчивое къ горямъ, нуждамъ и потребностямъ ближняго. Между какимъ-нибудь Павломъ Ѳивейскимъ и, хотя бы, св. Сергіемъ Радонежскимъ, аскетомъ восточнымъ и аскетомъ русскимъ, — одинаково суровыми къ своей собственной личности, — непроеходимая пропасть въ остальномъ, внѣшнемъ міровоззрѣніи, — и безконечный перевѣсъ человѣчности, душевности, готовности понимать и прощать, разумѣется, на сторонѣ аскета русскаго. Вотъ почему жажду подвижничества въ пустынѣ можно считать въ числѣ вторыхъ причинъ монастырскаго разселенія на Руси, но отнюдь не первую и исключительную. Главнымъ побужденіемъ монастырскихъ

строителей было, конечно,—двинуть православную Москву, православный Новгородъ, православный Нижній и т. д., въ угодыя темнаго языческаго инородчества.

— Вы *русской* вѣры? — спросилъ меня вчера сѣдой іеромонахъ.

И, если мы хорошенько подумаемъ надъ исторіей и бытомъ нашего народа, то, конечно, убѣдимся въ глубокой осмысленности и правдѣ этого названія. Наше старое православіе—именно *русская* вѣра, общая съ православіемъ византійскимъ лишь строго сохраненными формами, но незамѣтно и даже, можетъ быть, безсознательно исправившая его славянскимъ здравымъ смысломъ и мягкимъ прекраснородушіемъ. И не надменный и нетерпимый византизмъ Никоновъ, Филаретовъ и Побѣдоносцевыхъ несли паствѣ своей Стефаны Пермскіе, Савватіи и Германы Соловецкіе, Александры Свирскіе, но именно это умягченное и внимательное къ грѣху міра русское православіе, что настолько пришлось по плечу народу нашему, настолько сроднилось съ плотью и кровью его, что и само, въ общезжитіи, переименовалось въ русскую вѣру.

Послѣ неудачныхъ поисковъ по Ладожскому побережью, Арсенія бурей принесло къ Коневцу гдѣ онъ былъ уже раньше, но который сперва ему не понравился. Арсеній принялъ это происшествіе за указаніе свыше и остался вѣковать свой вѣкъ на островѣ. Сперва онъ жилъ одиноко на горѣ. Черезъ годъ, когда появились у него ученики, спустился на юго-западный берегъ Коневца и тамъ—у Лахты, которая впоследствии получила названіе Владычной, въ память посѣщенія острова св. Евфиміемъ, архіепископомъ новгородскимъ,—основалъ скитъ, быстро разросшійся въ монастырь. Въ 1421 году наводненіе вытѣснило монаховъ изъ ихъ обители, послѣ четвертьвѣкового уже въ ней пребыванія. Арсеній пламенно молится, имѣетъ видѣніе и, вдохновленный имъ, переноситъ монастырь съ неудачно выбранной низменности на берегъ

болѣе возвышенный, гдѣ обитель и по сейчасъ находится. Отстроивъ монастырь заново, Арсеній какъ бы совершилъ все сужденное ему на землѣ, сталъ хирѣть и 12-го іюня 1444 года умеръ. Онъ былъ монахомъ 65 лѣтъ, изъ нихъ—51 годъ настоятелемъ основанной имъ Коневской обители.

Въ настоящее время темя Святой Горы вѣнчаетъ скитъ съ церковью во имя Казанской Божьей Матери: невзрачный бѣлый четырехугольникъ, поставленный на краю не высокаго, но довольно крутого обрыва. При дорогѣ—крестъ и часовня.

— Это что? — спрашиваю возницу.

— Тутъ Камзольскій погребень.

— Кто такой?!

— Купецъ Камзольскій, благодѣтель былъ... А еще князь какой-то...

Заглянувъ въ «описаніе» архимандрита Пимена, вижу, что купца Камзольскаго никакого не было, а былъ какой-то кексгольмскій купецъ, дѣйствительно, благотворившій обители. «Князь» же—Николай Ивановичъ Манвеловъ—пожелалъ похорониться на Святой Горѣ, услышавъ отъ знаменитаго коневскаго старца, духовника Израила, преданіе, будто здѣсь, при дорогѣ, было любимое мѣсто отдохновенія преподобнаго Арсенія. Часовня—память видѣнія Божіей Матери, бывшаго въ самомъ началѣ коневскаго общежитія. Арсеній уѣхалъ на Аѳонъ и замѣшкался въ путешествіи. Въ отсутствіе его, у монаховъ вышли всѣ слѣстные припасы, братія смутилась и едва не разбѣжалась изъ обители. Но Богородица явилась въ сонномъ видѣніи нѣкому старцу Іоакиму, пустынножителю, обѣщая скорое возвращеніе Арсенія и конецъ оскудѣнія. Дѣйствительно, игумень не замедлилъ прибыть и привезъ съ собою множество припасовъ. Съ тѣхъ поръ и самая гора получила названіе Святой.

Подъ обрывомъ разбитъ прекрасный фруктовый и цвѣ-

точный садъ, тянутся огороды. Я полюбопытствовалъ, сами ли монахи устроили всю эту прелесть и ходятъ за нею? Нѣтъ, держать на жалованьи садовника-спеціалиста, прикомандировавъ къ нему на подмогу и въ науку двухъ послушниковъ. Сѣнокосы чудные, травы высокія, благоухающія, а возница плачется, что Богъ дождей не даетъ, и весь клеверъ пропалъ.

Подъ свѣтлозелеными березами, стройными и душистыми, проѣзжаемъ къ Святому колодцу. Въ кустахъ что-то шелеститъ, бродятъ какія-то тѣни... Призраки что ли блуждаютъ, по полуночному времени? Ну, нѣтъ. Вонъ этотъ призракъ что-то ужъ слишкомъ по-земному обнялъ близстоящую тѣнь за талію, а тѣнь хохочетъ совсѣмъ не замогильнымъ смѣхомъ. Что за народъ?

— Гости, — поясняетъ возница. — Изъ Петербурга наѣхали.

— На нашемъ пароходѣ ихъ не было...

— Они третьяго дня съ «Петромъ» пріѣхали. Ну, гостятъ. У насъ часто загащаются. Иные все лѣто околачиваются, словно на дачѣ. Потому что у насъ—просто! Куда проще, чѣмъ на Валаамѣ. Тамъ, чуть десять пробило, — гостиница на замокъ: ни входа, ни выхода. А у насъ — двери настезъ всю ночь: когда пришелъ, когда ушелъ, — никому горя нѣтъ. Свобода! Молодежи-то и любо... Модельщики тоже!

Подвигаясь далѣе, мы вспугнули еще двѣ подобныя пары, а на возвратномъ пути—уже въ матовомъ свѣтѣ расцвѣтающаго утра—встрѣтили и влюбленныхъ съ «Александра»: «онъ», въ значительной степени «раскисшій», лежалъ у ногъ «ея», упершись затылкомъ въ березовый пенъ, а «она» шаловливо стегала «его» по лицу какимъ-то долговязымъ бѣлымъ цвѣткомъ. Я сдѣлалъ видъ, будто смотрю въ другую сторону и люблюсь довольно уродливою кучею бурелома, но молодые люди, въ остервенѣннн взаимобожанія, кажется, насъ и не примѣтили.

Святой колодезь—родникъ, какъ всѣ родники. Мѣстные жители полагаютъ чудесность его въ томъ, что онъ—на горѣ, и, тѣмъ не менѣе, въ немъ вода есть.

— Гдѣ болото,—тыча пальцемъ подъ гору, восклицалъ возница,—а гдѣ колодезь, и, поди-жь ты,—каплетъ!

Для человѣка, зрѣвшаго истоки Терека и ручьевъ Бѣшеной Балки, правду сказать, рѣдкость небольшая. Но у меня есть житейское правило: никогда не огорчать проводниковъ недостаткомъ восхищенія къ показуемымъ ими достопримѣчательностямъ, недоувѣриемъ къ ихъ познаніямъ и поправками ихъ ошибокъ. Я держусь этого правила съ тѣхъ поръ, какъ въ Ватиканѣ постыдно довелъ резонерствомъ своимъ одного, отчаянно врущаго гида до слезъ отъ злости.

— Синьоръ,—сказалъ онъ мнѣ тогда,—за что вы меня мучите? Я вижу, что вы хорошо знаете исторію и искусство и совершенно во мнѣ не нуждаетесь. Но, въ такомъ случаѣ, зачѣмъ вы меня брали? А такъ я не могу: вы сбиваете меня съ порядка, у меня все путается въ головѣ, и я, поневолѣ, несу чушь, надъ которою вы, понятно, еще больше смѣетесь... Ахъ, синьоръ, повѣрьте: еслибъ я зналъ исторію, я не былъ бы гидомъ, но читалъ бы лекціи въ университетѣ!..

— Вези на Конь-Камень!

Конекъ бодро нырнулъ въ лѣсную чащу и вынырнулъ среди пространныхъ, уже скошенныхъ луговъ, трепещущихъ отъ низоваго, еле надъ землею ползущаго, тумана, какими-то сизыми тѣнями. Утро хорошо. Въ кустахъ разсудительно, точно будя подругу—«вставать пора! вставать пора!»—чирикаетъ пташка, и другая отвѣчаетъ ей капризными и жалобными нотами... Конь-Камень, окруженный правильно распланированной и чисто содержимою роцею, громадина для валуна, но для скалы—камень средняго роста. Онъ кажется испоиномъ на низменной косѣ Коневца, но на Валаамѣ не былъ бы даже замѣтенъ. Къ тому же, нѣсколько лѣтъ назадъ, отъ него отвалился огромный

кусокъ, который оттащили, через дорожку, въ кусты. Нѣкогда приходилъ отъ Коня-Камня въ неистовый восторгъ профессоръ С. С. Куторга. Можетъ быть, въ Конѣ-Камнѣ и, въ самомъ дѣлѣ, есть что-нибудь восторгающее «по наукѣ», но красоты въ немъ немного. Думаю, что профессоръ просто хотѣлъ быть любезнымъ и угодить монахамъ, которые каменнымъ чудовищемъ своимъ не нахвалятся. Но чудовище остаѣтся чудовищемъ. Къ тому же на немъ построили весьма неуклюжую деревянную часовню. Очарованіе Коня-Камня создается демоническою репутаціей, окружающей этотъ природный памятникъ сѣдого язычества. Такъ характеризуетъ его и самое житіе преподобнаго Арсенія: «камень, паче бѣсовскимъ ужасомъ, неже густымъ лѣсомъ, окруженный». Когда святой прибылъ на Коневецъ, въ Конѣ-Камнѣ жилъ нечистый духъ, и люди страны сея, «идолобѣсіемъ ослѣпленные», приносили ему въ жертву каждое лѣто по одному коню, «дабы скотъ ихъ хранимъ былъ отъ пакости воздушныхъ духовъ»... Преподобный Арсеній изгналъ нечистаго силою своей молитвы, и вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилось, разумѣется, «идолобѣсіе»...

— Хорошо. Нечистаго изгнали. Куда же онъ дѣвался?

— А онъ обернулся стаей воронъ и перелетѣлъ вонъ туда, на финскій берегъ, въ Чортову Лахту... Оттого она и Чортовой именуется!

— Тамъ и остался?

— Тамъ и остался.

— И по сейчасъ тамъ живетъ?

— Нѣтъ, теперь тамъ живетъ начальство.

— Какое начальство?

— А чиновники разные... изъ Выборга, Кексгольма...

Милое преемство: сперва воронье, потомъ нечистая сила, потомъ чиновники, отъ которыхъ даже нечистая сила сбѣжала!.. Нечего сказать: повезло злополучной Лахтѣ!

Конь мой, конь! бѣжить песокъ,  
Чую ранній вѣтерокъ...

Возница мой, чуя ранній вѣтерокъ, страшнѣйше зѣвалъ и, какъ потомъ оказалось, надулъ меня: не показалъ Змѣиную гору, замѣчательную тѣмъ, что, начинаясь узкимъ, похожимъ на змѣиный хвостъ, пригоркомъ, она, пѣсколькими извилинами, возвышается къ широкому обрыву. Гору эту я посѣтилъ на обратномъ пути съ Валаама и ничего хорошаго на ней не обрѣлъ. Во время шведскаго разгрома, постигшаго Коневецъ въ XVII вѣкѣ, здѣсь спасались какіе-то отшельники. Проводники показываютъ сомнительные слѣды, будто бы, ихнихъ келій. На одномъ бугрѣ, надъ гнилымъ срубомъ и землянымъ валикомъ, высится крестъ, съ надписью, вѣщающей, что здѣсь пустынножительствовалъ въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка инокъ Порфирій, родомъ изъ новгородскихъ князей.

Зато кучеръ свезъ меня къ скиту во имя Казанской Божіей Матери, къ Владычной—или, по мѣстному жаргону, Лодыжной—Лахтѣ, гдѣ стоялъ когда-то первый деревянный монастырь Арсеніевъ. Дорога туда осталась въ памяти моей лучшимъ впечатлѣніемъ, какое подарилъ мнѣ Коневецъ. И, возвратясь въ монастырь, отпустивъ возницу, я все утро затѣмъ проходилъ по этой очаровательной дорогѣ, любуясь Ладожскимъ озеромъ, ее омывающимъ, слушая его спокойные, величественные всплески, мѣрно ударяющіе о берегъ. Это не гнѣвный приборъ враждебныхъ волнъ на враждебную землю,—это просто сторожевой окликъ водныхъ духовъ... Здѣсь мы! здѣсь мы! здѣсь мы!—вятно повторяетъ онъ,—слышишь ли ты наше величавое присутствие?

Мягкая бѣлизна неба и моря, мягкія излучины невысокаго берега, мягкій сыпучій песокъ подъ ногами, мягкое пѣніе ладожской волны,—весь островъ мягкій, нѣжный, жизнерадостный. Здѣсь именно такому ласковому

отшельнику жить и спастись, какъ былъ знаменитый мѣстный Израиль: «неисчерпаемый источникъ утѣшенія и привѣта», — называетъ его архимандритъ Пименъ. Этотъ подвижникъ имѣлъ истинно-всеобъемлюще широкое сердце, благословлявшее «и въ полѣ каждую былинку, и въ небѣ каждую звѣзду».

О, если-бъ могъ всю жизнь смѣшать я,  
Всю душу вмѣстѣ съ вами слить!  
О, если-бъ могъ въ свои объятія  
Я васъ, враги, друзья и братья,  
И всю природу заключить“.

Это какъ будто объ Израилѣ писано. Онъ, какъ никто другой, умѣлъ поддержать колеблющагося праведника и утѣшить кающагося грѣшника. Онъ не давалъ человѣку отчаяться въ себѣ. Его Богомъ была воспрещающая любовь и вѣчная надежда. Всѣ духовныя дѣти, какъ монастырскія, такъ и мірскія, — а послѣднихъ хватило бы, чтобы населить весьма порядочный губернский городъ: такъ широка была популярность Израила! — искренно любили и уважали его. «Въ преизбыткѣ любви» онъ всѣмъ давалъ своеобразныя названія. Кого назоветъ «царская жемчужина», кого — «сладкая ягодка», иного «многострадальный», другого — «сладость церковная». Та русская нѣжность для нѣжности, то стремленіе и озорника погладить по головкѣ, и паршивую овцу приласкать, что такъ хорошо понималъ Достоевскій, великолѣпно написавшій типъ русскаго старца, хотя все же его Зосима нѣсколько приподнять сравнительно съ Зосимами дѣйствительности, которыхъ теперь насмотрѣлся я вживѣ въ Валаамскомъ монастырѣ, и о которыхъ, покойныхъ, прочелъ множество біографій. Они проще, дѣятельнѣе, яснѣе и ближе къ толпѣ, ими чаруемой, чѣмъ Зосима Достоевскаго. Тотъ — все-таки немножко какъ будто за стекломъ, «не тронь меня», а эти — всѣ въ прибѣгающей къ нимъ за помощью и совѣтомъ жизни. Есть между ними апостолы ласковыхъ и кроткихъ упованій: не бойся, дескать, чадо! Христось

все видитъ, все знаетъ, все понимаетъ—и грѣхъ твой простить! Недаромъ онъ кровь свою за тебя пролил! Ступай, молись, да впередъ не грѣши!.. Есть грозные пророки суроваго и мучительнаго покаянія, у которыхъ вѣчно и на умѣ, и на языкѣ—геенна огненная, тьма кромѣшная, плачь и скрежетъ зубовый, жестокой постъ, вериги, самоистязаніе, сверхсильная молитва. Но безучастныхъ нѣтъ. А если бываетъ такой, то—уже по свершеніи долгаго, долгаго подвига участія къ нуждамъ чужой души, когда совершено все земное, и годы, и личное внутреннее самосознаніе старца требуютъ упорядоченія его собственнаго духовнаго міра, говорятъ ему: замкнись въ себѣ и не выходи,—ты уже не человѣкъ... Въ исторіи валаамскаго и коневскаго подвижничества я нашелъ, собственно говоря, только одинъ, вполне цѣльный образецъ подобнаго аскетическаго безучастія: это—валаамскій монахъ-пустынникъ Аѳанасій, скончавшійся въ 1852 г., 80 лѣтъ отъ рожденія. Въ пустыню свою келью онъ не принималъ никого, мало съ кѣмъ говорилъ, и то только по необходимой надобности, и особенно удалялся отъ бесѣды съ мірскими людьми, говоря:

— Я за нихъ Богу отвѣта не дамъ, а за себя непременно истязанъ буду. Господь не спроситъ, почему ты другихъ не спасъ... а почему самъ не спасся? Я пошелъ въ пустыню не для того, чтобы другихъ назидать, но для того, чтобы въ ней оплакивать мои грѣхи!

Выйти изъ келіи—хотя бы за сборомъ топлива—онъ почиталъ уже грѣхомъ. Какъ аскетъ совершенно восточнаго типа, онъ имѣлъ способность застывать по шести часовъ въ такъ называемой, «умной молитвѣ»—упражненіи, роднящемъ между собою аскетовъ не только всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, но и всѣхъ религій міра, возвысившихся до идеи духовнаго самосовершенствованія, приближенія человѣка къ божеству. Умную молитву знаютъ и буддизмъ, и іудаизмъ, и магометанство. Упражне-

ніе это—столько же физическое, сколько нравственное, и необычайно трудно съ той и другой стороны. При полной неподвижности тѣла, надо мысленно всецѣло сосредоточиться на идеѣ божества и на молитвѣ ему. Это—молчаливый экстазъ, совершенно извлекающій человѣка изъ окружающей обстановки; міра болѣе не существуетъ; духъ витаетъ гдѣ-то внѣ времени и пространства. Оторваться «умною молитвою» отъ дѣйствительности на нѣсколько минутъ—дѣло возможное для каждаго вѣрующаго человѣка, особенно, если онъ склоненъ къ восторженности и обладаетъ впечатлительными нервами. Но выдерживать себя по шести часовъ въ сутки въ ничѣмъ не развлекаемомъ и не смущаемомъ экстазѣ—подвигъ, предъ которымъ робко отступали даже такіе истязатели своей плоти, какимъ, на примѣръ, былъ въ годы своего послушанія творецъ современнаго Валаама, великій игумень его Дамаскинъ—одно время, товарищъ Аѳанасія по пустыни. Отрубленный отъ міра, погруженный въ «умную молитву», Аѳанасій думалъ только о смерти и о загробномъ расчетѣ за угасающую уже жизнь. А между тѣмъ родомъ этотъ угрюмый умъ былъ изъ тульскихъ оружейниковъ—самаго нищаго, но самаго веселаго и безпечнаго народа, между всѣми ремесленниками Россіи отличеннаго наибольшимъ развитіемъ способности ничуть не думать о завтрашнемъ днѣ. Одинъ изъ монаховъ, побывавъ въ Тульѣ, сталъ было рассказывать отцу Аѳанасію о нынѣшнемъ устройствѣ этого города, о новыхъ зданіяхъ, площадяхъ, широкихъ улицахъ.

— Братъ, — мрачно остановилъ его пустынникъ, — скажи лучше мнѣ, много ли понадобится досокъ для моего гроба и великъ ли холмъ земли подыметъ надъ моимъ прахомъ.

Но повторяю: Аѳанасій—какъ ни высоко ставитъ ихъ монашество, зрящее въ подвигѣ ихъ приближеніе къ идеалу древнихъ пустынныхъ отцовъ—все же исключе-

ніе, а не общее правило. Аѳанасіевъ ставятъ въ образецъ, мечтають достигнуть ихъ величественнаго безстрастія, но живость славянскаго ума и мягкость славянскаго сердца рѣдко кому даетъ уйти на подобную степень отчужденія.

— Ахъ, ужъ этотъ мнѣ грѣшный міръ! Погибну я за общеніе съ нимъ и вниманіе къ его нуждамъ! — сокрушенно говоритъ русскій подвижникъ и... въ то же время всю жизнь проводитъ въ заботахъ и хлопотахъ о горѣ и грѣхѣ именно этого гибельнаго міра, искупая свою святую «вину» почти невѣроятнымъ самомучительствомъ и желѣзнымъ терпѣніемъ во всякой житейской напасти. Любвеобильный Израиль, помянутый выше, всю жизнь тяжело болѣлъ ногами; въ концѣ жизни, онѣ у него загнили до колѣнъ, почернѣли и высохли, «стали какъ желѣзныя». Страданія его были ужасны, но никто не слыхалъ, чтобы онъ стоналъ или охалъ: «только, бывало, поморщится и всегда благодарилъ Бога». Жалѣвшимъ о мучительности его недуга, больной неизмѣнно отвѣчалъ стихомъ апостола Павла:

— Недостойны страсти нынѣшняго вѣка къ хотящей славы явиться въ насъ.

Израиль умеръ 11-го марта 1856 года, проживъ въ Коневской обители пятьдесятъ лѣтъ. Кроткая душа его до сихъ поръ какъ будто не отлетѣла еще отъ этихъ мѣстъ. Блуждая по мхамъ и розоватому граниту излучинъ Коневского скита, я ничуть не изумился бы, если бы вдругъ раздвинулись блѣдныя, дѣвственныя зелени подсосеннаго кустарника, и ласково глянулъ бы изъ нихъ сѣдобородый, старческій обликъ, въ клобукѣ, съ умными, глубоко-проницательными очами...

— Полюбуйся, моль, полюбуйся, соколикъ, на Божью красу моего острова... Надо природу любить: она святая, въ ней вѣчное Божество землѣ себя оказываетъ.

А кругомъ и впрямь—чѣмъ ярче разгоралось ново-рожденное утро, тѣмъ роскошнѣе развертывалась святая

краса. Старое Неве—нѣжно-голубое, съ бѣлесыми поло- сами, вдали—у берега трепетало все розовое. Жемчужный прибой не стучалъ больше прямокомъ о берегъ, но раз- стлался по немъ косыми, продольными волнами, словно ложился въ постелю и подушку себѣ примащивалъ, чтобы по- удобнѣе улечься и послаще заснуть. Прямая высокія сосны, розовый гранитъ, скитская церковь, далекія рыбачьи лодки въ просторѣ озера—все опрокинулось въ воду отвѣснымъ и чистымъ отраженіемъ... Чижъ весело запищалъ въ ку- старникѣ, хрюкнула какая-то звѣрюга, жалостно допѣ- ваютъ отходную минувшей ночи кусаки-комары, уклады ваясь спать подъ росистые листья, озабоченный дятель бѣгаетъ по соснѣ, выбирая, гдѣ ему застучать носомъ... Вся природа—какъ передъ смотромъ—будто напряглась, подтянулась и ждетъ, въ веселомъ и нервномъ возбужде- ній, царственно грядущаго въ нее дня. И вспыхнуло солнце,—и не стало больше полутѣней: міръ утонулъ въ золотомъ сіяніи... И звонко, и радостно зазѣли за рощею монастырскіе колокола.

---

### III. Валаамъ.

#### 1.

Божья тишь...

День тихо меркнетъ въ заревѣ безоблачнаго заката. Свѣжій, съ крѣпкою, веселою зеленью, молодой кленокъ смотритъ въ открытое окно моей кельи. Въ половинѣ іюля на Валаамѣ еще весна: цвѣтеть сирень, калина, жимо- лость, жасминъ; только что сошелъ съ лѣсныхъ полянъ ландышъ, и, на смѣну ему, заблагоухала по низинамъ бѣлая и стройная лѣсная фіалка.

Ароматъ, тишь, безвѣтріе и сонъ. Вечернее правило

выслушано, монахи разошлись по своимъ кельямъ, сторожъ десять разъ ударилъ въ часовой колоколь, и десять разъ пропѣли аккордами втору ему дремучіе лѣса и зеркальныя озера. Монастырь и гостиница наглухо запирають свои двери. Ночь.

Вдыхаю полною грудью плывущій въ окно влажный и темный воздухъ, и—чѣмъ таинственнѣе сгущается мракъ, чѣмъ глубже тишина вокругъ — тѣмъ пытливѣе устремляются въ ночь недремлющія очи, тѣмъ явственнѣе слышать сторожкое ухо какіе-то надземные звуки, глухую гармонію сонной природы. Здѣсь столько слышишь церковныхъ пѣснопѣній, ухо такъ свыкается съ ними, что они то и дѣло просыпаются въ музыкальной памяти безсознательно, начинаютъ звучать въ воображеніи—точно и въ самомъ дѣлѣ гдѣ-то еще поютъ, еще славословятъ. Гудить ли комариная стая, гулко встряхнетъ ли верхушки деревъ внезапно налетѣвшій порывъ вѣтра,—въ стонѣ и лиственномъ шумѣ вдругъ откликнется глухимъ и далекимъ напѣвомъ незримая всеобщая, свершаемая природою послѣ всеобщей людской...

Путешественникъ по востоку рассказывалъ мнѣ недавно, что индійскіе брамины имѣють обыкновеніе отдѣлять въ своихъ жилищахъ одну комнату, куда предписывается имъ входить не иначе, какъ если они чувствуютъ себя вполне въ духѣ, въ свѣтломъ и любвеобильномъ настроеніи. Комната эта убирается коврами и мебелью по вкусу хозяина, украшается его любимыми цвѣтами, въ ней курятся любимыя его благовонія. Войдя въ этотъ храмъ своихъ симпатій, въ этотъ уголокъ личнаго спокойствія и земного счастья, браминъ остается въ немъ, покуда не почувствуетъ въ душѣ пресыщенія и скуки. Тогда онъ спѣшитъ уйти: священная комната не должна оскверняться неприятными помыслами и настроеніями. Браминъ вѣрить, что довольный и нравственно уравновѣшенный человѣкъ распространяетъ отъ себя флюиды

довольства и нравственного равновѣсія, и что они остаются въ атмосферѣ помѣщенія, гдѣ ему чувствовалось такъ хорошо, и, умножаясь съ каждымъ новымъ посѣщеніемъ, накаплиются въ незримое море благосклонныхъ токовъ, вѣчно струящихся и могуче воздѣйствующихъ на человѣческую природу. Когда подобное накопленіе свершится, браминъ начинаетъ посѣщать свою психическую лабораторію уже не въ минуты радости, но, наоборотъ, когда ему не по себѣ, когда бѣда за плечами, и нужно утѣшеніе. И комната, напитанная ласковыми и кроткими флюидами, мало-по-малу подчиняетъ себѣ огорченную душу, умиротворяетъ мятущееся сердце, снимаетъ съ человѣка безразсудный гнѣвъ, водворяетъ въ права свои спокойную разсудительность, мудрый и снисходительный разумъ. Нѣчто въ родѣ какъ бы нравственной кладовой, куда ходятъ за новымъ запасомъ добраго расположенія духа, когда старый весь истраченъ въ чаду и зловоніи житейской кухни <sup>1)</sup>).

Эта Причудливая теорія накопленія благихъ флюидовъ невольно припомнилась мнѣ, когда—въ первый день пребыванія на Валаамѣ—я одиноко бродилъ по его садамъ и рощамъ. Здѣсь сказывается тысячелѣтіе молитвы. Воздухъ напоенъ ею; она—дыханіе этихъ оторванныхъ отъ міра острововъ. Вѣрующій вы или невѣрующій, она захватываетъ васъ, заставляетъ мечтать и грезить. Глядя на воды прозрачныя, на многосаженную глубину, съ опрокинутымъ въ нихъ недвижимымъ отраженіемъ храмовъ и часовень, начинаешь понимать древне-русскія преданія о «церковищахъ», о святомъ градѣ Китежѣ, ушедшемъ отъ Батяя неистоваго въ хрустальную глубь лѣсного озера. Стоишь гдѣ нибудь на далекой опушкѣ, ладожская волна,

---

<sup>1)</sup> Это—вродѣ того, какъ гегеліанецъ Кирѣевскій ходилъ къ Иверской молиться не потому, что вѣрилъ въ чудотворность иконы, но потому, что—„мѣсто заплаканное“: незримый складъ столѣтіями накопленной скорби, слезъ и жалобъ человѣческихъ... 1905.

переливаясь через камни, ласково шепчетъ, лижетъ твои ноги, въ береговыхъ кустахъ мелодически перекликаются звонки коровъ, бродящихъ на вольномъ подножномъ корму, безъ пастуха и призора, взоръ тонетъ въ широко развернутой дали голубого озера, мелкіе острова, въ шетинѣ сосновыхъ и еловыхъ лѣсовъ, чуть дымятся вечернимъ туманомъ—точно дышать, заснувъ на волнахъ, гигантскіе киты... И тутъ-то,—черезъ лѣса, за семь, за десять версть,—тихо внятнѣй благовѣсть. «Пустыня внемлетъ Богу». Съдые клубы падводныхъ царовъ свиваются въ темнѣющемъ просторѣ хороводами бѣлыхъ ангеловъ... «Пришедше на западъ солнца, видѣвше свѣтъ вечерній, поемъ Отца, Сына и Святаго Духа Бога!..»

За истекшій день я испыталъ много живыхъ и новыхъ впечатлѣній. Съ Коневца мы уѣхали отвратительно. Прощальное лаканье водки и пива началось съ утра, и можно было лишь радоваться, что, натошакъ, пьяницъ скоро развезло и большую часть—отъ хмеля и тихой тряски парохода—сморило крѣпкимъ сномъ. Палуба спящая, усѣянная обезсиленными, безобразными, неприлично разбросавшимися тѣлами, противна, но хотъ молчалива. Мѣдникъ, везомый богатыремъ Петромъ Николаевичемъ на Klosterkur, ухитрился какъ-то надуть своего проводника: кто его и когда угостилъ, — Богъ вѣсть; сей часъ онъ сидитъ на чужомъ узлѣ, краснѣе свеклы и пьянѣе вина, и наглѣйшимъ образомъ дразнить своего покровителя:

— Вотъ—выпилъ, и что ты съ меня возьмешь? Премѣнить того тебѣ, другъ любезный, не предвижу окончательной возможности.

Другъ любезный смѣтрить на пьянчугу съ сумрачною гадливостью. Онъ очень хорошо и самъ понимаетъ, что, разъ человѣкъ напился, «премѣнять» тутъ уже нечего. Скопфужень и золь на себя, что не усмотрѣлъ, онъ — страшно. Нахмурился звѣремъ и, на всѣ наглости жалкаго человѣка, только повторяетъ односложно:

— Ладно-съ. Ужо-съ. Увидимъ-съ.

Проходимъ мимо низменнаго Тихвинскаго Острова. Это—какъ бы первое предостереженіе пароходу: мы уже въ Валаамскихъ водахъ, хотя до самого Валаама еще двадцать пять верстъ. Вчерашній игривый батюшка стоитъ у барьера съ мрачнымъ видомъ челоуѣка, у котораго дьявольски ломить голову съ похмелья, и грызеть лимонъ. Спутницы-богомолки пытаются вовлечь его въ прежнее празднословіе, но напрасно: батюшка вступилъ на стезю благоразумія и на соблазнъ порока даже ухомъ не ведеть. Тепло и свѣтло. Вдругъ, сразу, мы погружаемся въ холодъ и какое-то матово-бѣлое сіяніе, полупрозрачное, точно передъ глазами опустили, въ нѣсколько слоевъ кисеи, мягкой пологъ. Это—мы вплыли въ полосу пресловутаго ладожскаго тумана. Такихъ странныхъ тумановъ я нигдѣ еще не видалъ. Самого тумана не видишь, но, изъ-за него, не видишь и ничего другого дальше двухъ-трехъ сажень разстоянія. Сырости особой не чувствуешь, а уже успѣлъ продрогнуть до костей, и въ жилы предательски пробирается лихорадка. Море—совершенно молочнаго цвѣта, съ тѣми же блѣдными отливами перламутра, что играютъ, подъ солнцемъ, на кипящемъ молокѣ. Небо льетъ прежній ясный свѣтъ, но само выцвѣло въ тонъ моря; блѣднымъ и огромнымъ въ туманѣ призракомъ пронеслась надъ пароходомъ молчаливая чайка. Дикая, фантастическая бѣлизна, сквозь которую,—пыхтя, сердясь и посылая за собою черный, низко плывущій, придавленный сыростью къ морю дымъ,—проходитъ «Александръ»,—гнетуще ложится на душу. Озябшіе пассажиры приумолкли, прячутся по каютамъ. Мы—въ какой-то таинственной зимѣ, внезапно ворвавшейся въ знойное лѣто. Стоя на кормѣ, ослѣпленный этимъ бѣлымъ холодомъ, я начинаю живо понимать блистательную картину полярнаго тумана, начертанную Эдгаромъ Поэ въ заключительныхъ строкахъ «Путешествія Артура Гордона Пима»... Такъ и чудится: вотъ сейчасъ распахнется бѣлый

запавъсь, скрывающій отъ насъ, куда мы ѣдемъ, гдѣ ѣдемъ, откуда ѣдемъ, и протянетъ къ намъ властныя руки тотъ мистическій бѣлый гигантъ, въ чьихъ роковыхъ объятіяхъ исчезли нѣкогда бѣдный Пимъ и Петерсъ, съ ихъ утлою лодкою...

Занавѣсь распахнулся. Въ прорѣху его хлынули солнечныя лучи, голубое небо, веселое, бодрящее тепло, а, вмѣсто бѣлаго гиганта, мы увидѣли въ верстѣ—другой предъ нами, темнозеленыя боры на гордыхъ обрывахъ валаамскихъ скалъ. Все на пароходѣ ожило, засуетилось. Вздохи, крестное знаменіе...

— Господи Батюшко! шелестятъ отъ носа до кормы старушечьи молитвы,—Царица Небесная!

«Козлицы», разбуженные толчками товарищей, вырезвленные холодомъ только что пройденнаго тумана,— въ замѣтномъ упадкѣ духа. Напрасно улыбаются имъ быстро скользящіе мимо острова своими позолоченными солнцемъ елями и румянымъ гранитомъ: они тупо смотрятъ на ждущую ихъ обитель, и почти на всѣхъ этихъ искаженныхъ и блудныхъ лицахъ я читаю одну и ту же тоскливую мысль:

— Тутъ, братъ, ау! не разгуляешься!..

— На манеръ узника Дрейфуса, острить зеленолицый «пиджакъ», открывшій вчера въ адскомъ воинствѣ новаго бѣса—Алкоголя.

Спускаюсь внизъ, укладываю свои вещи, прохожу затѣмъ, внутренностью парохода, черезъ второй и третій классы, мимо машины, на посовую палубу. По пути слышу задушенные вопли и неистовое водное чупаханье. Гляжу... Нѣтъ, ей Богу, у Петра Николаевича есть характеръ! Шуйцею онъ склонилъ своего паціента подъ кранъ насоса, а десницею качаетъ ему на голову ледяную воду. Паціентъ, съ дурного похмелья, кашляетъ, захлебывается, трепыхается въ рукахъ мучителя, точно рыба на пескѣ,— а тотъ, ничто же сумняшеся, давитъ знай дарованными ему отъ природы клещами, да качаетъ ведро за ведромъ, приговаривая:

— Чистенькіе прїѣдете. И предъ людьми опрятны, и Господу Богу милы.

Мнѣ стало смѣшно, и я поспѣшилъ паверхъ. Мелькнули крестъ и маякъ Никонова Мыса, откипѣли бѣлые прибои Порфирьевскаго острова и Александріи, сверкнула сквозь сосны и ели, ее переросшія, блестящая глава церкви въ Предтеченскомъ скиту. Дико и чудно паростають предъ нами священныя дива Валаама, — и вотъ, радостный, нарядный, чистенькій, бѣленькій, всплываетъ вдругъ, высунувшись изъ-за темнаго, щетинистаго мыса, скитъ св. Николая Чудотворца, сіяя золотою маковкою. Онъ — точно каменный корабликъ, оснащенный соснами вмѣсто мачтъ, съ фонаремъ маяка на носу, съ величественнымъ гранитнымъ крестомъ на рулѣ. Въ немъ есть что-то плавучее; островокъ этотъ какъ будто стремится оторваться отъ общей массы тяжелаго, гранитнаго Валаама и помчаться, по волѣ вѣтра, въ широкій озерный просторъ. Никольскій скитъ—стражъ стараго Несо и вѣстникъ Валааму объ его настроеніи. Когда на озерѣ туманъ или заходитъ черная буря, колоколь Никольскаго скита рѣдкимъ и протяжнымъ благовѣстомъ оповѣщаетъ о томъ валаамцевъ—совершенно такъ же, какъ петербуржцевъ, при наводненіи,—пушка Петропавловской крѣпости.

«Александръ» испускаетъ жалобный свистокъ, дѣлаетъ крутой поворотъ и входитъ въ Монастырскую бухту. Я не мало скитался по бѣлому свѣту, и видами удивить меня трудно. Но, когда сразу—въ рамкѣ природной изсѣра-розовой набережной, черный съ обѣихъ сторонъ отраженіями вѣковыхъ боровъ и хрустально-ясный въ среднемъ теченіи—развертывается предъ глазами глубокій, въ нѣдра лѣсовъ бѣгущій, заливъ, съ высокимъ бѣлымъ монастыремъ, подъ голубыми крышами, на высокой зеленой горѣ,—у меня невольно духъ захватило, и изъ груди вырвалось:

— А—а—ахъ!..

Могучій, царственный видъ. Все дышитъ здѣсь не-

сокрушимою, неистошимою силою. И этот порвозданный гранитъ, отвѣсно обрубленный въ уровень къ холоднымъ пучинамъ; и эти тихія на видъ, но съ богатырскимъ теченіемъ воды — восьмидесятисаженной глубины у самаго берега; и вѣковыя сосны, что качаются надъ ними свои мудрыя, еще шведа памятующія головы: каждую — хоть сейчасъ руби на мачту военного корабля. Весь Валаамъ — неприкосновенное лѣсное царство. Дерево идетъ здѣсь на потребу человѣка и становится стяжаніемъ топора, лишь когда свалить его ладожская буря или подточить внутренняя болѣзнь. Мошахи свято хранятъ свои дебри. Лишь самая необходимая и спѣшная стройка заставляетъ ихъ умертвить одного или двухъ изъ хвойныхъ великановъ, что сторожатъ неисчислимою ратью, валаамскія стѣны. Рубка дерева здѣсь — событіе; о немъ долго говорятъ потомъ, отъ него считаютъ дни, какъ отъ календарной примѣты. Дрова на обитель еще очень недавно поставляли исключительно залетные съ Нево ураганы. Когда эти стихійные дровосѣки врываються въ валаамскія дубравы, въ нихъ начинаются ужасы. Вихри истребляютъ изъ лѣса всю древесную фальшь — все крѣпкое и здоровое снаружи, но слабое и больное внутри. Деревьевъ съ выгнившею, трухлявою сердцевиною много на Валаамѣ. Духовный описатель и историкъ его говоритъ по этому поводу весьма красиво и образно: «Едва во сто лѣтъ достигаетъ на Валаамѣ дерево естественной своей величины; преодолевъ въ своей молодости тягости сѣверной жизни, оно почти всегда заболѣваетъ сердцемъ, и въ старости, а нерѣдко и въ зрѣломъ возрастѣ сокрушаетъ его сильная Ладожская буря»... Въ настоящее время, — когда братія стала очень многолюдною, гостей перебиваетъ въ монастырѣ до 40.000 душъ и болѣе въ годъ, обитель обзавелась мастерскими, потребляющими массу дровъ, и раскидалась на множество скитовъ, — валежника на то-

пливо уже не хватает. Но монахи купили лѣсной участка на Финляндскомъ берегу и вырубаютъ его на дрова, а своихъ дремучихъ дубравъ все-таки не трогаютъ. Наѣзжающіе въ обитель для прогулокъ финны изъ Сердоболя и Кексгольма—что называется—зубами щелкаютъ отъ зависти.

— Намъ бы эти острова! — говорятъ они, — Боже мой, что бы мы тутъ устроили, какую культуру развели... Вѣдь миллионы въ однихъ лѣсахъ у васъ растутъ.

Но монахи валаамскіе—не изъ тѣхъ столичныхъ иноковъ, что гонятся за барышами и ради нихъ готовы на любые компромиссы съ «міромъ». Они твердо держатся исконнаго валаамскаго девиза: самъ Богъ, создавая далеко отрѣзанные отъ берега Ладожскіе острова, предназначалъ ихъ для благочестиваго пустынножительства во имя Свое. «Промыслomъ Спасителя міра назначенъ ты для селенія иноковъ!» — вдохновенно характеризовалъ валаамскій архипелагъ Гавріиль, архіепископъ новгородскій, въ грамотѣ 1787 г., вводящей на Валаамъ уставъ Саровскаго пустынножительства. Вѣрные девизу, монахи не только не уступаютъ міру ни пяди своей земли, но, наоборотъ, стараются включить въ поясъ своихъ владѣній и всю финскую Ладугу. Геніальный хозяинъ. игумень Дамаскинъ († 1881)—маленькій валаамскій Петръ Великій—расширилъ монастырскую территорію покупкою пяти острововъ: Германова, по фински Суска — Солма, Сергіева—Путосари, Тихвинскаго—Вошаннаго, Мигорки и Елая. Площадь этихъ «колоній» почти равняется самой «метрополи»—Валааму. Приобрѣсти острова у частныхъ владѣльцевъ Дамаскину, конечно, не стоило большого труда, но финляндскія власти оказали энергическое противодѣйствіе переходу столь обширныхъ и выгодныхъ угодій въ руки русскаго монастыря. Купчія не утверждались двѣнадцать лѣтъ, но Дамаскинъ и—правая рука его, впоследствии тоже игумень—Ионаанъ добились своего: дѣло представлено было

на высочайшее усмотрѣніе, и 28-го августа 1878 года императоръ Александръ II указаль— «означеннымъ островамъ быть достояніемъ Валаамскаго монастыря въ вѣчное владѣніе». Какъ только монахи приобрѣли острова, такъ сейчасъ же завели на нихъ и валаамскій порядокъ: все—лѣсъ, звѣри и птицы въ лѣсу, воды и рыба въ водахъ—стало заповѣднымъ. Въ финское время, Сергіевъ и Германовъ острова были гранитными пустырями, а сейчасъ— послѣ тридцатитрехлѣтняго монашескаго хозяйства—они шумять бодрими и частыми лѣсами. Да и самъ Валаамъ— до послѣдняго и уже окончательнаго водворенія на немъ монаховъ, послѣ шведскаго разоренія, при Петрѣ Великомъ— очевидно, былъ грудю оголенныхъ, непривѣтныхъ скалъ. Гравюра XVII вѣка, съ видомъ древняго деревяннаго монастыря, изображаетъ Валаамъ безлѣснымъ, а строитель монастыря, о. Ефремъ,—на запросъ с.-петербургской духовной консисторіи, почему валаамцы не пользуются своимъ лѣсомъ, а гонятъ бревна и тесъ изъ Олонца, съ Сердобольскаго и Самшинскаго погостовъ—далъ въ 1763 году такой отзывъ:

— Монастырскій лѣсъ не употребляется ни въ какое строеніе, развѣ на починку, по самой нуждѣ выбираніемъ годныхъ бревень, понеже оныхъ мало имѣтся.

Хитро и упрямо развивается валаамская растительность. Изъ 3.100 десятинъ монастырскаго землевладѣнія— развѣ пятая доля годна къ обработкѣ, — включая сюда и лѣсоразведеніе, — съ общехозяйственной точки зрѣнія. Остальное—луда, сплошной темно-сѣрый камень, либо поросшій мхами, брусничникомъ, мелкимъ уродливымъ кустарникомъ, либо вовсе голый. Луда, подъ вліяніемъ вѣтровъ, рыхлѣетъ съ поверхности, разсыпается и, мало-по-малу, превращается въ землю—красноватаго цвѣта и весьма мало плодородную. Но валаамскія деревья и ей рады. Мѣстной соснѣ, ели, березѣ только бы зацѣпиться гдѣ-нибудь корешкомъ, а ужъ расти она бу-

детъ. Прямо глазамъ не вѣришь, наблюдая ихъ плутоватое корнепусканіе. На Святомъ Острове, вблизи пещеры преп. Александра Свирскаго, надъ дорогою «висить» сосна, какъ будто прилипшая къ огромной скалѣ сплошного гранита. Снизу вы видите, какъ стволъ сужается въ корень, какъ бы исчезающій въ скалѣ. Но, обходя послѣднюю, убѣждаетесь, что вовсе нѣтъ: дерево отвергло твердую и непитательную среду предложенной ей луды, круто перекинуло черезъ нее корень трехсаженнымъ размахомъ, инстинктомъ нанюхало кусочекъ суглинка, впилося въ него жадными щупальцами и сосеть-питается уже многія десятилѣтія.

— Видите, какъ окрутило!—восторгался монахъ, мой проводникъ.—Теперь они другъ дружкѣ помогаютъ: дерево камню, а камень дереву. Камень защищаетъ дерево отъ сѣвернаго вѣтра, а дерево, связавъ камень корнемъ, не позволить ему распластаться и рассыпаться.

Въ Московскомъ проливѣ я видѣлъ, впрочемъ, диво совсѣмъ обратнаго порядка: сосна расколола корнемъ гранитную скалу; корень — толстый, корявый — удавомъ ползеть подъ глыбою, прижавшею его, какъ прессъ-папье въ нѣсколько десятковъ тысячъ пудовъ. Гранить подъ нимъ, гранить надъ нимъ.

— Какъ могло это случиться?

— Очень просто. Нашъ гранить несокрушимо твердъ для заступа и молота, но морозъ и вообще рѣзкія климатическія перемѣны производятъ въ немъ трещины. А ужъ если треснула глыба, то ее—словно ножомъ—такъ сверху до низу и раскрыть.

— Что блистательно доказано пьедесталомъ московскаго монумента Александру II... Далѣе?

— Трещина—можетъ быть— всего въ волосокъ, чело-вѣческой глазъ ея и не примѣтитъ,—ну, а растеніе, коли Богъ забросилъ сѣмя на луду, чуетъ, что подъ нимъ уже не цѣльный камень, а два камня, слышитъ сквозь трещинку

влагу земляную и нащупываетъ, какъ бы къ ней пробраться. Глядь, и пустило корешокъ въ трещинку и добралось до земли тонкою-тонкою ниточкою.

— Это понятно, а вотъ — какъ же гранить его не задушилъ, а, напротивъ, самъ раздвинулся, чтобы дать ему жить?

— Да, вѣдь, разъ въ камнѣ жизнь завелась, онъ трухлявится, — стало быть, даетъ корню просторъ ботѣтъ. Ну, а если корень укрѣпился, да силу забралъ, такъ онъ — богатырь, горами ворочаетъ: его не сожмешь, онъ самъ вокругъ себя все разопретъ...

На чемъ держатся двѣ прелестныя березки-двойнячки — украшеніе Крестовой горы на Черномъ Носу — растущія изъ каменнаго бока гигантскаго, точно человѣческими руками обтесаннаго обрыва; что не даетъ рухнуть соснѣ-исполину, прилѣпленной именно ужъ между небомъ и землею, надъ водами Никольскаго островка, — ты одинъ, Господи, вѣси! Между тѣмъ, эта послѣдняя сосна — древность валаамская. На самыхъ давнихъ изображеніяхъ монастыря уже кудрявится ея широкая, итальянскую пинію напоминающая, голова. А мѣсто — какъ нарочно — самое подвѣтренное и опасное на всемъ Валаамѣ: при переходѣ изъ озера въ Монастырскую бухту. Тутъ то, казалось бы, и сломаться дереву при первой же бурѣ, — а оно знай стоять, да зеленѣть все краше и краше. Видно, — ловко обмануло враждебный гранить и хорошо ухватилось гдѣ-то въ подземельной темнотѣ за благодатную, подспудную почву.

Приходъ къ валаамской пристани «Александра» совпадаетъ съ уходомъ отъ нея «Петра» — большого, красиваго, хотя и устарѣлой конструкции, парохода. Поэтому — съ молебномъ выѣхавъ изъ Питера, мы молебномъ встрѣчены и на Валаамѣ. Толпа, шумя и толкая другъ друга пожитками, повалила на берегъ — въ гору, къ огромному бѣлому зданію гостиницы. Финляндская таможня на Ва-

лаамъ уничтожена—по ходатайству великаго князя Владиміра Александровича—въ 1887 году, и островъ, съ примыкающими къ нему монастырскими владѣніями, обращенъ въ порто-франко, къ великому блаженству иноковъ: финны у нихъ—вотъ какъ сидѣли на шеѣ. Теперь Финляндію представляютъ на островѣ лишь два полицейскихъ, да и то одинъ изъ нихъ произведенъ въ свое грозное званіе изъ монастырскихъ же лѣсныхъ объѣздчиковъ и, за двадцать два года житья на Валаамѣ, обрусѣлъ и утратилъ чухонскую угрюмость. Онъ, вмѣстѣ съ монахами, встрѣчаетъ публику на пристани, монотонно повторяя:

— Папирось брось!

— Табакъ нельзя!

— Сигарь оставьте!

Многихъ посѣтителей валаамское табакоборство приводитъ въ уныніе, отчаяніе и довольно комическое негодованіе.

— Почему нельзя курить? почему не позволяютъ имѣть пиво, вино, водку?

— Монахамъ на это «почему нельзя?»—собственно говоря—возможно отвѣтить лишь только:

— Да потому, что нельзя.

Держаніе въ обители и ея окрестностяхъ хмельныхъ напитковъ воспрещается восьмою главою общежительнаго устава Саровской пустыни, введеннаго на Валаамѣ обновителемъ его игуменомъ о. Назаріемъ (род. 1735—ум. 1809 г.). Соблюдается запрещеніе это строго—настолько, что пароходы, едва подходятъ къ валаамскимъ берегамъ, запираютъ свои буфеты, и капитаны просятъ пассажировъ болѣе не курить.

— Позвольте, — возражаютъ отчаянные курильщики, — эта глава обязательна братіи монастырской, но не для насъ, ихъ гостей.

— Да они звали васъ въ гости-то?

— Н-пѣтъ, конечно... Я по собственному усердію и любопытству.

— Ну, а на собственное усердіе и любопытство есть старинная пословица, что «въ чужой монастырь со своимъ уставомъ не ходять».

— Но если я не могу не курить?

— Не ѣздите на Валаамъ.

— Да—если любопытно?

— Любопытствуйте безъ табаку!

— Богъ знаетъ, что! Это переносить насъ въ XVI, XVII вѣкъ, когда думали, что табакъ выросъ изъ чрева блудницы и того еще хуже, и рѣзали за нюханье его носы. А мы переходимъ уже въ XX й вѣкъ, мы люди образованные, у насъ непреодолимая потребности...

— Которыя монашество, почти всѣ безъ исключенія, находятъ лишними и враждебными спасенію человѣческой души. Оно ушло отъ міра, живущаго этими потребностями, и отвоевало себѣ уединенный уголокъ, гдѣ само живетъ безъ нихъ. Вторженіе ихъ въ этотъ уголокъ оно считаетъ оскверненіемъ его, оскорбленіемъ святыни, соблазнительнымъ покушеніемъ на свою совѣсть. Мы сейчасъ—незваные, непрошенные, но радушно принимаемые гости въ чужомъ домѣ. По какому праву будемъ мы—внезапные пришельцы—дѣлать въ чужомъ домѣ непріятныя хозяевамъ выходки, издѣваться надъ строемъ, обычаемъ и свычаемъ ихъ семьи? Вѣдь не станете же вы на вечеринкѣ въ семейномъ домѣ занимать хозяйскихъ дочерей, показывая имъ неприличныя фотографіи голландскаго или парижскаго производства, которыя въ холостыхъ компаніяхъ весьма употребительны. Ну, а если такъ,—зачѣмъ же возмущаетесь вы противъ требованій монастырскаго приличія? Для валаамскаго инока, воспитаннаго Саровскимъ уставомъ, зелье, возросшее изъ чрева блудницы, или снадобье, пущенное въ міръ на соблазнъ людской «первымъ винокуромъ» — сатанюю, ничуть не менѣе грѣшный и отвратительный соблазнъ, чѣмъ для дѣвушки изъ порядочнаго общества порнографическій рисунокъ.

— Наконецъ, это имъ же самимъ невыгодно... Допусти они послабленія для богомольцевъ, къ нимъ стало бы ѣздить втрое больше публики, повалила бы интеллигенція. Сами себя лишаютъ дохода!

— Это правда, но прочитайте всю исторію Валаамскаго монастыря, и вы увидите, что иноки въ эту глушь не для доходовъ заключились и о навалѣ публики совсѣмъ не мечтаютъ. Въ прошломъ вѣкѣ, когда на Валаамѣ имѣлись еще частныя финскія владѣнія, на островѣ бывала ярмарка, дававшая монастырю большіе барыши. Но вотъ что писалъ тогда же первый описатель Валаама, академикъ Озерецковскій: «паче всего похвальна трезвость монаховъ, которую наблюдаютъ очень строго и не впускаютъ къ себѣ на островъ ни вина, ни водки, какъ только во время ярмарки, да и тогда не только сами напитковъ оныхъ не употребляютъ, но еще сожальютъ о постороннихъ, коимъ вино нравится, ропщутъ на привозящихъ оное, на цѣловальниковъ, и желаютъ, чтобъ лучше не было у нихъ ярмарки, нежели чтобъ во время оной привозилось горячее вино. Ибо хотя они совсѣмъ не пьютъ, но все-таки боятся, чтобъ кого нибудь изъ нихъ не соблазнилъ примѣръ прїѣзжихъ или не искусилъ дьяволъ». И къ концу игуменства въ Валаамскомъ монастырѣ о. Назарія, иноки добились своего: ярмарка была взята у нихъ и переведена въ Сердоболь.

Я бесѣдовалъ съ нѣкоторыми монахами по поводу суровости ихъ «нравственной таможи».

— Видите ли, получилъ я отвѣтъ, въ табакѣ, конечно, ничего особо преступнаго и грѣшнаго нѣтъ, но онъ—все же слабость человѣческая. А, когда человѣкъ допускаетъ въ себѣ одну слабость, сейчасъ же въ двери къ нему начинаетъ стучаться и другая. Допустимъ мы мірскихъ до куренія табаку, сейчасъ же и вино появится.

— Можно, отцы?—Уставомъ-то воспрещено... ну, да ужъ Богъ съ вами! пейте! что съ васъ взять? вы люди мір-

скіе!.. А за винцомъ, глядишь, и блудъ, и всякая пакость. И стануть люди въ нашу благодать ѣздить— не Богу молиться, но гулять и бражничать. А мы того совсѣмъ не хотимъ: и святому мѣсту—поруганіе, да съ мірскихъ и намъ соблазнъ нехорошій. Долго ли сбиться съ пути? Только одинъ шагъ ступи съ дороги, а тамъ уже и пошелъ вязнуть въ трясицѣ, пока не уйдешь въ нее съ головою... Вотъ почему мы такъ строго и крѣпко держимся за нашъ уставъ, не допускаемъ ему ни малѣйшаго премѣненія, и—кто къ намъ въ гости—долженъ жить по-нашему, а не по-своему.

Словомъ, мораль Валаама: «Коготокъ увязъ, — всей птичкѣ пропасть!» Въ суровой, подвижнической исторіи обители былъ короткій періодъ нравственного шатанія, — въ тридцатыхъ годахъ XIX столѣтія, при игуменѣ Веніаминѣ. Въ ряду настоятелей валаамскихъ, Веніаминъ былъ единственнымъ чужакомъ: онъ былъ назначенъ, вопреки исконнымъ правамъ валаамской братіи избирать игумена изъ своей среды, со стороны—изъ Коневскаго монастыря. Надо полагать, на желѣзномъ Валаамѣ, послѣ Коневца, ему пришлось туго, и онъ принялся было «умягчать нравы», причемъ нарушилъ рядъ старинныхъ обычаевъ и порядковъ Валаама и даже уклонился было отъ Саровскаго устава. Рядъ обвиненій, выставленныхъ монастыремъ противъ Веніамина, я читалъ въ одной рукописной хроникѣ. Проступки его—съ нашей мірской точки зрѣнія—были ничтожны: маленькія отступленія въ чинѣ богослуженія къ образцамъ другихъ монастырей,—отступленія, которыхъ, кромѣ самихъ иноковъ, пожалуй, ни одинъ и не замѣтилъ бы,—кромѣ, развѣ что, знаменитаго ритуалиста того времени, Андрея Николаевича Муравьева. Въ бытовомъ отношеніи, Веніамину былъ поставленъ въ вину лишь одинъ горькій упрекъ:

— Завелъ баню по пятницамъ, чего и въ столицѣ нѣтъ.

Не улыбайтесь, люди, ежедневно купающіеся въ ваннахъ, берущіе души въ патентованныхъ шкафахъ! Баня—

въ быту русскаго народа—своего рода обрядъ, и къ ней, какъ къ обряду, и относятся: онъ долженъ свершаться своевременно—по установленнымъ днямъ и въ установленномъ порядкѣ. Соблуди эту своевременность одинъ замѣчательный русскій историческій человекъ, быть можетъ, все теченіе временъ въ нашемъ отечествѣ, за послѣднія триста лѣтъ, имѣло бы совсѣмъ иное направленіе.

Всѣ князи-бояри къ обѣднѣ идутъ,  
Воръ Гришка-Разстрижка въ мыльню пошелъ;  
Всѣ князи-бояри отъ обѣдни пошли,  
Воръ Гришка-Разстрижка изъ мыльни идетъ,—

только и врѣзалось въ память народной пѣсни изъ всѣхъ винъ Лже-Дмитрія I, и, стало быть, сильно поразила негодованіемъ мыльня эта толпу, если запомнилась ей на три столѣтія...

Итакъ, повторяю: проступки Веніамина мірскому глазу представляются совершенно незначительными. Но коготокъ увязъ, и птичка стала пропадать. Монастырскій строй началъ быстро разлагаться и извнѣ, и внутри; поколебалось послушаніе, упала нравственность. Валаамская обитель быстрыми шагами шла въ разрядъ тѣхъ «шикарныхъ» монастырей, гдѣ монахи ходятъ въ бархатныхъ рясахъ, опрыскиваются французскими духами и получаютъ изъ кружечнаго сбора по 300—400 рублей въ мѣсяцъ. Но за Валаамомъ зорко слѣдилъ благочинный его—извѣстный проповѣдникъ, умнѣйшій, высоко образованный, истинно религіозный архимандритъ о. Игнатій Брянчаниновъ. По его представленію, Веніаминъ, послѣ пятилѣтняго игуменства, былъ убранъ на покой, за неспособностью, а на мѣсто его—взятый изъ пустынной кельи—посаженъ былъ на игуменское мѣсто простой, валаамскій же монахъ, Дамаскинъ,—умница изъ умницъ. Желѣзная рука Дамаскина круто повернула Валаамъ въ русло строгаго пустынножительства и не покидала руля сорокъ два года: съ 30 января 1839 года по 23 января 1881 года. Все, что есть хоро-

шаго на Валаамъ, помимо дивной его природы, сдѣлано Дамаскиномъ. Преемникамъ его пришлось лишь додѣлывать и развивать начатое, достраивать недостроенное, совершенствовать и украшать.

2.

— Господи Исусе Христе, сыне Божій, помилуй насъ!

— Аминь.

Аминь на Валаамъ, какъ и во всѣхъ русскихъ монастыряхъ, кромѣ обычнаго своего значенія, переводится еще на обиходный русскій языкъ словомъ:

— Войдите.

Молитва Исусова и отвѣтный аминь—монастырскіе пароль и лозунгъ у каждой запертой или затворенной двери. Хозяинъ открываетъ ее не раньше, чѣмъ посѣтитель прочитаетъ молитву Исусову, посѣтитель входитъ не раньше, чѣмъ услышитъ отъ хозяина пригласительный аминь. Съ человѣкомъ, не желающимъ соблюсти такого этикета, иной строгій въ уставѣ инокъ, пожалуй, и говорить не станетъ. И не только по обидѣ, что гость не хочетъ почтить монашескаго правила, но и... по осторожности. Разъ имя Исуса не звучитъ изъ вашихъ устъ, — Богъ знаетъ, кто вы такой? тотъ ли вы, за кого кажетесь? Можетъ быть, вы не произносите священныхъ словъ не по нехотѣнію или забывчивости, но потому, что не можете, не въ силахъ произнести ихъ? Не могу сейчасъ припомнить, о комъ именно изъ подвижниковъ валаамскихъ рассказывали мнѣ такое приключеніе. Подвижникъ вель отшельническую жизнь въ лѣсной кельѣ, версть за пять отъ монастыря. Случилось что-то важное. Игуменъ отправляетъ келейника передать подвижнику о происшествіи и просить его на совѣтъ. Келейникъ идетъ, стучитъ въ дверь кельи, входитъ, застаётъ старца на «умной молитвѣ», кланяется

и передаетъ порученіе. Старецъ — какъ статуя; молчить и хоть бы шелохнулся. Келейникъ повторяетъ слова свои разъ, другой,—та же мертвая неподвижность: ни отвѣта ни даже шороха, старикъ будто застылъ и только безстрастно смотритъ на келейника въ упоръ, какъ на пустое мѣсто. Келейнику стало страшно. Онъ вышелъ и побѣжалъ обратно въ монастырь—разсказать, что съ пустынникомъ творится что-то недоброе. И, лишь подходя къ обителю, онъ догадался, что, впопыхахъ спѣшнаго порученія, забылъ произнести священный валаамскій пароль. Возвратясь обратно, исполняетъ обрядъ точносью и принять старцемъ съ распростертыми объятіями.

— Отчего, батюшка, вы не отозвались мнѣ въ первый мой приходъ?—съ досадою пеняетъ онъ старцу.

— Да какъ же, сыне, ты безъ молитвы влѣзь? Я и подумалъ: а вдругъ ты—дьяволь?

— Помилуйте, батюшка! Неужто вы меня въ лицо не узнали? Да и какъ дьяволь можетъ монахомъ прикинуться?

— Э, сыне! Не знаешь ты его, окаяннаго. По первому началу, какъ я заключился въ пустыни, нечистые ко мнѣ чуть не каждый вечеръ ходили—и все въ образѣ монаховъ: навѣстить будто бы изъ монастыря,—либо гостей пріѣзжихъ: пришли молъ подивиться вашему подвижничеству. Ну, и соблазнъ: празднословіе, гордость духовная... мысли дурныя... По маломъ времени и понялъ я: а, вѣдь, это мнѣ отъ дьявола! Это ко мнѣ призраки, а не живые люди ходятъ. И порѣшилъ тако: отвѣчать только тѣмъ, кто приходитъ ко мнѣ съ молитвою Иисусовой, а предъ остальными молчать: кто ихъ разберетъ? люди они или черти? Дьяволу не то, что монахомъ, а и святѣ того скинуться не въ трудъ... Вонъ преподобнаго Исаакія, угодника кіевскаго, бѣсы во образѣ ангеловъ Христовыхъ обольстили!

— Такъ-то оно такъ,—только вотъ, батюшка, мнѣ, по осторожности вашей, приходится отломать пѣшкомъ, вмѣсто десяти версть, цѣлыхъ двадцать.

— Ничего, сыне! У тебя ноги молодья; на то и монахъ, чтобы трудъ принимать!..

Эту экспертизу: дьяволъ вы или нѣтъ?—живя въ монастырѣ, приходится испытывать съ утра до вечера. А въ три часа ночи, по безконечнымъ корридорамъ гостиницы, мчится, сломя голову, какъ веселый жеребенокъ, мальчишка — «будильщикъ» и, трезвоня огромнымъ колокольчикомъ, выпѣваетъ во все свое молодое горло опять-таки ту же провѣрочную молитву. Это—сигналь вставать къ заутренѣ и начало монастырскаго дня. Дальнѣйшая, неизмѣнно въ годахъ обращающаяся, программа его такова. Вставъ въ 3 часа, инокъ слушаетъ заутреню, а въ половинѣ пятаго раннюю обѣдню. Въ 6 часовъ разрѣшается чай. Въ половинѣ девятаго служится поздняя обѣдня. Въ 10 часовъ утра—обѣденная трапеза. Въ 3 часа дня—чай. Въ половинѣ седьмого—вечерня. Въ восемь—ужинъ въ трапезной. Въ девять—вечернее правило, въ десять—сонъ опять до трехъ часовъ утра. И, при вступленіи монастырскихъ сутокъ въ каждую изъ этихъ фазъ, «будильщики» мечутся мимо дверей вашихъ, самозабвенно заливаясь и звонкими голосами, и звонкими колокольчиками.

Валаамская гостиница—солидное бѣлое зданіе пятидесятихъ годовъ. Выстроилъ ее, конечно, Дамаскинъ. Въ ней 200 комнатъ, при четырехъ койкахъ на комнату, а по нуждѣ и болѣе, она способна вмѣстить до 1.000—1.200 богомольцевъ. Тѣмъ не менѣе, уже оказывается тѣсною, и настоящій игумень валаамскій, о. Гавріиль, долженъ былъ поднять надъ двумя этажами Дамаскиновой гостиницы новый третій. Приходъ парохода вызываетъ въ гостиницѣ невообразимую суету. Извѣстно, что изъ всего «женскаго сословія» на земномъ шарѣ русская баба отличается нарочитою способностью, въ одно мгновеніе ока, покрыть все видимое пространство сундуками, узлами и подушками. Извѣстно также, что счета своимъ сундукамъ, узламъ и подушкамъ она никогда не знаетъ и—всѣ ли они цѣлы, расте-

ряла ли она половину по дорогѣ—баба, все равно, воесть на голосъ, въ твердомъ убѣжденіи а ргіогі, что ее въ пути ограбили и обмошенничали, ибо, строго говоря,—только, истинно-христіанское милосердіе можетъ удержаться отъ искушенія ограбить и обмошенничать стравствующую русскую бабу; а на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ—истинно - христіанское милосердіе товаръ рѣдкій; тамъ больше соблюдается «одиннадцатая заповѣдь»: не зѣвай...

Когда сытый монастырскій конь поднялъ меня съ пристани на монастырскую гору, къ гостиницѣ, входъ въ послѣднюю былъ загражденъ чемодано-сундучно-подушечнымъ бастіономъ до непроходимости. Изъ за бастіона раздавались вопли и визги, точно изъ крѣпости, только что взятой отрядомъ амазонокъ. Это богомолки требуютъ у монаховъ помѣщенія. Монахи стоятъ въ свѣтлыхъ и широкихъ пролетахъ огромной, въ два марша, лѣстницы, надъ которою красуется большой образъ Богоматери, и съ холоднымъ спокойствіемъ привычки отражаютъ бабій прибой. На послушаніе въ гостиницѣ, конечно, ставятъ людей посмышленѣе и пообходительнѣе. Разсовать наѣзжихъ по четверо въ номеръ не трудно, но задача осложняется «дружбою, родствомъ и свойствомъ». Каждому и каждой хочется устроиться вмѣстѣ съ своими, и всѣ отнѣкиваются попасть въ чужую компанію. Къ тому же, монастырь не допускаетъ сожителства мужчинъ и женщинъ въ одной кельѣ, — такъ что, на срокъ гостеванья на Валаамѣ, всѣ браки временно расторгаются *de facto*. Супруги не общаются ни въ ложѣ, ни въ трапезѣ: женская столовая, на 500 душъ, помѣщается тутъ же въ гостиницѣ, а мужчины должны питаться въ «братской» —ходить въ самый монастырь.

«Братская трапеза» — великая школа противъ той эгоистической, преувеличенной брезгливости, которою мы, люди культурные и избалованные, въ значительной степени отравляемъ себѣ жизнь. Не думайте, по слову «брезгли-

вость», чтобы трапеза представляла собою что либо неряшливое, противное. Напротив: длинная зала, съ иконостасомъ въ глубинѣ, подъ низенькимъ потолкомъ, блестя чистотою. Полы, красныя скамьи, столы, вытянутые двойнымъ покоемъ или старинною буквою «Т», старательно вымыты; нигдѣ ни соринки, ни пятнышка. Скользнетъ въ маленькое окошечко, по глубокому косому подоконнику, солнечный лучъ, и весело заиграютъ на столахъ огромныя жестыя енды, съ привѣсными къ нимъ ковшами, налитыя острымъ монастырскимъ квасомъ. На каждой четырехъ сотрапезниковъ полагается одна такая енда, и одинъ ковшъ. Затѣмъ вся остальная посуда состоитъ изъ одной глиняной или деревянной чашки и деревянной же ложки на человѣка. Скатертей нѣтъ. Если понадобится салфетка, надо выдвинуть ящикъ въ столъ: тамъ лежатъ продолговатыя кусочки холста, правду сказать, мало соблазнительныя къ употребленію. Когда вы входите въ трапезную, вы видите: въ ожиданіи начала обѣда, и монахи, и міряне чинно сидятъ—спинами къ столамъ, лицами другъ къ другу. Усѣсться за столъ, показавъ тыль сидящимъ за другимъ столомъ, прежде, чѣмъ очередной іеромонахъ благословитъ «яства и питіе», — неприличіе, въ которое то и дѣло впадаютъ міряне... увы! отъ нихъ же первый былъ азъ. Міряне сидятъ за отдѣльнымъ отъ монашества столомъ, хотя служающіе послушники часто къ нимъ подсаживаются, не имѣя другого мѣста. При входѣ въ братскую, трапезникъ, сѣдой, но бодрый монахъ, спрашиваетъ мірскихъ гостей: будутъ они говѣть или нѣтъ? Если нѣтъ, сажаетъ за общій столъ, если да, отдѣляетъ въ особую группу, которая получаетъ тотъ же постный обѣдъ, что и всѣ, но безъ масла. Съ нашей мірской точки зрѣнія, на Валаамѣ всѣ дни постныя: не говоря уже о мясѣ, даже яицъ никогда не употребляется въ пищу; но четыре раза въ недѣлю—по вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и пятницамъ—разрѣшаются молочныя продукты, впрочемъ, въ

самомъ ограниченномъ количествѣ. По крайней мѣрѣ, служба въ гостиницѣ, веселый и бодрый малый изъ солдатъ, принося мнѣ въ сказанные дни молочную порцію, всегда имѣлъ видъ таинственный, точно онъ удачно провезъ нѣкую контрабанду. Графинь съ молокомъ онъ извлекалъ изъ бездонныхъ кармановъ своего подрясника—скорѣе бураго, чѣмъ чернаго,—и, хвостовски щелкнувъ по посудинѣ, точно она была не съ простымъ молокомъ, но съ нектаромъ олимпійскимъ, подмигиваль мнѣ и восклицаль:

— Двойная порція!.. Скупъ у насъ на скотномъ «хозяинѣ» на молоко,—охъ, скупъ!

Эти молочныя благодѣянія онъ оказываль мнѣ, какъ и всѣ услуги, совершенно безкорыстно. Когда я хотѣлъ, передъ отъѣздомъ, дать ему денегъ,—служба руками замахаль:

— Какъ можно?! Воспрещается!

Дѣйствительно, въ каждой гостиничной келіи на стѣнкѣ виситъ таблица правилъ, обязательныхъ для валаамскаго богомольца, и статья вторая правилъ этихъ гласитъ: «Не оказывать никому здѣсь частныхъ благотвореній, а добротное свое приношеніе полагать въ общую кружку на пользу св. обители, такъ какъ, по правиламъ общежитія, никто изъ живущихъ въ монастырѣ не имѣетъ права пріобрѣтать отдѣльной собственности». Подобныя предостереженія имѣются и въ другихъ монастыряхъ, но во многихъ они—мертвая буква, формальная бумаженка, безъ нужды забытая на стѣнѣ. Валаамъ же блюдетъ обѣтъ нестяжанія по правдѣ. За все свое пребываніе тамъ, я не видалъ ни разу, чтобы монахъ или послушникъ приняли отъ богомольца деньги или подарокъ,—безъ игуменскаго благословенія; не видалъ я и того ухаживанія за богатыми и щедрыми гостями, какимъ такъ обычно и такъ печально профанируются столичныя и подстоличныя лавры. Монахи здѣшніе, какъ бы говорятъ посѣтителю:

— Кто ты такой, намъ рѣшительно все равно. Ты къ намъ пришелъ, а не мы къ тебѣ. Слѣдовательно, живи здѣсь, сколько хочешь, но соотвѣтственно намъ. Вотъ тебѣ—на общемъ положеніи, келья, трапеза. Святыня—предъ тобою. Живи, питайся, молись—и намъ не мѣшай, какъ мы тебѣ не мѣшаемъ. Мы здѣсь заняты своимъ дѣломъ. Мы сами по себѣ, а ты самъ по себѣ.

Есть монастыри, гдѣ—что ни шагъ, то часовня «съ достопримѣчательностью», а у часовни дежурить монашекъ, на обязанности котораго лежитъ—не пропустить богомольца, не ознакомивъ его съ «святынею» и не получивъ за то мзды. Русскій человекъ на святыню даетъ охотно, и, на богомольи, было бы востребованіе, а пятаки изъ мужицкаго кошельа, рубли изъ обывательскаго бумажника летятъ невозбранительно.

— Какъ сквозь строй прошли!—даже хвастался, помню, ѣдучи со мною изъ Сергіева посада, средней руки, купецъ и хлопаль по колѣну сильно отощавшимъ портфелемъ.

Ничего подобнаго такому «сквозь строй» нѣтъ на Валаамѣ, хотя если бы мѣстные иноки захотѣли эксплуатировать свои достопримѣчательности, то могли бы извлекать доходъ на каждой квадратной сажени монастырскихъ владѣній. Дамаскинъ покрылъ острова стѣтью скитовъ и часовенъ. Но въ иные скиты даже и не проникнешь безъ особаго дозволенія. Въ большой скитъ Всѣхъ Святыхъ, женщины допускаются лишь одинъ разъ въ году, на праздникъ Всѣхъ Святыхъ, въ первое воскресенье послѣ Троицына дня; въ Предтеченскій скитъ онѣ не имѣютъ доступа вовсе, и не только въ скиту, но и на островѣ, гдѣ онѣ возвышается, не бывала женская нога. Мужчины же посѣщаютъ «Предтечу» лишь съ особаго благословенія, даваемого игуменомъ въ рѣдкихъ случаяхъ и со строгимъ разборомъ. Часовни, кресты и памятники Валаама тоже бездоходны. Сразу видишь, что ставили ихъ

для души, а не для кармана. Прежде всего, часовни эти, затерянные въ хвойной глуши, никогда не запираются и никѣмъ не охраняются. Идешь лѣсною тропинкою, переступая чрезъ пестрые, обомшенныя валуны и гигантскіе стволы поверженныхъ сосенъ и елей,—вдругъ, гдѣ нибудь, на поворотѣ мелькнетъ крохотное зданьице, увѣнчанное крестомъ, и такъ и манить тебя: зайди и—коли хочешь молиться, помолись, а не хочешь, отдохни на ступенькахъ, слушай величавый гулъ лѣса и дальній плескъ озера, воздушный звонъ настѣкомыхъ, пѣніе малиновки и пронзительный визгъ ястребовъ въ небесныхъ кругахъ. Игуменъ Дамаскинъ, несмотря на свое мужицкое происхождение и отсутствіе образованія, обладалъ рѣдкимъ художественнымъ вкусомъ. Покойный пейзажистъ И. И. Шишкинъ, долго гостившій на Валаамѣ, рассказывалъ объ этомъ замѣчательномъ монахѣ:

— Соберемся, бывало, мы, художники, на отъѣздъ изъ монастыря,—Дамаскинъ сейчасъ же къ намъ въ гости: показывайте, господа, что написали за лѣто! Смотрить, хвалить, порицаетъ. И—какъ разъ похвалить именно тѣ этюды, которые, дѣйствительно, удались. Критиковалъ, какъ художникъ, не какъ публика. А то поведетъ съ собою въ лѣсъ: вы вотъ что нарисуйте! вотъ этотъ видъ, эту скалу, это дерево, это озерко... Смотришь: дѣйствительно, красота поразительная! гдѣ только глаза были, что раньше не написалъ?

Рѣдкую художественность вкуса Дамаскинъ обнаружилъ и въ размѣщеніи по Валааму священныхъ памятниковъ. Онъ занялъ ими, положительно, самыя прекрасныя, чарующія взоръ и охватывающія душу высоты Валаама. Ширококрылое поэтическое воображеніе надо было имѣть, чтобы такъ мѣтко и величаво увѣнчать гигантскими крестами мрачныя обрывы Никонова мыса, Чернаго Носа, Глухого озера, Предтеченскаго скита; стоишь на этихъ обрывахъ, любуешься видомъ и думаешь:

— А дай-ка я отойду влѣво или вонъ туда вправо. Быть можетъ, оттуда еще красивѣе...

Ходишь, выбираешь разныя точки зрѣнія,—нѣтъ! все хуже. Красивѣе всего открывается мѣстность всегда и вездѣ именно оттуда, гдѣ водруженъ «Дамаскиновъ крестъ». И недаромъ богомолецъ, какъ придетъ или приплыветъ къ такому кресту, такъ и сидитъ у подножія его часами—въ нѣмомъ созерцаніи развернутой предъ нимъ красоты. Вѣчная природа—предъ очами, вѣчный символъ Любви въ природѣ—надъ головою.

Иногда въ лѣсной часовенкѣ застанешь читающаго монаха. Если вы сами не заговорите съ нимъ, онъ не обратитъ на васъ вниманія, не повернетъ къ вамъ головы. Это—монахъ на прогулкѣ. Между ними не мало страстныхъ любителей природы, натуръ художественныхъ, экстаическихъ. Гулять по лѣсу безъ толку монахамъ не полагается. «Еще прошу васъ, отцы святыя и братіи», гласитъ одно поученіе Дамаскиново, «безъ благословенія въ лѣсъ съ богомольцами не ходить, по пустынямъ и скитамъ ихъ не водить,—соблазнъ быть можетъ и что другое въ худую сторону можетъ быть толковано, такъ и св. Исаакъ Свирскій говоритъ: монахъ соблазливый не узритъ свѣта». Да и самый уставъ Валаамскій, четырнадцатою главою своею, воспрещаетъ монахамъ лѣсныя скитанія. Но съ тѣхъ поръ, какъ лѣсъ усѣянъ часовнями, любители природы могутъ проводить въ немъ часы своего досуга, безъ опасенія впасть въ ослушаніе устава. Въ каждой часовнѣ имѣется незапираемый ящикъ, и въ немъ псалтирь и требникъ. Въмѣсто того, чтобы свершать свое келейное правило въ стѣнахъ монастыря, монахъ-любитель природы идетъ въ лѣсную часовню. Прочитаетъ здѣсь, что полагается, и идетъ къ слѣдующей часовнѣ, версты за двѣ, за три, здѣсь почитаетъ, на возвратномъ пути опять приостановится на первомъ, такъ сказать, молитвенномъ этапѣ...

— Хорошо!— говорят эти энтузіасты,—лѣсъ кругомъ шумить, солнышко сквозь хвою свѣтитъ, на устахъ Божьи слова, въ умѣ Божьи мысли. Часовенка кипарисовая, благоуханная. А тутъ и могилка рядомъ чья нибудь подвижническая... Николая-схимника, Серафима, либо отца Антипы... Памяти-то какія! примѣръ-то какой! Какъ же душѣ не играть и не возноситься въ горнія?

Одинъ изъ энтузіастовъ — о. Петръ — сочинилъ, въ благоговѣйныхъ прогулкахъ своихъ, длинное стихотвореніе: «О, дивный островъ Валаамъ!» Простодушное и не особенно стройное по формѣ, оно дышетъ страстною привязанностью къ воспѣваемому острову, не лишено вдохновенія и дѣйствуетъ на читателя, настраивая его на настоящій валаамскій ладъ, въ аккордъ съ спокойнымъ величіемъ этого святого сѣвера. И монахамъ, и богомольцамъ стихотвореніе пришлось по сердцу. «О, дивный островъ Валаамъ!» — сейчасъ нѣчто вродѣ мѣстнаго національнаго гимна. На пароходахъ, перевозящихъ паломническія толпы къ отдаленнымъ святынямъ Валаама, пѣвчіе—послѣ установленныхъ на случай подобныхъ плаваній молитвъ—обязательно поютъ гимнъ о. Петра. Напѣвъ простой, медлительный, спокойно-свѣтлый.

Итакъ, обѣтъ нестяжанія исполняется Валаамомъ еще по древней правотѣ. Въ монастырской хроникѣ я нашель нѣсколько любопытныхъ и яркихъ тому примѣровъ. Не обращаясь къ глубокой старинѣ, возьму кое-какіе образцы изъ временъ Дамаскина († 1881) и Ионаана († 1891). Во-первыхъ — однородныя, до точнаго повторенія, эпически простыя и величавыя завѣщанія обоихъ игуменовъ: «Живя среди васъ, по закону общежитія, я не стяжалъ никакой собственности; поэтому не стѣсняйтесь составленіемъ описи, исканіемъ наслѣдниковъ и храненіемъ оставшихся въ келіи моихъ вещей; но немедленно, по кончинѣ моей, возвратите по хозяйствамъ». То есть — передайте въ тѣ отдѣлы монастырскаго управленія, откуда

какая вещь выдана была игумену, какъ бы въ пожизненное пользованіе: иконы, облаченіе—въ ризницу, книги—въ библіотеку и т. д. Здѣсь ни у кого нѣтъ ничего своего. Дамаскинъ, въ годы своего послушанія, былъ подъ началомъ у старца Евфимія, строгаго аскета. Какъ послѣдній отучалъ учениковъ своихъ отъ соблазна собственности,—типично покажетъ слѣдующій эпизодъ.

— Что это у тебя за икона въ кельѣ?—спрашиваетъ Евфимій Дамаскина.

— Родительское благословеніе...

— Она у тебя лишняя. Отдай ее въ церковь.

Дамаскинъ — тогда еще послушникъ Даміанъ — даже словомъ не возразилъ противъ суроваго требованія и, подавивъ боль сердечную, немедленно разстался съ иконою — родительскимъ благословеніемъ и послѣднимъ воспоминаніемъ мірской, виѣ-валаамской жизни. Іонаѳанъ, въ бытность свою послушникомъ, былъ строго наказанъ своимъ старцемъ, о. Памвою и Дамаскиномъ, уже игуменомъ, только за то, что осмѣлился принять въ подарокъ отъ посторонняго монаха просфору.

— Принимая отъ кого что либо, мы, естественно, испытываемъ желаніе отплатить подарокъ и, такимъ образомъ, мало-по-малу, сами того не замѣчая, сойдемъ съ прямого пути и пойдемъ противъ правилъ устава общежитія. Мы не за мзду должны трудиться, а лишь ради Бога, и не вводить другъ друга въ соблазнъ. Знай, что за просфору ты продалъ свою совѣсть. Снеси же ее обратно тому, отъ кого взялъ, и впередъ будь осторожнѣе.

Дамаскина — въ пустынькѣ его, за шесть верстъ отъ монастыря — посѣтили богомольцы, выпросили у него деревянныхъ ложекъ, дѣланіемъ которыхъ онъ убивалъ скуку зимняго досуга, предлагали ему денегъ, онъ не взялъ. По уходѣ гостей, Дамаскинъ замѣтилъ между книгами подброшенную къ-то изъ посѣтителей пятирублевую бумажку. Огорченный, смущенный, разстроенный, онъ тот-

часъ же заперъ свою келью и зашагалъ, за шесть верстъ, въ монастырскую гостиницу, здѣсь разыскалъ своихъ недавнихъ гостей и—къ крайне неловкому изумленію ихъ—положилъ предъ ними на столъ злосчастную бумажку.

— Нехорошо, господа, такъ искушать монаховъ!—сказалъ онъ.

— Но, батюшка, мы отъ чистаго сердца, по усердію...

— Какое въ деньгахъ усердіе? Нехорошо!

И, поспѣшно выйдя изъ кельи, отправился обратно въ пустынь. Таковъ же остался Дамаскинъ и на игуменствѣ.

— Батюшка,—говоритъ ему одинъ изъ послушниковъ, позвольте мнѣ съѣздить въ Пестербургъ—за получкою долга.

— Какого долга?

— Да порядочнаго: въ полтораста рублей. Получу ихъ и сейчасъ же назадъ пріѣду.

— А зачѣмъ они тебѣ, полтораста рублей-то?

— Я хотѣлъ бы отдать ихъ монастырю.

Дамаскинъ отказалъ рѣшительно.

— Вотъ что, братъ,—сказалъ онъ.—Если бы ты обѣщаль привезти въ обитель не только полтораста, но полтора-раста тысячъ рублей, и то я не совѣтую тебѣ ѣхать. Душа твоя, которую ты повезешь въ міръ, дороже денегъ, а, Богъ вѣсть, оттуда воротишься ли? Оставайся-ка, братъ, здѣсь; пусть пропадаютъ деньги, да душа твоя цѣла будетъ.

Что Валаамъ не слишкомъ заботится о милостивцахъ и милостынѣ въ свою пользу, лучше всего доказываетъ нищета его ризницы. Здѣсь нѣтъ и помина объ изумрудныхъ и брилліантовыхъ оплечьяхъ, о кладахъ, грудахъ золотыхъ цѣпей, ведеркахъ съ окатнымъ жемчугомъ, которымъ дивятся паломники въ Троице-Сергіевой или Кіевопечерской лаврѣ. Почти нѣтъ и древностей. Что Валаамъ не богатъ послѣдними, неудивительно: вѣдь, монастырь неоднократно разорялся финнами и шведами, которые вырѣзывали монаховъ почти поголовно и не оставляли въ обители камня на камнѣ. Самыя мощи пр. Сергія и Германа, съ 11-го сен-

тября 1180 года скрыты — отъ возможности повторенія шведскихъ неистовствъ — въ глубокой-глубокой гранитной могилѣ. Священная могила находится подъ соборною церковью монастыря. Насколько точно опредѣляетъ ея положеніе надземная рака святыхъ, — сказать трудно. Въ рукописномъ жизнеописаніи о. Дамаскина я нашель намекъ, что отнюдь не всѣмъ, по крайней мѣрѣ инокамъ, извѣстно подлинное мѣстонахожденіе гробницы Сергія и Германа. По смерти Дамаскина, одинъ монахъ видитъ себя во снѣ — среди церкви, восхищеннымъ до райскаго восторга. Онъ не можетъ понять, почему ему такъ хорошо, и предполагаетъ.

— Ужъ *не здѣсь ли* именно мѣсто, гдѣ погребены свв. Сергій и Германъ, *которое мы ищемъ?*

Да иначе и быть не могло, что тайна сохранялась лишь между нѣкоторыми. Если бы хорошо была извѣстна точка, спустивъ откуда щупъ, можно добраться до мощей, то, конечно, шведы и финны уничтожили бы святыню въ наѣздъ свой XVII вѣка, когда они, еще недавніе протестанты, пылали иконоборческимъ фанатизмомъ. Между иноками было много мучениковъ за родную обитель, но могъ найтись и предатель. Вотъ почему секретъ мощей долженъ былъ переходить лишь изъ немногихъ устъ въ немногія уста, какъ бываетъ во всякой гонимой церкви. Шведы захватили Валаамъ въ 1611 году и покушенія ихъ добить разрушенную уже святыню осквернѣніемъ гробницы ея основателей не прекращались въ теченіе цѣлаго столѣтія. Въ 1696 году архимандритъ Макарій билъ челомъ царямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ о разрѣшеніи перенести священный прахъ св. Сергія и Германа въ управляемый имъ Тихвинскій монастырь — именно, во избѣжаніе продолжающихся поруганій. Ходатайство удовлетворено не было. Почему — неизвѣстно. Быть можетъ, по причинамъ дипломатическимъ; быть можетъ, именно въ виду трудности предложеннаго Макаріемъ предпріятія, быть мо-

жать, наконецъ, потому, что не теряли на Руси надежды рано или поздно возстановить монастырь, какъ надежнѣйшую крѣпость русскаго начала. Возстановить же на Валаамѣ монастырь, послѣ того, какъ унесена будетъ исконная и коренная основа его, знаменитыя на всю Россію мощи, представлялось невозможнымъ ни патріарху, ни царскому совѣту. Однако, есть преданіе, что, когда возобновитель валаамскаго общежитія, игумень Назарій, созидаль соборный монастырскій храмъ, то, при рытьѣ ровъ для фундамента, священныя гробницы обнажились: былъ видимъ склепъ, а въ немъ широкая могильная плита. О. Назарій поспѣшилъ задѣлать отверстіе въ склепѣ и запретилъ братіи даже говорить о нечаянномъ открытіи. Вторая, уже преднамѣренная, попытка проникнуть къ священнымъ тѣламъ случилась, будто бы, при игуменѣ Іонаѳанѣ, въ концѣ двадцатыхъ годовъ истекающаго столѣтія. Онъ, съ нѣкоторыми изъ братій, попытался извлечь мощи изъ ихъ вѣковой усыпальницы и, въ ночное время, разобралъ каменный сводъ надъ могилою. Но, когда монахи приступили къ надгробной плитѣ, то — по преданію — вся могила внезапно наполнилась огнемъ. Іонаѳанъ съ товарищами, охваченные паникою, въ ужасѣ бѣжали. Слѣды свода, разобраннаго ими при этой ночной работѣ, были видимы въ соборномъ подземельи еще при Дамаскинѣ, — онъ убралъ съ таинственной плиты набросанные Іонаѳаномъ камни и засыпалъ ее бѣлымъ пескомъ. Трудившіеся надъ этимъ дѣломъ рабочіе сказывали потомъ, что плита находится, дѣйствительно, какъ разъ подъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ въ соборѣ стоитъ серебряная рака.

3.

Негромкій, но ясный ударъ въ гонгъ. Вся трапезная встаетъ на ноги, словно отъ электрическаго толчка, — какъ одинъ человекъ. Хоръ монаховъ поетъ молитву...

— Благослови!

Трапеза благословлена. Короткій шумъ, шарканье ногъ... Служки—совершенная стая черныхъ муравьевъ—чинно, но быстрымъ шагомъ бѣгутъ въ поварню и, возвращаясь, такими же быстрыми движеніями бросаютъ на столы миски съ ѣдою, тоже по одной на каждыхъ четырехъ чело-вѣкъ. Монастырскій обѣдъ имѣетъ четыре перемѣны: хо-лодное, щи, кулешъ и кашу. Холодное—это ботвинья, квасная похлебка съ овощами, или просто то удивительное кушанье, о которомъ поется въ русской пѣснѣ:

Дадутъ капусты мнѣ съ водою,  
И ѣмъ; ажъ за ушми трещить!

Монастырскій этикетъ требуетъ, чтобы холодное гости хлебали изъ общей миски, а не разливали по своимъ площ-камъ. Кто не исполнитъ этого, тому, волею-неволею, при-дется ѣсть изъ той же чашки и два слѣдующіе супа, что, разумѣется, не ахти какъ вкусно. Въ первый разъ, я, ко-нечно, проштрафился противъ этого обыкновенія и былъ наказанъ страшною безвкусицею, которую пришлось по-томъ глотать, а во второй... ужъ очень сосѣдъ мой, здоро-венный паренъ, у котораго подъ спинжакомъ рубашка была, какъ сажа, бѣла, усердно и аппетитно облизывалъ свою ложку послѣ каждаго погруженія ея въ общую миску. Ну, вижу, — человѣку нравится... пусть ужъ его одинъ ѣсть, а я потерплю! Кашу тоже ѣдятъ сообща, но почему-то это меньше смущаетъ, хотя смакованье и облизыванье ло-жекъ кругомъ идетъ еще вящее. А, впрочемъ, все про-ходитъ въ этомъ мірѣ—преходящи и дурное чувство брез-гливости и баловство вкуса. Послѣ перваго монастырскаго ужина, къ тому же въ постный день, я всталъ голодный, пото-му что все казалось мнѣ не по нутру, ко всему прикоснулся только ради приличія, чтобы не возбудить косыхъ взгля-довъ въ сосѣдяхъ—это, молъ, что еще за нѣженка? Коли ты хочешь барствовать, такъ въ Питерѣ сиди, по француз-скимъ ресторанамъ ходи, а тутъ тебѣ разносоловъ не при-

готовлено!.. Но затѣмъ,—какъ встанешь утромъ въ четвертомъ часу, да, проглотивъ въ шесть стаканъ-другой пустого чаю, не имѣешь во рту крохи хлѣба до десяти, а между тѣмъ отломаешь по лѣсу версть пять-семь, да приличіе требуетъ, чтобы ты показался хоть на четверть часа за которою нибудь изъ двухъ обѣденъ,—такъ даже начинаешь мечтать:

— А недурно бы теперь сидѣть въ трапезѣ и хлебать горячій кулешъ съ соленой рыбкой или щи со снѣтками, — ничуть не обращая вниманія на своего сосѣда: кто онъ, какъ одѣтъ, какъ онъ сопить носомъ, и есть ли у него сыпь на лицѣ...

Впослѣдствіи, «съ благословенія о. игумена», я обѣдалъ и ужиналъ у себя въ кельѣ, но не по безразличности; я уже акклиматизировался и — какъ нѣкогда въ пѣшемъ путешествіи своемъ черезъ Кавказъ — привыкъ къ мысли, что ножъ и вилка не болѣе, какъ предразсудокъ, и что грязные пальцы сосѣда, опущенные въ общую сольницу, ничуть соли не портятъ и аппетиту обѣдающихъ не вредятъ. Меня просто избавили отъ потери времени — идти изъ гостиницы въ монастырь, ждать, пока соберутся вся братія и гости, слушать сравнительно долгое молитвословіе и т. д.

Когда привыкнешь къ монастырскому столу, онъ совсемъ не дурень. Даже удивительно, какъ иноческая кухня ухитряется разнообразить свои меню, при ничтожныхъ средствахъ, оставленныхъ въ ея распоряженіи суровыми ограниченіями устава. Но, съ непривычки, людямъ набалованнымъ, конечно, приходится туго. Передъ самымъ отѣздомъ съ Валаама, судьба послала мнѣ оригинальную встрѣчу. Только что пришелъ пароходъ «Петръ», въ гостиницѣ обычная суета и, какъ выражался покойный Лѣсковъ, «толпучка». Вдругъ слышу:

— Александръ Валентинович!

Гляжу и глазамъ не вѣрю: предо мною Ф. А. З—ъ — какъ сказать, король петербургской гастрономіи. Появле-

ніе его въ этомъ отшельническомъ царствѣ, гдѣ люди не живутъ, чтобы ѣсть, но лишь кое-какъ ѣдятъ, чтобы жить, было столь необыкновенно, что я невольно расхохотался.

— Ужъ не «искушеніе» ли вы? Быть можетъ, если прочитатъ молитву Іисусову, такъ вы сейчасъ прахомъ и разсыпетесь?

— Какое тамъ искушеніе! Просто пріѣхалъ съ семьею полюбопытствовать, что за Валаамъ такой. Говорятъ, — красиво.

— Красивѣе не бываетъ. Ну, а ѣсть-то что же вы будете?

На лицѣ короля гастрономіи заиграли грустныя тѣни.

— Да, знаете ли... А, впрочемъ, хлѣбъ чернѣй у нихъ очень хорошъ...

Я съ чувствомъ пожалъ этому доброму и вѣжливому человѣку руку и воскликнулъ:

— Федоръ Андреевичъ! Вы оптимистъ.

Однако, при всемъ оптимизмѣ, мои туристы валаамскаго режима не выдержали—и сбѣжали съ первымъ же случайнымъ пароходомъ въ Финляндію.

Какъ уже говорено было, монашеская трапеза допускаетъ рыбу и коровье масло только четыре раза въ недѣлю, причемъ рыба эта—сиѣтокъ и вываренные до тѣстоподобія кусочки соленой лососины. Остальное время братія питается овощами съ постнымъ масломъ, а въ великій, успенскій и рождественскій посты — безъ масла, кромѣ немногихъ праздничныхъ дней. Въ скитахъ Всѣхъ Святыхъ, Іоанна Предтечи, Коневской Божіей Матери, Святого Острова скоромнаго масла никогда не вкушаютъ, а въ три постные дня недѣли не ѣдятъ и растительнаго. Еще очень недавно предтеченскимъ отшельникамъ воспрещенъ былъ и чай, — и лишь архіепископъ Антоній, въ настоящее время митрополитъ петербургскій, разрѣшилъ имъ этотъ напитокъ.

— Истинное это намъ благодѣяніе, — говорилъ мнѣ

«хозяинъ» предтеченскій, о. Назарій.—Изъ старцевъ, которые здѣсь спасаются, иные не пользуются разрѣшеніемъ, отвергаютъ его, считая за новшество. Но намъ, находящимся у Предтечи на послушаніи, чай—единое спасеніе. Пища растительная безъ масла... какъ тутъ безъ чаю обойтись? Особенно, зимою, какъ ударятъ морозы да съ сѣвера вѣтры потянуть...

Чай, вообще, не очень давнее явленіе на Валаамѣ. Онъ проникъ въ монастырь лишь въ концѣ двадцатыхъ годовъ, при игуменѣ Иннокентіи. До тѣхъ же поръ—какъ рассказываетъ въ рукописной автобіографіи своей о. Дамаскинъ—«въ большіе праздники, послѣ обѣда, въ три часа, варили въ котлѣ шалфей съ краснымъ медомъ, и этотъ сбитень всѣ пили въ трапезѣ изъ деревянныхъ чашекъ; каждому брату давали двѣ такихъ чашки; одна замѣняла стаканъ, а другая блюдецѣ». И въ настоящее время многіе иноки уклоняются отъ чаю, замѣняя его наборомъ сушеныхъ травъ. Но, въ общей массѣ, монахи—не только усердные, но, можно даже сказать, экстагическіе чаепійцы. Чай—непреодолимая потребность ихъ иструдившагося тѣла, требующаго для поддержанія силъ своихъ хотя бы слабого наркотика. Чаи въ монастырѣ употребляются хорошихъ сортовъ, но простые: цвѣточныхъ иноки избѣгаютъ и боятся,—отъ нихъ волненіе въ крови, дурныя мысли и тяжелые сны.—Думаешь согрѣться,—сказалъ мнѣ странникъ на пароходѣ,—анъ выходитъ искушеніе!

Казалось бы, что столь недостаточное питаніе, при массѣ физическаго труда, выпадающаго на долю валаамскаго монаха, должно истощать эту группу постниковъ-энтузіастовъ, обращать ихъ въ людей вялыхъ, безсильныхъ, малокровныхъ. Но нервный ли подъемъ въ нихъ такъ великъ, благодатный ли воздухъ острова такъ дѣйствуетъ,—только на Валаамѣ почти не видишь больныхъ, а, если замѣтишь страдальческое, недужное лицо, можно заранѣе смѣло утверждать: это недавній сюда пришелецъ, въ ко-

торомъ еще не перегорѣли привычки внѣ-монастырской жизни, и который не успѣлъ еще приспособиться ни духовною, ни тѣлесною организаціею къ валаамскому строю. Правда, на Валаамѣ нѣтъ и тѣхъ румяныхъ, толстощекихъ лицъ и обширныхъ чревъ, что такъ нерѣдко встрѣчаются въ богатыхъ монастыряхъ средней Россіи: идетъ монахъ, ликъ у него лоснится, и—вотъ-вотъ изъ глазъ, вмѣсто покаянныхъ слезъ, стерляжья уха полетится... Общій типъ валаамскаго монаха—сухой, мускулистый, костлявый человекъ, съ загорѣлымъ, рабочимъ цвѣтомъ лица, быстрою и твердою походкою. Народъ сильный и выносливый гораздо болѣе, чѣмъ общаетъ первый взглядъ на нихъ. Я все жалѣлъ, про себя, о. Андрея, рясофорнаго монаха, даннаго мнѣ о. игуменомъ въ проводники по Валааму: трудно, думаю, ему,—вѣдь кости да кожа, въ чемъ душа держится!.. А «кости да кожа», какъ ни въ чемъ не бывало, отстоятъ всѣ положенныя монастырскія службы, да потомъ—въ лодку и гребутъ, не покладая рукъ, по шести часовъ сряду, на Никоновъ мысъ или Предтеченскій островъ. Вернемся,—отдохнуть часокъ и опять стучить ко мнѣ:

— Не поплыть ли намъ къ Большому скиту?

— Да вѣдь вы устали? Мнѣ совѣстно васъ мучить.

— Вотъ еще! отчего тутъ устать?!

Вообще, никогда не сознавалъ я, что гигиена есть дѣло условное, въ большей мѣрѣ, чѣмъ на Валаамѣ. Если изложить условія иноческаго быта любому гигиенисту, послѣдній неминуемо долженъ сказать:

— Эти люди живутъ только по недоразумѣнію; по наукѣ каждый изъ нихъ уже лѣтъ двадцать пять какъ покойникъ.

Между тѣмъ, достаточно пройтись по монастырскому братскому кладбищу, чтобы убѣдиться, что недоразумѣніе долготѣя на Валаамѣ явленіе исконное, постоянное, массовое. Плиты и простой булыжникъ надъ могилами схимниковъ сверкаютъ удивительными датами. Умеръ 88, 84, 80, 88, 95 лѣтъ...

— Онъ еще человѣкъ не старый: ему всего семьдесятъ лѣтъ,—сказалъ мнѣ монахъ про особо чтимаго теперь въ обители іеросхимонаха о. Алексія.

Изъ историческихъ лицъ Валаама—игумень Назарій умеръ 74 лѣтъ, Иннокентій—85, Варлаамъ—83, Дамаскинъ—86, Іонаванъ II—75, духовникъ Антоній—78, іеросхимонахъ Никонъ—80, схимонахи Николай—72, Сергій—80, Михаилъ—81, Серафимъ—83, Θεоктисть—77, монахъ-миссіонеръ Германъ—81, монахъ Афанасій—80, и т. д., и т. д. Цифры поразительныя; на мірскихъ кладбищахъ онѣ попадаются лишь въ видѣ исключенія, здѣсь онѣ—общее правило. Смерть въ среднемъ возрастѣ, не только въ молодыхъ годахъ, на Валаамѣ—рѣдкость изъ ряду вонъ. Въ книгу «Валаамскіе подвижники» занесенъ, между прочимъ, послушникъ Василиій: жертва черезчуръ суроваго поста, который этотъ юноша принялъ на себя, не по силамъ своего молодого желудка. Онъ умеръ 22 лѣтъ. «Скончался вмалтѣ исполнь лѣта долга, угодна бо бѣ Господу душа его»—величественно говоритъ монастырскій некрологъ. Среди святыхъ, изможденныхъ лѣтами и трудами старцевъ валаамской исторіи, этотъ единственный юный мученикъ самоотреченія производитъ и грустное, и красивое впечатлѣніе... Точно на сѣдые и жесткіе мхи Валаама упала вдругъ свѣжая, жизнерадостная роза, улыбающаяся всѣми своими алыми лепестками... Упала—въ надеждѣ жить и благоухать міру: но сѣверъ дунулъ на нее ледянымъ дыханіемъ, и роза завяла, безсильно растерявъ по граниту свои поблеклые лепестки. Преждевременная смерть юноши замѣтно отразилась глубокимъ впечатлѣніемъ въ сердцахъ валаамскихъ старцевъ, ея свидѣтелей. Изъ всѣхъ жизнеописаній «Подвижниковъ валаамскихъ» біографія послушника Василия—едва ли не самая теплая, участливая. Въ ней звенятъ нотки, залетныя изъ міра, контрабандою проскользнувшія въ угрюмую среду самоотреченія и сверхсильнаго труда «Бога ради».

— Помилуйте! какъ же имъ не жить по сту лѣтъ?— говорилъ мнѣ недавно одинъ свѣтскій человѣкъ,—что имъ дѣлается? Сидятъ себѣ въ кельяхъ, никакого горя не знаютъ, душевнаго волненія испытывать не отъ чего, знай только Богу молятся да поклоны кладутъ. Ихъ отъ смерти стережетъ нравственная неподвижность. Не живутъ вѣдь,— прозябають. Замуруйте въ своей квартирѣ, уйдите эгоистически въ самого себя, посадите себя на педантически-строгую діету, и можете быть увѣрены, что, въ такомъ апопоеозѣ процесса самосохраненія, вы тоже проживете лѣтъ до 75, а то и больше... Но стоитъ ли такъ жить? Вотъ вопросъ!

Это обычное наше мірское мнѣніе о монашествѣ и глубоко ложное: по крайней мѣрѣ, во мнѣ Валаамъ разбилъ его совершенно. Особенно хорошо въ этихъ легкомысленныхъ фразяхъ «только». Только молится Богу, только кладетъ поклоны... подумаешь, какъ легко это только! какъ оно согласно съ «процессомъ самосохраненія»!.. Жизнеописаніе почти каждаго монаха строгой жизни заключается однѣми и тѣми же фразами,—«у него отнялись ноги... распухли ноги... на ногахъ открылись раны... ноги стали какъ желѣзныя... ноги высохли... ноги стали въ язвинахъ, и по язвинамъ роились черви». Монахъ Веніаминъ мучился такимъ недугомъ пятнадцать лѣтъ: съ 1826 по 1842 годъ. Откуда это однообразіе болѣзней, сводящихъ монашество въ могилу? Да именно оттуда, что монахъ «только» молится, стоя въ церкви и на келейномъ правилѣ—самое меньшее—часовъ восемь въ сутки. Скончавшійся въ 1894 г. схимонахъ Іоаннъ, описанный Немировичемъ-Данченко въ «Крестыянскомъ царствѣ» подъ еще монашескимъ его именемъ Иринея, выбилъ въ алтарѣ верхней церкви Предтеченскаго скита ямку на каменномъ полу земными поклонами. Молился онъ въ церкви этой, холодной, не отопляемой, и лѣто, и зиму. На дворѣ трещать морозы, въ церкви мало теплѣе, чѣмъ на улицѣ, а

Іоаннъ, знай, простирается предъ Распятиемъ. Нынѣшній настоятель валаамской обители, о. Гавріиль, былъ на послушаніи у схимонаха Іоанна.

— Ты бы, о. Іоаннъ,—совѣтоваль онъ старцу,—молился въ нижней церкви: тамъ все же теплѣе.

— Ничего, свѣтъ! Здѣсь, на морозцѣ-то, не такъ жарко поклоны класть!

Мантія Іоанна была всегда дырява на плечахъ—отъ часто и истово свершаемаго крестнаго знаменія.

Это ли похоже на самосохраненіе? А развѣ Іоаннъ исключеніе, единственный въ своемъ родѣ примѣръ? Старець Серафимъ († 1860), страдая страшною язвою во всю спину, не давалъ себя лечить, сдирая втихомолку налагаемые врачами пластыри,—и, несмотря на нестерпимую боль, до конца жизни исполнилъ все монашеское правило и умеръ—въ радостномъ экстазѣ неземныхъ видѣній. Загляните въ книгу валаамскаго пустынножителства: вы увидите рядъ странныхъ людей, которые весь бытъ свой направляютъ,—по нашимъ понятіямъ,—къ тому, чтобы умереть отъ простуды, остраго малокровія, истощенія силъ, желудочныхъ и кишечныхъ катарровъ, всяческихъ ревматизмовъ и пр., а живутъ, живутъ и живутъ—именно наперекоръ всей логикѣ самосохраненія.

Что поддерживаетъ ихъ? Экстазъ? Но, если такъ, то не грѣшно ли будетъ говорить объ отсутствіи волненій у этихъ затворниковъ, о спокойствіи ихъ душевномъ о невозмутимости, о нечувствительности къ скорбямъ и радостямъ. Экстазъ—самъ по себѣ уже, отрицаніе всякаго спокойствія, онъ—высшая степень возбужденія и волненія; онъ даетъ человѣку болѣзненно-могучій, нервный подъемъ—аффектъ—и потомъ бросаетъ его въ глубину столь же болѣзненной реакціи. Почти всѣ эти люди пришли въ монастырь и посвятили себя Богу, конечно, не спроста. Большинство загнано въ иночество какимъ либо тяжкимъ житейскимъ потрясеніемъ, горемъ, грѣхомъ, отъ кото-

рыхъ совѣсть не властна сама избавиться, — одна надежда, что Богъ избавитъ, коли посвятитъ Ему всю остальную жизнь. Сколько лѣтъ надо только на то, чтобы перекипѣла въ душѣ горечь этой первой причины, сдѣлавшей инока изъ мірскаго человѣка... Дамаскина не нужда, не отчаяніе привели въ монастырь, но призваніе къ аскетизму, а и то онъ до конца жизни своей не могъ спокойно вспоминать, какъ прощался онъ съ деревнею, уходя въ монастырь.

«Изъ дому», — говоритъ біографическая записка, уже не разъ мною помянутая, — «его провожалъ родитель версты 3 пѣшкомъ. Когда разстались, родитель въ слѣдъ ему кланялся и кричалъ: Даміанушка, прощай!.. Послѣдній разъ поклонился и скрылся за горами. Всегда, какъ о Дамаскинѣ вспомнить про это, — и заплачетъ».

Читая жизнеописанія аскетовъ, нельзя не замѣтить еще одну общую характерную черту въ послѣднихъ дняхъ ихъ, вѣрную предвѣстницу скорого конца. Это — «даръ слезный», какъ съ благоговѣніемъ называютъ старческую слезливость подвижниковъ товарищи-монахи и вѣрующіе богомольцы. Горькій плачъ цѣлыми часами, круглый день и изо дня въ день — обычное состояніе престарѣлаго инока. У игумена Варлаама, отъ постоянныхъ слезъ, совершенно выпали рѣсницы; духовникъ Евфимій даже и по смерти грезился ученикамъ своимъ не иначе, какъ въ горькихъ слезахъ. Даже о самомъ энергичномъ, съ желѣзною волею, Дамаскинѣ, валаамцы говорятъ, что «въ послѣднее время своей земной жизни батюшка очень часто плакалъ. Были и такіе случаи: вдругъ онъ начнетъ плакать и плачетъ навзрыдъ по часу и болѣе. Иногда за обѣдомъ начнетъ плакать, такъ что мы и обѣдъ оставимъ, всѣ выйдемъ изъ-за стола».

— Батюшка, о чемъ вы плачете? — спрашивали его.

Однажды онъ отвѣтилъ:

— Я уйду, — искренно вырвалось у него, — я уйду, а вы останетесь, и назадъ...

Новый потокъ слезъ не далъ ему договорить, но всѣ поняли, что онъ хотѣлъ сказать:

— И назадъ не приду.

Творцу новаго Валаама смертно жаль было покидать свое дѣтище и свою кипучую дѣятельность. Въ молодости, чтобы приучить себя къ мысли о смерти, онъ спалъ въ гробу. Теперь онъ отправился въ свою старую пустыньку и велѣлъ при себѣ смѣрять этотъ забытый гробъ.

— Не малъ ли онъ мнѣ теперь? Вѣдь тогда я худенькій былъ.

И тутъ же рассказалъ:

— Бывало, ляжешь въ него,—станеть холодно. Ну, закроешься крышкой, такъ скоро—душно станеть, надо и открыть...

И прервалъ рассказъ свой тяжкимъ вздохомъ: видно, живо представилось ему, что близко время, когда—лежа въ душномъ гробу—и радъ бы открыть тяжелую крышку, да поздно уже: руки связаны смертнымъ сномъ, и тѣло мотильный червякъ ѣстъ...

Въ другой разъ приходитъ къ Дамаскину, рано поутру, по обычаю, одинъ изъ должностныхъ іеромонаховъ. Игумень въ спальнѣ, одинъ, сидитъ въ креслѣ, согнулся, смотритъ на икону, съ тускло мерцающею предъ нею лампадою, и тяжело вздыхаетъ.

— Здоровы ли вы, батюшка? что съ вами?

Старикъ перевелъ на вошедшаго грустный взоръ и ничего не сказалъ.

— Что съ вами? о чемъ вы тоскуете?

— Смертушка приходитъ,—отозвался, наконецъ, Дамаскинъ старымъ, мірскимъ, крестьянскимъ словомъ.

Эта безконечная готовность къ плачу—съ медицинской точки зрѣнія—конечно, явленіе истерическое и даже уже неврастеническое. Это—реакція организма на многолѣтніе экстазы, поддерживавшіе истощенное и измученное тѣло, внѣ правильнаго питанія, достаточнаго сна, умѣреннаго

труда. Валаамскій монахъ спитъ пять часовъ въ сутки, не ѣсть, а закусываетъ, собственно говоря, чѣмъ попало: какъ въ сказкѣ говорится, — «бѣжала черезъ мосточекъ—ухватила кленовый листочекъ, бѣжала черезъ грабельку—ухватила воды капельку...» — стоитъ на молитвѣ восемь часовъ, да пять—шесть работаетъ, какъ волъ, на назначенномъ ему послушаніи—либо въ полѣ, либо на фермѣ, либо на конномъ дворѣ и пр. Диво ли, что такая экстатически-трудо-вая жизнь въ конецъ развинчиваетъ нервы, и достаточно старости подать человѣку первый сигналъ о своемъ приближеніи, чтобы вся нервная система расхлябла, и недавно мужественный и бодрый подвижникъ обратился въ живой фонтанъ слезъ?

А работаютъ иноки на себя пристально и крѣпко. На Валаамѣ—въ огромномъ хозяйствѣ его—нѣтъ ничего, сдѣланнаго и дѣлаемаго не монашескими руками. Только въ каменной кладкѣ они не мастера, и приходится приглашать для нея рабочихъ со стороны. Двойное огорченіе для монастыря: и расходъ, и... каменщику убойна нужна, онъ безъ мяса не работаетъ, а кровопролитіе на Валаамѣ,—вѣдь это переворачиваетъ вверхъ дномъ весь уставъ, всѣ мѣстные традиціи! Теплокровное животное неприкосновенно на монастырскихъ островахъ. Здѣсь его не ждутъ ни выстрѣлы охотничьихъ ружей, ни силки, ни сѣти и тенета—никакія ухищренія «жестокой забавы». Поэтому, странникъ на Валаамѣ, проходя дѣвственными лѣсами его, часто, съ удивленіемъ, переживаетъ трогательныя впечатлѣнія, которыя раньше испытывалъ,—да и то считая ихъ за красивую сказку,—лишь при чтеніи Одюбона, Майнъ-Рида, Эмара. Дикій звѣрь здѣсь ничуть не боится человѣка. Заяцъ перебѣгаетъ вамъ дорогу, садится въ двухъ саженьяхъ отъ тропинки и, шевеля ушами, смотритъ на васъ искоса быстрыми, любопытными глазами. Бросьте въ него щепкою или камешкомъ,—онъ встрепенется, отпрянетъ шаговъ на десять, поднимется столбикомъ и опять стоитъ —

смотреть, балансируя лапками въ воздухѣ, — только вотъ барабана нѣтъ, а то такъ бы и забарабанилъ. По озеру въ лодкѣ плывешь, — рядомъ плавно качается на волнахъ, нисколько не смущаясь всплескомъ весель, семья бѣлогрудыхъ гагаръ, съ гордо выгнутыми шеями. Вспугнуть ихъ — прямо труда стоитъ: не вѣрять, что здѣсь имъ можетъ грозить серьезная опасность. Хоть руками бери! Возлѣ Ковенскаго скита, на рыбномъ Дамаскиновомъ пруду, у мостика, по которому денно и ночью ходятъ монахи, а по праздникамъ — сотни богомольцевъ, пара гагаръ свила на камушкѣ гнѣздо и жила въ немъ пятьдесятъ лѣтъ, возвращаясь на Валаамъ съ каждымъ весеннимъ прилетомъ. Сколько птенцовъ онѣ вывели здѣсь и выкормили на глазахъ людскихъ! Три года тому назадъ, улетѣвъ на осень, эти монастырскія птицы уже не вернулись по веснѣ, — къ великому огорченію иноковъ. Старость ли обезсилила ихъ въ пути и не позволила довершить перелета, соколъ ли растерзалъ, — Богъ ихъ знаетъ. Красивая птица гагара — «царица сихъ пустынныхъ водъ», какъ названа она въ одномъ стихотвореніи; я любилъ слѣдить ея странный полетъ — низко-низко надъ озеромъ, волнообразно ныряя въ воздухѣ, съ плескомъ цѣпляя за воду лапками, порская упругими крыльями, оставляя за собою длинную вѣрообразную струю... Утромъ, чуть отворишь окно, — слышенъ, сквозь мертвую монастырскую тишину, далекій протяжный мыкъ: совсѣмъ бы корова, только звукъ слабѣе, а тембръ жестче. Это проснулась и привѣтствуетъ свѣтлый день, выплывая на озеро кормиться, жизнерадостная гагара.

— Ишь ореть! ровно пароходъ! — замѣтилъ одинъ богомолецъ, когда мы, въ поѣздкѣ на Святой островъ, обогнали такую кричащую птицу, съ цѣлымъ выводкомъ птенцовъ-подлетковъ. — Да и сама-то — фрегатъ-фрегатомъ.

Въ самомъ дѣлѣ — фрегатъ. Изъ всѣхъ озерныхъ птицъ, какихъ случалось мнѣ видать на волѣ, гагара — самая водная. Я рѣшительно не могу себѣ представить ее на зем-

лѣ или высоко въ воздухѣ: она — дитя воды, какая-то окрыленная рыба. Ужъ на что великолѣпно и величаво плаваніе лебедя, а все же въ немъ чувствуется, что «гуси плаваютъ отъ берега», что лебедь «думаетъ», какъ плыветъ и какъ надо плыть. Тѣло гагары—живой поплавокъ. Заснетъ она на водѣ, подь вѣтромъ, волна ее несетъ, а она, все-таки, инстинктивнымъ аппаратомъ какимъ-то ухитряется двигаться въ нужномъ ей направленіи.

Мѣстами гагару ѣдятъ. Мясо у нея синее, жесткое и, если не снято подкожного жира, противно отдаетъ рыбою. Неопытные, готовя гагару въ кушанье, принимаютъ за нее, какъ за другую дичь,—щиплять перья. Это обыкновенная шутка бывалыхъ надъ новичками: вовлечь ихъ въ щипаніе гагары. Перье сидитъ на птицѣ, какъ желѣзное. Новичокъ щиплетъ, щиплетъ, всѣ руки обломаетъ, потъ съ него въ три ручья льетъ,—и, наконецъ, парень впадаетъ въ полное недоумѣніе: что за бѣсова птица такая? и какъ же, наконецъ, надо съ нею обращаться?! Хохоть шутниковъ прерываетъ его напрасные труды:

— Да ты шкурку съ нея дери! чудакъ! кто же съ гагары перье щиплетъ?! Вѣдь это все равно, что на камнѣ медь собирать.

Часто, пробираясь лѣсомъ, вы видите, какъ въ отдаленіи, безъ вѣтра, качаются какіе-то кусты. Зоркіе глаза разглядятъ въ чемъ дѣло: это — рога оленей, столпившихся кучею въ древесной тѣни... Подъ вечеръ валаамскій лѣсъ живетъ: каждый кустъ дрожитъ пробудившейся хищною жизнью. Крупныхъ плотоядныхъ — медвѣдей, волковъ—здѣсь нѣтъ, но мелкихъ хищниковъ множество. Ихъ тоже не трогаютъ, и они тоже свыклись съ людьми. Идешь, зашелестятъ кусты, юркнетъ черезъ дорогу быстрый, граціозный звѣрокъ,—и двѣ сверкнувшія искры зеленыхъ глазъ выдаютъ страннику спокойно бѣгущую лисицу:

— Ты-моль идешь своей дорогой, и я по своимъ дѣ-

ламъ бѣгу,—мы другъ другу не товарищи, но и не мѣшаемъ...

Въ придорожной ямѣ стрегочеть и ворочается крупный звѣрь, съ бѣлыми полосами вдоль спины. Это — барсукъ, исконный врагъ лисицы, вѣчно ею обиженный, выселяемый ею изъ опрятныхъ и удобныхъ норъ своихъ — съ такимъ постоянствомъ и усердіемъ, какъ ни одинъ судебный приставъ не выселяетъ, по жалобѣ домовладѣльца, жильца-неплательщика...

— Отчего вы не держите ручныхъ звѣрей,—спросилъ я одного монаха.

— А зачѣмъ?

— Да интересно приручать ихъ, слѣдить, какъ они привыкають къ человѣку.

— Да чего приручать-то? Они у насъ на острову и безъ прируки всѣ ручные. Ровно—при Адамѣ и Евѣ, въ раю. Одна разница, что змѣй у насъ нѣту... <sup>1)</sup>.

1899



---

<sup>1)</sup> Очерки эти не были мною окончены... Говорятъ, за семь лѣтъ Валаамъ измѣнился до неузнаваемости къ худшему. Жаль, если такъ. Значить,—пусть мои очерки останутся памятникомъ хорошаго и, конечно, уже невозвратнаго прошлаго...